

Поэль Карп

ОДИНОКИЙ ГОЛОС
ЛИБЕРАЛА

1989-1998

Петербург

2021

Поэль Карп

**ОДИНОКИЙ ГОЛОС
ЛИБЕРАЛА**

1989-1998

Петербург

2021

УДК

ББК

К26

П. Карп

Одинокый голос либерала. 1989-1998. – СПб.: ЛЕМА, 2021. – 378 с.

Статьи, представленные в сборнике, написаны в 1990-е годы, когда существовала надежда, что Россия создаст правовое государство, наладит хозяйство, разрешит национальные проблемы и разоблачит мифы, порабощающие сознание. Сегодня, спустя тридцать лет, оказывается, что перед страной – все те же вопросы, но решать их все трудней. Поэтому, возможно, публикуемые здесь давние статьи и сохраняют актуальность.

ISBN 978-5-00105-639-3

© Поэль Карп, 2021

Реформы Петра Столыпина сулили преобразование российского хозяйства, резкий поворот к капитализму. Но в 1911 году Столыпина убили, а Советская власть отвергла буржуазные отношения и возродила феодальные. Став единственным владельцем всей собственности, она на десятилетия затормозила развитие производства – кроме производства вооружений. Советский Союз выступал как единое государство, в котором Россия была руководящей силой, а самобытность других народов подавлялась. Союз распался, но многонациональность России не осознана до сих пор.

Содержание

Взаимность.....	7
Линия раздела?	16
Черный ход для технократа.....	27
От гласности к свободе.....	34
Не бог, не царь и не герой	40
Берлинская стена	51
Полигон	54
Жду прояснения ситуации	61
Государство и виолончель	65
Так что же нам делать?	68
Гарантия надежды.....	77
Пути на рынок неисповедимы	89
Процедуры свободы.....	92
Заговор, который мы не заметили	105
Исключение или правило?	108
Англичанин о России.....	111
Слово о городе	114
Налоговые нескладушки	117
Причины и последствия	120
Мы меняем имена	131
У врат демократии.....	134
О том ли болит голова?	140
Урок истории для тринадцатилетней девочки.....	145
Оскорбление святостью.....	147
Большевистский бой с законами природы.....	151
Откуда страсть к разрывам?	154
Мы не совки, совки не мы	157
Окончилась ли история?.....	162
Пронзительный Федотов	181
Соблазн единства	185
Согласие без принуждения	192
Булат и золото	195
Что за словом?	200
Измена родине.....	209
Свобода и еврей.....	229
Воля или произвол?	237
Пока есть выбор	240
Что же дальше?	251
Чему послужит помощь.....	258
Третья попытка	265
Личное мнение	279

Первый урок.....	291
Что же это было?.....	298
Стоит ли говорить правду?.....	305
Первохристианами были евреи	308
Три столетия жизни.....	310
Возврат.....	315
Иное дано.....	320
Философия меньших зол.....	325
Мир, означающий войну	331
Неспоротые номера	337
Затянувшийся последний долг.....	340
Неувядаемая традиция произвола	343
Мифологическое сознание социальной жизни	346
К двухсотлетию смерти Бёрка	356
Пространство патриотизма	359
Выбор перед выборами	368
Аполитичность отчаянья.....	371
Зачем убивать кудрявого Ваньку?	374
Место и время публикации.....	377

ВЗАИМНОСТЬ

В конце шестидесятых я с большой группой писателей побывал в Бурятии. Собрались мы обсуждать проблемы перевода литератур Российской Федерации. После заседаний поехали к Байкалу. Выделили нам автобус, открытый газик и несколько черных "Волг". Москвичи на возрасте разместились в "Волгах", звали туда и меня, но, тогда еще не старый человек, я счел это неловким, и сел в автобус с остальными. Люди там, не считая московского фотографа, все были известные, многие с депутатскими значками своих республик. Дорога шла по красивым местам, и фотограф попросил: "Остановите, я сяду в газик, буду снимать". Дверца за ним захлопнулась, и кто-то за моей спиной громко крикнул: "Русский ушел, можно разговаривать!" Ответом был общий смех, а после печальные речи о положении национальных литератур не только при переводе, о чем говорили с трибуны, но и в оригинале. Я впервые узнал, что первоклассников в автономиях РСФСР начинают учить не на родном языке, а на русском, из-за чего в итоге перевод часто бывает писателю необходим, чтобы дойти не только до другого народа, но и до своего.

Я сидел у окна и слушал. И вдруг вспомнил, что года за два перед тем впервые побывал в Вильнюсе. Предполагалось посещение Ленинграда литовскими поэтами, и меня командировали за подстрочниками стихов, чтобы их заблаговременно перевести и напечатать в Ленинграде. Жил я в гостинице "Неринга", тогда новенькой, завтракал внизу в кафе, куда был вход и с улицы. Столики заполнялись рано, за большинством их люди сидели по одному, читали, писали. Однажды вошла девушка лет двадцати, настоящая русская красавица. Она оглядела зал и решительно направилась в мою сторону. Я даже почувствовал себя польщенным, но быстро выяснилось, что причина тому вовсе не в моем мужском обаянии, — просто я был явно не литовец. Выяснилось также, что отец ее — полковник, уже в отставке, долго служил в Вильнюсе, и она живет здесь с двух лет. И поскольку все мысли мои были о переводах, которыми я занимался большую часть дня, — ко мне приходил тамошний переводчик Капланас, читал мне вслух политовски, я старался вникнуть в звучание, сопоставляя его

со смыслом подстрочника, — я сразу, конечно, выпалил: "Так вы, наверное, по-литовски хорошо знаете?" И тут моя красавица усмехнулась: "Ну, вот еще, стану я этот собачий язык учить!"

Это было давно. А недавно я прочел в "Дне поэзии" стихи Станислава Куняева

О том, что предки шли не торопясь,
Осваивая реки и наречья.

И далее о благодарности былым
землепроходцам за то,

Что нефть, и лес, и хлопок есть
И есть простор, где оборону ставить.

Смысл этих стихов, лестно для Куняева сопоставив его с Кипплингом, наглядно продемонстрировал в "Юности" №1 за 1989 год Б. Сарнов. Одну деталь он, однако, не счел достойной внимания. А жаль! Куняев ведь признает, что первопроходцы российских окраин осваивали не только реки, но и наречья. Их-то и перестали осваивать нынче. Землепроходцы в этом отношении радикально переменялись. И произошло это как раз перед тем, как в обиход вошло слово "русофобство". Совпадение не случайное. Чтобы понять корни русофобства, надо понять суть и смысл начавшейся при Сталине, но к счастью, еще не вполне возобладавшей и, стало быть, допускающей обратный поворот перемены.

Тысячелетие крещения Руси отмечалось как национальный праздник, как важнейшая веха культурной жизни русского народа. Так оно, конечно, и есть, но в речах и статьях тех дней почти совсем обойден был тот факт, что крещение Руси означало разрыв с узко-племенным сознанием и переход к космополитическому, для которого "несть ни эллина, ни иудея". Не сразу утвердившееся, не сразу одолевшее "двоеверие" христианское сознание стало мостом если не к всеобщей, то к общеевропейской культуре, по которому русский народ прошел до высочайших ее вершин. Русское национальное искусство не было потом для иностранцев экзотическим, не замыкалось на деревянных лодках, заполняющих ныне "Березки", — национальное жило в нем как

дополнительная окраска общечеловеческого. Ученичество у Феофана Грека лишь обогатило гений Андрея Рублева. При Петре на Русь пришла европейская живопись, и вскоре расцвели великие таланты Рокотова и Александра Иванова, не говоря о позднейших. Русская музыкальная культура прославилась в русле европейской не только Чайковским, но и Мусоргским. Новая русская поэзия, приобщенная Ломоносовым к европейской, менее чем через сто лет пришла к золотому цветению. Русский балет создали французы, итальянцы, датчане, но именно он более всех прославился и преобразил самую жизнь этого искусства.

Не обходилось, понятно, без порывов к изоляционизму, к нему вело и разделение церквей, и другие явления русской жизни, и все же космополитическое преобладало над узко-национальным. Так бывало и в других европейских культурах, начиная с самой близкой к нашей — немецкой, и все же в России космополитический дух был особенно стоек. Тому способствовала и жажда правящего класса усвоить зарубежную культуру, и многонациональность Российского государства. Оно, конечно, скреплялось и захватами, и насилием, но не зря его подданные Пушкин и Мицкевич мечтали о временах, "когда народы, распри позабыв, в великую семью соединятся", а поздней русские и польские революционеры сражались "за нашу и вашу свободу".

Конечно, проповедь "единой и неделимой" России противостояла космополитическому духу. В конце прошлого — начале нынешнего века, по мере развития капитализма и национально-освободительных движений, не сдававшаяся феодальная империя искала опору в великодержавном шовинизме, и создавались праворадикальные организации, открыто враждебные "армяшкам" и "полячишкам", не говоря о "жидах". Царская Россия была тюрьмой народов, их покорение и дискриминация вошли в историю, но не надо забывать, что русские демократы сочувствовали и помогали бесправным "инородцам", что порядочные люди стыдились шовинизма, а желавшие воистину улучшить жизнь обездоленного большинства русского народа сознавали, что его социальное освобождение невозможно

без национального освобождения других народов империи.

В ответных чувствах покоренных народов социальное тоже обходило национальное. Хоть в Польше, трижды разделенной и утратившей государственность, неприязнь к русским была особенно остра, Мицкевич писал "Русским друзьям": "Пускай язвит мой стих, Пусть, разъедаая, жжет — не вас, но цепи ваши". Среди друзей, о которых он пишет с особой любовью, не номинально почетные фигуры, которых положено хвалить, а Рылеев и Бестужев. Мицкевич пишет горькую правду о русском владычестве в Польше, но русские для него не все на одно лицо. Вот его и не сочтешь русофобом.

Русская революция, начавшаяся как мировая и стремившаяся к союзу равноправных народов, тоже сперва мыслившемся всемирным, возрождала космополитический дух, пусть и под иными знаменами. Вот никакого русофобства и быть не могло, и слова такого не было. Объявляя ныне революцию антирусской, ссылаются на сочинения, обличающие старые порядки, умалчивая, что те же сочинения полны страстной любви к России, ждущей свободы и новой жизни. Но, вспоминая, что только после революции русский народ стал в своем подавляющем большинстве грамотным, мы поймем, что для русской культуры она сыграла, при всех происшедших в ходе ее горьких утратах, не меньшую роль, чем для других культур в России.

Но, совершив "великий перелом", Сталин повернул план национальных отношений от союза равноправных народов к собственному плану "автономизации", по которому народы союзных и автономных республик уже не были вполне равноправны. Русский народ он провозгласил первым среди равных, а остальным осталась все ужимавшаяся автономия. Впрочем, внушить русскому народу мысль о его превосходстве над другими оказалось не так-то просто и удалось далеко не сразу и все еще не полностью. Мешал и сам по себе космополитический характер русской культуры, и память о том, что во имя империи, держащей под пятой иные народы, русский крестьянин был закрепощен, и людей продавали с торгов как раз единоплеменники и единоверцы, чего все же в новое время нигде больше не бывало. Чтобы внушить русскому народу чувство

превосходства над другими, какого он, настрадавшись за последние двенадцать лет перед войной от сталинского господства не менее других, отнюдь не испытывал, требовалось разрушить представление о равенстве людей, независимо от этнической принадлежности, и накрепко привязать каждого к тому или иному народу.

Отдельный человек стоял уже не сам по себе перед всем миром или хотя бы всей своей многонациональной страной, — ему были определены этнические рамки и предписываемая ими судьба: чеченец, даже если родился и вырос в Москве и чеченского языка не знал, должен был отправляться туда же, куда незаслуженно отправляли живших в Чечне. Так преодолевалось представление о равноправии людей, об их личной, а не национальной или какой другой, ответственности за собственные поступки. А без понятия о равноправии людей не могло существовать и понятие о равноправии народов, их языков и культур. В сознание внедрялись границы между народами, противопоставляемыми друг другу по старому принципу "разделяй и властвуй", что укрепляло положение арбитра между разделенными, забывавшими в междоусобных распрях об общих интересах.

Самым ярким примером разобщавшей народы пропаганды стала в 1949 году "борьба с космополитизмом". Нынче вспоминают, что с ней открыто зацвел антисемитизм, и при объявлении о "деле врачей" в 1953 году евреи уже в страхе ожидали участи чеченцев. Помните об этом, конечно, стоит. Поскольку евреи и до революции лишены были права владеть землей, и практически не существовало еврейского крестьянства, они легко ассимилировались. Объявляя космополитизм, естественный при ассимиляции, вредоносным для русской национальной культуры, евреев тоже оттесняли в национальную обособленность. Однако для нее, в отличие от других народов (кроме, опять же, цыган), у них не было территориального очага.

Любопытно, что идея сосредоточить их в таком очаге жила в голове Сталина задолго до "космополитической" кампании. Первое в мире сионистское государственное образование пытались ведь создать именно у нас, провозгласив 7 мая 1934 года Еврейскую автономную область на дальневосточных землях, где жили другие народы, а евреи не жили никогда и поселяться оснований

не имели и не желали. За полвека там добровольно поселилось чуть более половины процента (0,56%) всего еврейского населения СССР, да из этой половины процента к тому же лишь одна седьмая владеет национальным языком. Ясно, что это никакая не национальная область (среди ее населения евреи составляют лишь 5,3%), да и исторических оснований ей там быть нет никаких. Затея эта провалилась, что, кстати, давно бы пора признать и это искусственное сталинское творение официально упразднить, если мы против сионизма.

В ходе "космополитической" кампании впервые в советской истории обнаружилось, что народ, не имеющий особой территории, не может ни ассимилироваться среди большинства, ни развивать свою культуру рядом с ним. (Еврейская литература, театр и т.п. были тогда же уничтожены Сталиным.) Не имеющим территории — в буквальном смысле не стало на родине места. Однако, даже вынужденные ее покинуть, они, вопреки Сталину, по преимуществу устремлялись не к национальному очагу в Израиле, а в космополитическую Америку, подтверждая этим приверженность не только старой традиции, породившей некогда в многонациональной Римской империи христианство, но и давнему русскому космополитическому духу, в который они несколькими поколениями вросли.

Наивно, однако, видеть в "борьбе с космополитизмом" лишь гонение на евреев. Пора вспомнить и о том, что она в не меньшей мере была направлена на искоренение все еще живого тогда космополитического сознания русского народа, на обособление русской культуры от других. В театральном репертуаре тех лет даже Шекспир, который, во всяком случае, евреем не был, подвергся ограничениям, его ставили редко. Почти совсем исчезла для русского читателя современная западная литература, за вычетом, понятно, отдельных прогрессивных писателей, восхвалявших нашу страну с закрытыми глазами. «Французскую» булку стали именовать "городской", а паровоз был объявлен изобретением отнюдь не англичанина Стефенсона, а, конечно, наших соотечественников отца и сына Черепановых, принявшихся за такое дело чуть не двадцатью годами

поздней. И возникло крылатое выражение: "Россия — родина слонов".

Но шутки шутками, а проповедь культурного (в том числе и научного, и технического) изоляционизма, истребление космополитического духа русской культуры нанесли вполне конкретный ущерб стране. Это одна из важнейших причин застоя, нашей отсталости, нашей бедности и развала хозяйства. Не прошло это бесследно и для народного сознания, очень уж могучий был напор. А ведь именно тогда миллионы людей переселялись из России в другие республики. Ныне один из переселенцев, признавая, что литовцам кроме Литвы жить и развивать свою культуру негде, сетует в газете, что его при переезде не предупредили, что придется изучать литовский язык. Он не только не осваивает чужое "наречье", но даже не желает замечать, что вокруг живет другой народ, не желает считаться с ним. Кто-то, оказывается, должен напомнить!

Между тем, в Москве напоминать литовцу или туркмену, что ему, чтобы там жить и работать, надо как следует знать русский язык, не приходится, они это вполне понимают. Очевидное при движении в одну сторону вырастает в проблему при движении в обратную. Почему же? Да потому, что извращена великая роль русского языка как языка межнационального общения, средства общения между вдали друг от друга живущими народами нашей и, может быть, не только нашей страны. Забыто, что внутри каждой республики, союзной или автономной, для ее постоянных жителей роль средства общения должен выполнять прежде всего язык самой республики. Переехавший в Москву литовец или туркмен говорит там по-русски не потому, что это язык межнационального общения, а потому, что Москва — это Россия. И точно так же навсегда поселившемуся в Литве надо выучиться по-литовски, а в Туркмении по-туркменски. То, что это стало непонятно, что это приходится объяснять, свидетельствует, прежде всего, о деформации русской культуры, об утрате ею прежнего космополитического духа.

Парадоксально, но факт: даже христианство, первым в нее этот дух принесшее, с течением лет, еще до революции, стало клониться к обособленному избранничеству, и вот в наши дни митрополит

Волоколамский и Юрьевский Питирим прямо утверждает, что "Запад ждет возрождения нравственности, духовности именно от России, от Русской православной церкви". Но будь так, на Западе, видимо, резко росло бы число новообращенных в православие, а ведь ничего подобного не наблюдается. В то же время у нас с середины прошлого века все шире распространяется пришедшая из Европы секта баптистов, тоже ратующая за нравственность. Неужто святой отец Питирим пребывает о том и другом в неведении? И не лучше ли нам не о спасении Запады от его грехов, а о собственных грехах подумать?

Но если мысль о своем избранничестве, своем праве учить других, не учаь у них, выплескивается даже в религии, сложившейся на космополитической почве, надо ли удивляться, что в деидеологизированном сознании она распространяется на сугубо национальных, даже расовых началах? Не в том вовсе источник нынешних распрей, что двадцать четыре миллиона русских живут за пределами Российской Федерации, а в том, что значительная часть этих переселенцев отступилась от давней русской космополитической традиции, предполагающей уважение, а не пренебрежение, к другому народу, его языку и культуре. Эти люди, называя себя интернационалистами, не желают оказать минимальное уважение народу, среди которого поселились. Этим их особый интернационализм и отличается от космополитизма, предполагающего всеобщность и взаимность влияний. Дружба народов и исключительность одного из них — несовместимы, долгие уверения, что русский народ лучше знает, как другим народам жить, как раз и насаждали русофобство. Виновны в нем те, кто выступал с подобными утверждениями от имени русского народа. Да и ныне русофобство насаждают, вытравляя из русской культуры именно тот дух всечеловечности, с которым она и стала великой.

Дело дошло до деления отечественной литературы на русскую и русскоязычную. Покамест оно практикуется на современниках по анкетным данным, хоть и тут не вполне ясно как быть с писателем "Ильф и Петров". А ведь придется быть последовательными и перегонять из русской в русскоязычную литературу Кантемира и Фонвизина, Жуковского и Гоголя, Фета и Короленко и других, да и у самого Пушкина при установлении

паспортного режима на входе в русскую литературу возникнут сложности.

Иным из своих красноречивых радетелей великая русская культура — от Андрея Рублева до Андрея Платонова — на деле чужда и ненавистна. Оттого они и норовят ее переиначить, переправить, обескровить, наивно полагая, что их отношение к ней не сочтут русофобством, поскольку в большинстве своем они "по крови" и впрямь русские. Но, не говоря уже, что "кровь" к религии и культуре не причастна, после великих смешений всех племен и народов никто не может с достоверностью сказать, какой он крови. Во всяком случае, ни русские, ни евреи, ни немцы, ни китайцы, ни итальянцы, ни англичане, не говоря уже об американцах, в строгом смысле "чистокровными" не бывают, поскольку каждый из этих, как и из большинства других современных народов, не из одного племени вырос.

Враг русской культуры вполне может быть русским по паспорту и даже истосно вопить о своей любви к России. Все дело в том, какой культура у него выступает, что из нее он помнит и ценит, а что истребляет. И когда он истребляет могучий космополитический дух, соединяющей в своем, оттого и разнообразном охвате, славянское и финское, иудео-христианское и греко-византийское, татарское и немецкое, литовское и французское наследство, итальянские православные храмы и шедевры перербургской архитектуры, по которым не сразу и разберешь, какой ставил русский, а какой иностранец, — мы вправе назвать разъединителей всего этого редкого соединения, едва ли где так тесно соединившегося, мы вправе считать русофобами и сеятелями русофобства.

Чтобы не поддаться зловещей пропаганде, надо не забывать, что их убогие писания, укоренившиеся из-за длительного изничтожения и оттеснения всего талантливого и правдивого, не имеют ничего общего с Пушкиным и Толстым, с той воистину великой культурой, которая уже сама, как целое, вошла в число неотъемлемых достояний всего человечества, что бы дальше ни случилось.

ЛИНИЯ РАЗДЕЛА?

Ответ читателю

Уважаемый тов. Карп!

Политика — это ведь не только "концентрированная экономика", но и концентрированная нравственность, или, если угодно, безнравственность. И вот об этой, едва ли не самой важной стороне дела у нас как-то забывают. А есть о чем поговорить.

Ну, вот, скажем, Вы с пиететом цитируете Маркса. Может быть, старик был где-то и прав. Но вот мне как-то попало на глаза одно место, где он рассуждает об эпизоде Парижской коммуны, когда коммунары в ответ на расстрел версальцами пленных расстреляли несколько десятков заложников во главе с Парижским архиепископом. В принципе осуждая институт заложничества как пережиток варварства, К.М. тем не менее оправдывает коммунаров, т.к. их действия, мол, были лишь ответной мерой. Как это теперь прикажете называть, как не постулатом "классовой морали"?

Кулаков, как теперь выяснилось, репрессировали неправильно. Значит ли это, что буржуазию репрессировали правильно? И что такое сталинский лозунг "Уничтожим кулачество как класс", как не продолжение ленинского "Уничтожим буржуазию как класс"? Не кажется ли Вам, что идеология пролетарской исключительности — то же, что и идеология расовой исключительности?

"Сталин слишком груб, и этот недостаток, вполне терпимый в товарищеской среде..." Неужели грубость может быть терпимой в товарищеской среде? Если Сталин был груб со своими, то каков он был с "чужими"? Давайте не будем обольщаться, не будем строить иллюзий насчет доброго В.И. и злого И.В. Это все сказочки для детей типа Арсланова. Говорят, у нас нет зон и лиц, свободных от критики. Кинули Сталина, как собакам голодным кость, — нате, грызите, но больше чтобы ни-ни. Вот тебе, бабушка, и весь плюрализм.

Л.Михайлов

г. Челябинск

Уважаемый товарищ Михайлов!

Вы, конечно, правы: "политика это не только концентрированная экономика". Но ведь и в экономических пределах причинная связь действует отнюдь не автоматически. Экономика берет свое лишь в конечном счете, а до того политика может довольно долго над ней глумиться, ежели у народа терпения хватает. То же самое и с нравственностью, — благородные призывы сами по себе ее не насаждают. Разве не казались нравственными призывы покончить с пьянством и законы, за ними последовавшие? А на деле они привели к самогоноварению и спекуляции самогоном, то есть к еще большей безнравственности. Опять восторжествовала привычка насаждать добро палкой, но палочная нравственность всегда ведет к безнравственности, да еще к лицемерию, лишь поощряющему пороки. И ведь не нужно было большого ума, чтобы сообразить все это наперед, но сказать это наперед означало выступить против борцов за нравственность, — не так это было просто, пока последствия их борьбы не стали наглядны. Ведь политическая мысль имеет дело не только с разумом, но с предрассудками и мифами, застрявшими в народном сознании, а нынче особенно энергично в него вдыхаемыми.

Вы не согласны со сталинским призывом "уничтожить кулачество как класс". Я тоже. Возникни добровольные кооперативные хозяйства не вместо кулаков, а рядом с ними, в экономическом соревновании с ними, наше сельское хозяйство стояло бы на двух ногах, и никаких продовольственных проблем бы не было. Но не менее любопытно, что по первоначальному смыслу "уничтожить как класс" вовсе не значило уничтожить людей, составляющих этот класс, а, напротив, значило лишь изменить их общественный статус, дать им перейти в другой класс. Но на практике "уничтожение кулачества как класса" стало обозначать физическую гибель миллионов, и сегодня "уничтожить как класс" означает уничтожить полностью, без остатка. Не слова определяют действия, а объективное содержание действий — смысл слов. Задача исследователя общества, и культуры в частности, в том и состоит, чтобы этот подлинный смысл понять.

Менее всего я хочу изобразить Ленина святочным дедушкой, всеведущим и всеблагим добрячком, не совершавшим и малейших оплошностей, не то что ошибок. Но вот Вы говорите о ленинском лозунге "уничтожить буржуазию как класс". А ведь Ленин, вводя новую экономическую политику, выступил за допущение, пусть ограниченное, буржуазии в хозяйственную жизнь советской страны. Это отличало его от Сталина, который потом такую политику решительно отверг и, осуществляя свои феодально-административные идеалы, уничтожал кулачество именно как "буржуазный элемент". Ленин был ярким врагом буржуазии, он всеми средствами, не только правыми и дальновидными, но и неправыми и недальновидными, отбирал у нее власть. Но при этом он все же признавал объективную природу вещей и необходимость с ней считаться, а не объяснял просчеты собственной политики действиями злоумышленников.

А и до Ленина и даже Маркса у нас народ то и дело бунтовал. Или и тогда бунтовали по наущению смутьянов, как говорили царские власти, то есть экстремистов, как говорят теперь? Диву даешься, что никто еще не догадался и Пугачева объявить масоном! Но всерьез-то говоря, стоит ли так усердно забывать про крепостное право, про крестьянское безземелье, про запрет на свободу мысли и слова, про вековое отсутствие представительной системы и все прочее, на чем российская феодальная империя стояла с Ивана Грозного? Разве не ее реакционное упорство, не ее пренебрежение к людям и их нуждам, к реальным экономическим законам было первопричиной бунтов и мятежей? Никакой Ленин никогда бы не победил, если бы эта первопричина не продолжала действовать и при Временном правительстве, не торопившемся реально изменить положение, и тем более в ходе гражданской войны.

Я, во всяком случае, думаю, что причина нынешних бед не просто в революции и не в пролитой, увы, по ходу ее невинной крови, — разве Робеспьер и Дантон во Франции или даже Кромвель в Англии не проливали невинной крови? — а в том, что захлестнутая стихией веками не разрешавшихся противоречий, из-за которых эта кровь и лилась так беспощадно и пагубно, страна не сумела выйти из них к экономически плодотворному

гражданскому миру. Сперва этому помешала гражданская война, шедшая не только с противниками революции, но и между ее сторонниками. А когда желанный мир вроде бы стал намечаться, и радикальная экономическая реформа за короткий срок вывела страну из разрухи, и свободный крестьянин завалил ее хлебом, — верх взяли силы, объединившиеся вокруг Сталина, пошедшие в атаку уже и на провозглашенные сперва революцией цели, и на людей ее совершивших. Без осознания переменчивости развития революции трудно сегодня о ней судить. Революция — это несчастье, катастрофа, но в ней виноваты не так революционеры, как власть, не оставлявшая людям выхода.

Вы пишете, что Маркс оправдывает расстрел коммунарами заложников тем, что их действия были лишь ответной мерой. Что говорить, жестокий поступок не становится хорошим от того, что совершается в ответ на столь же жестокий. Но согласитесь, что библейское "око за око", хоть и не самый высокий, конечно, но все же некоторый уровень нравственности, а мы и до него все еще не возвысились: у нас открыто господствует двойная мораль — одно спрашивают с себя и совсем другое с противников и соперников!

Вы взгляните, как изменилась международная жизнь, едва М.С.Горбачев и Э.А.Шеварднадзе стали в иностранной политике не только диктовать, как их предшественники, но и слушать, не только отстаивать наши интересы, нашу безопасность, но и считаться с чужими. Вот бы этот прекрасный образец нового мышления пересадить на отечественную почву! Но сделать это трудно, ибо у нас — Съезд народных депутатов это наглядно продемонстрировал — все еще нет элементарной терпимости к другому мнению, к тому, что у инакомыслящего может оказаться какая-то часть правды, а то и вся она. Даже самым прогрессивным нынешним изданиям, и самым, казалось бы, почтенным и знающим людям, случается забывать об элементарных требованиях объективности.

В "Огоньке" № 50 за 1988 год опубликовано было письмо С.Аверинцева, С.Залыгина, Т.Заславской и Г.Якунина о необходимости приравнять в правах и возможностях верующих к неверующим. Сразу скажу, что я всецело разделяю это требование авторов письма. Но

одна его фраза все же, по-моему, не вполне сообразна с реальностью и сама мешает объективному пониманию и, тем самым, решению проблемы.

Авторы пишут, что "сталинская" конституция "лишила верующих права публично выражать свое мировоззрение". Это верно, но такого права лишились ведь не только приверженцы православия, но и, скажем, последователи Льва Толстого, еще до революции отлученного от церкви, тоже ведь не очень поощрявшей отличные от проповедуемого ею мировоззрения, даже и религиозные; его совершенно лишились и многие неверующие — либералы, крестьянские деятели, социал-демократы, даже последователи Маркса или Ленина, разделявшие крамольные отличия их мировоззрений от ждановско-сусловской идеологии, поныне не готовой "поступиться принципами". И ведь верующие, в отличие от неверующих, все же не вовсе лишились такого права, для них оно было ограничено церковной оградой, тогда как проповедь либерализма, толстовства или подлинного марксизма вела лишь за ограду из колючей проволоки, куда, слава богу, попадала только часть священнослужителей и верующих, и церковь, так или иначе, продолжала существовать, чего о социал-демократии или либерализме никак не скажешь. А будь и у неверующих в минувшие годы право выражать свое мировоззрение хотя бы внутри какой-то собственной ограды, религия не осталась бы единственным неофициальным — пусть ограниченным в правах, но все же дозволенным — мировоззрением и сознание советского народа было бы нынче иным, и, может быть, более подготовленным к перестройке.

Резонно возражая против несправедливого, конечно, ущемления права верующих публично выражать свое мировоззрение, не стоило бы все-таки забывать, что аналогичное право неверующих у нас, мягко говоря, еще более ущемлено. Даже и в наши дни людей, пытающихся публично выражать свое вполне светское мировоззрение, милиция частенько разгоняет дубинками. Но авторы письма считают возможным в "светские" вопросы не входить, различие меж верой и неверием заслоняет им все другие, быть может, более существенные мировоззренческие различия, и они ратуют лишь за свободу религиозного мировоззрения.

В оправдание прежнего порядка часто ссылаются на слова Маркса: "Религия есть опиум народа", но и противники и сторонники вырывают их из контекста, и читателю не понять, что значит здесь слово "опиум" — то ли наркотик, дурман, как его обычно и трактуют, то ли, напротив, прежде всего, болеутолитель, как его понимал Маркс. Ведь прямо перед тем он говорит: "Религия — это вздох угнетенной твари, сердце бессердечного мира, подобно тому как она — дух бездушных порядков". А сразу дальше: "Упразднение религии как иллюзорного счастья народа есть требование его действительного счастья. Требование отказа от иллюзии о своем положении есть требование отказа от такого положения, которое нуждается в иллюзиях"*.

Можно не соглашаться с Марксовой критикой религии как превратного мировоззрения, порожденного превратным миром и являющегося одновременно протестом против этого мира, но он, во всяком случае, не призывал отнять у людей утешение, которое считал иллюзорным, лишить их болеутолителя, когда они страдают от боли. Преодоление религии, по Марксу, состоит в том, чтобы избавить людей от реальных страданий, — лишь тогда нужна в утешении извне перестанет быть столь острой. Попытки силой, запретом, отнять это утешение, когда человек страдает и не в силах "жизнь терпеть", лишь укрепляют тягу к религии. Поэтому человек воистину свободомыслящий желает свободы для всех религий больше, чем верующий, заботящийся часто лишь о своей. Но в отличие от верующего, свободомыслящий хочет такой же точно свободы и для светских мировоззрений, — не затем, чтобы с ними непременно соглашаться, но и чтобы с чистой совестью с ними спорить.

Само собой, любое мировоззрение, как религиозное, так и светское, может вызывать у других людей, у религиозных или светских организаций, возражения, — нередко справедливые. Но если оно само не призывает к насилию, ему надлежит противопоставить не запреты, а на равных правах другое мировоззрение. Милиция не способна служить эффективным орудием идеологической борьбы, — чем энергичнее она в этом качестве действует, тем больше помогает идейному противнику.

Опровергая отдельные суждения, стоит помнить о контексте, в котором они родились. В № 4 журнала "Век XX

и мир" за 1989 год Л.Сараскина справедливо пишет, что «лозунг 'кто не с нами, тот против нас', освященный талантом и авторитетом Маяковского, стал определяющей идеей эпохи, выражением ее классовой сути. Классовым стало все без исключения — прежде всего то, что искони считалось общечеловеческой принадлежностью — добро, жалость, сострадание».

Я, опять же, всецело согласен с этим и с тем, что «когда добро начинает различать, к кому именно оно должно пойти, а к кому — ни в коем случае, кому следует помочь в беде, а кому нет, добро на этом кончается». Но, в отличие от Л.Сараскиной, я не могу забыть, что лозунг "кто не с нами, тот против нас" освящен куда более крупным авторитетом, чем даже Маяковский. Это ведь лозунг Христа: "Кто не со мной, тот против меня" (Матф. 12,30), противоречащий его стремлению к добру не меньше, чем стремлению Маяковского и его современников-революционеров к добру. Когда же, говоря об одних, мы помним только о творимом ими добре, а говоря о других — только о том, что их добро было отнюдь не всеобщим, добро как раз и кончается. Надо бы одинаково непредвзято судить обо всех мировоззрениях, религиозных и светских, и, вообще, с пиететом относиться к правде, где бы она ни оказалась и кто бы ее ни высказал.

Хочу лишь обратить Ваше внимание на то, что благими намерениями вымощена дорога в ад, и средства существенно цели, даже и самой возвышенной, которую ими намереваются достичь. Ленин искренне желал народу счастья, но не видел не понимал что ведет к несчастью.

Говорят, все зло в неверной идеологии. Но если идеология, пусть даже на наш с Вами справедливый взгляд ложная, захватывает миллионы, да еще сперва без помощи костров инквизиции или пространств ГУЛАГа, — значит, есть тому веские причины, значит, она дает людям пусть даже в конечном счете неверные, но убедительные для них ответы на терзающие их вопросы. Французские просветители объявляли вздором учение Христа совершенно так же, как сегодня у нас теорию Маркса. И ведь не то чтобы у критиков того и другого не было здравых доводов. Но доводы эти не имеют силы, покуда отвлекаются от почвы, на которой произрастают объекты их критики. Между тем обходиться без религии, стать

воистину свободомыслящим удастся лишь тому, кто сознает реальную роль религии в жизни общества и отдельного человека. А кто не сознает, именуя себя атеистом и радикально отвергая бога, церковь и иконы, сам, по существу, молится другим богам, в других церквях, перед другими иконами, часто вполне светскими. Вот и нынешним противникам неверной идеологии недостает интереса к тому, почему она возникла, почему распространилась и почему дошла до нынешнего, мертвого, конечно, состояния. Ирония в том, что понять это помогает отчасти как раз Маркс как инициатор материалистического понимания истории.

Сам он тоже не был всеведущим богом и, в частности, подобно своим современникам, не предполагал научно-технической революции и связанных с ней перемен социальной структуры, а подмеченные им экономические закономерности как раз в этой связи ощутимо сместились. Можно указать и на прямые его заблуждения, на феодальные пережитки сознания, помешавшие ему признать, что стоимость создается отнюдь не только физическим, но и умственным трудом. Но важно видеть какие идеи Маркса оправдались, а среди них та, подтвержденная практикой, что стоимостное хозяйство по мере развития уже не может довольствоваться одномоментными индивидуальными сделками — идет ли речь об обмене рабочей силы на деньги или денег на товары. Возникает нужда в социальных гарантиях и вместе с ней долг общества перед человеком, а не только, как преимущественно казалось прежде, долг человека перед обществом. Понимание этого легло в основу Марксовой теории социализма как закономерности развития, а не плода свободного выбора, манившего утопистов. Сегодня очевидно, что на общественных отношениях развитых стран эта теория отразилась совсем иначе, чем думалось ее создателю. Можно даже повеселиться по поводу того, что частная собственность, казавшаяся Марксу главной преградой такого развития, на деле стала его условием и стимулом. Но никуда не деться и от того, что новые отношения в европейскую жизнь внедрили более всего заботившиеся о социальных гарантиях социал-демократы, зачастую непосредственные последователи Маркса.

А если обратиться к другим его идеям, то ведь и жесточайший кризис, испытываемый нашей страной, возник по Марксу, то есть от несоответствия производственных, а с ними и общественных, отношений развитию производительных сил. И люди, стремящиеся удержать прежние производственные отношения насилием, опять же по Марксу, как раз и наносят стране тяжчайший ущерб и обрекают ее на отставание. Нам долго объясняли, что единственные [марксисты на свете — это Ленин, Сталин, Хрущев, Брежнев, Андропов, Черненко. А это, чтобы помягче сказать, не совсем так, и судить о влиянии Маркса можно лишь видя весь спектр так или иначе воспринявших его идеи — от не в меру торопливых и прямолинейных, да и не всегда бескорыстных сторонников до его основательных критиков, не миновавших, однако, его уроков. Я не собираюсь Вам внушать, что Маркс владел истиной в последней инстанции, — я сам так не думаю. Но судить об исторических фигурах и идеологиях, обходя общественные процессы, в которых они возникали и действовали, по-моему, неплодотворно.

Я опять же не собираюсь рассказывать Вам "сказочки о добром В.И." Но о его реальном месте в российской истории задуматься стоит, хоть это, конечно, орешек потверже, чем Маркс, который был лишь исследователем и публицистом и ни у кого волос с головы не слетел по его приказу. А Ленин руководил мощнейшей подпольной организацией, а после возглавил репрессивное правительство. Но и он понятен лишь в объективном ходе вещей. Публикующие ныне его устрашающие распоряжения и письма верят, что этим с Лениным покончили, вытравили его из народного сознания, из которого его не вымел даже весь ужас происходившего под его портретами. Миллионы думали, что он тут ни при чем, не говоря уже о миллионах считавших, что все было правильно. Ведь Ленин-то в народном сознании стоял рядом не с конституционным монархистом Милюковым и не с благородным социал-демократом Мартовым, а с Пугачевым, при том, что невыносимое тогда, так или иначе, длилось еще полтора-два десятилетия. Вы что же, думаете, что победивший Пугачев пощадил бы матушку Екатерину, или Державина с Суворовым, или даже Никиту Панина с Фонвизиным, или хотя бы Ивана Андреевича Крылова,

впоследствии нашего великого баснописца, или что крестьяне при нем стали бы благоденствовать? И можно ли, когда огонь спалил дом вместо того, чтобы сварить еду, валить все на жестокость огня и помалкивать о стоявших у очага и видевших, что он неисправен и, если все оставить, как есть, пламя непременно вырвется? А ведь за полтора столетия после Пугачева крестьянскую проблему так и не решили, ни по Сперанскому, ни наделив крестьян землей при освобождении в 1861 году, ни проведя реформы, предложенные Первой Думой, за ничто и разогнанной! Я это не в оправдание того, что Ленин не был святочным дедушкой, а чтобы, если уж осуждать принцип "око за око", не искать зло лишь в том, кто выбивает око в ответ, но помнить и о том, кто проявил такую инициативу, да еще проявлял ее не одно и не два столетия. Нас учили, что революция — это планомерная акция по восстановлению справедливости и улучшению жизни. На деле революция — лишь разрушительный взрыв общественного порядка, расходящегося с реальностью, с реальными нуждами людей и производства, и сама по себе она справедливость не устанавливает, порой даже, как в нашем случае, усугубляет несправедливость. Это следует сознавать, сознавать, что революции вызываются не прихотью революционеров — тогда бы народ за ними не шел и революции никогда бы не побеждали, — но порочным, не оглядывающимся на людей устройством общества, опирающегося, на насилие. Вот насилие и порождает насилие.

О трагических иллюзиях российских революционеров, особенно оказавшихся у власти и погибших от ее рук, теперь, слава богу, говорят открыто, не умалчивая о преступных деяниях. Но оттого, что этикетку "хороший" при этом перевешивают с Ленина на Николая, понимания истории не прибавляется. Более того, ход ее как бы перечеркивается, и никакого опыта мы не извлекаем, ничему не учимся.

Чтобы научиться, надо видеть все многообразие действующих в обществе сил и все разнообразие правд, которыми живут люди. Надо видеть пересечения и противоречия этих правд и возможности их совмещения и примирения, не умильного, но позволяющего жить взаимодействию. Для этого нужна истинная свобода слова,

без которой у реального общественного диалога нет места. А свобода слова — неделима, и не может быть особой для религиозных и особой для светских идей, особой для сторонников социализма и особой для его противников. Защитить ее удастся лишь целиком, лишь отстаивая вместе равные права верующих и неверующих и, вообще, всех людей, не зовущих к насилию. России ведь надобно не в очередной раз скинуть Перуна в Днепр, не снова сменить иконы в красном углу, а, — позволю себе повторить собственный лозунг, — наконец-то перейти от гражданской войны к гражданскому диалогу. В этом и состоит демократия.

ЧЕРНЫЙ ХОД ДЛЯ ТЕХНОКРАТА Снова игры в «классовый подход»?

Кто вправе представлять интересы рабочих?

Выборы народных депутатов, их съезд и сессия Верховного Совета побудили общество задуматься о дальнейшем восстановлении реальной советской власти и прежде всего о выборах в республиканские и местные советы. Вняты стали голоса, ратующие за упразднение окружных избирательных собраний, отвергающие представительство общественных организаций в обход рядовых избирателей. Но защитники прежнего не сидят сложа руки. Поскольку наш опыт демократии невелик и соблюдение парламентских процедур все еще мыслится обузой на пути к манящей цели, им удастся, на словах даже ратуя за демократию, ее-то и сводить на нет. К тому же отнюдь не все делают это злонамеренно, многие, как всегда, с чистым сердцем.

Казалось бы, уже понятно, что главное зло нашей жизни — тотальная внеэкономическая монополия. Ее плоды более чем очевидны. Для спасения страны необходимо прежде всего поставить преграду всевластию бесхозяйственного производства. Стать такой преградой может лишь демократическая власть в центре и на местах, подлинные советы, призванные прийти на смену нынешним, слишком охотно пляшущим под дудку ведомств и предприятий, все еще отождествляющих себя с государством. Чтобы производство совершалось в рамках закона, на страже закона должна стоять никак с этим производством не связанная власть, ответственная перед населением села, города, области, республики и всей страны.

Между тем все настойчивее требуют как раз обратного. В Ленинграде возник даже Объединенный фронт трудящихся, и его лидеры Г.Попов и А.Пыжов изложили в газете «Смена» программу. Они хотят избирать в советы не представителей граждан, живущих в районе, а представителен ведомств и предприятий, там расположенных, вручая им власть над местными жителями, голос которых окончательно утратит значение.

На месте жительства люди прежде всего хотят нормальных экологических условий, достатка продовольствия, квалифицированной медицинской

помощи. На месте работы, где проживают другие граждане, они, понятно, ставят на первое место интересы своего предприятия, тем более что этого требует начальство. Не было, кажется, случая, чтобы рабочие забастовали в знак протеста против того, что их завод отравляет окружающую среду, не говоря уже, выпускает недоброкачественную продукцию, хотя забастовки по другим поводам теперь не редкость. А против отравления природы чужим заводом по месту их жительства люди, порой те же самые, протестуют, выходят на демонстрации.

Объединенный фронт трудящихся предлагает открыть предприятиям льготный проход в советы, чтобы сами советы стали органами предприятий и ведомств, а не органами граждан. Предприятиям вручается право не просто выставлять своих кандидатов в советы, против чего, понятно, никто не возражает, но прямо избирать их туда, что все-таки исключительное право местных жителей.

Авторы этой идеи ссылаются на Ленина. Но ведь Ленин говорил о производственных единицах как ячейках государства в чрезвычайной ситуации, когда в стране не было всеобщего и равного избирательного права и существовали даже «лишенцы». В нормальных же условиях Ленин придавал местному самоуправлению важнейшее значение и сочувственно цитировал Энгельса, предлагавшего как непрременный пункт программы партии «полное самоуправление в провинции» (губернии или области), «уезде и общине чрез чиновников, избранных всеобщим избирательным правом». Ленин сетовал, что в этой связи на вопросы к «нашей партийной пропаганде и агитации обращалось и обращается недостаточно внимания. Все это в классической теоретической работе «Государство и революция».

Нам говорят, что только выборы по предприятиям позволят услышать голос рабочего класса. Но кто, собственно, живет в Ленинграде, если главным образом не рабочие? Конечно, живут еще научные работники, но их в несколько раз меньше. В сфере обслуживания тоже занято не слишком много людей, чиновников — и того меньше. Ленинград, слава богу, не столица. Пенсионеры тоже по преимуществу из рабочих. Голос жителей Ленинграда — это и есть прежде всего голос рабочего класса, выраженный свободно, **без давления заводской**

администрации, парткома и профкома. Оттого-то на выборах в народные депутаты СССР за М.Попова и А.Пыжова, и тогда выступавших от имени рабочего класса, было подано ничтожное число голосов. Рабочий класс хорошо понял, чьи интересы они на деле представляют.

Предлагаемая система выборов прежде всего не хочет считаться с рабочим как с человеком и гражданином, а ведь за проходной рабочего заботит все то же, что и прочих граждан. Но забота о том, чтобы не отравляли Неву и залив, не губили культуру, забота о школе и медицине, о городском транспорте, о кино и газете, о состоянии жилого фонда и порядке в нем не может быть удовлетворена в пределах своего предприятия, особенно в огромном городе, где предприятий сотни. Территориальный принцип, выборы по месту жительства — основа равноправия и демократии, лишь при территориальной власти граждане равны, ибо ее формируют на равных правах все жители данной территории, и только они, никто, кроме них.

За стремлением опрокинуть территориальную власть, когда ее необходимо, напротив, укрепить, различимы интересы отнюдь не рабочих, а все того же бесхозяйственного производства. Рабочий интересен проповедникам новой системы выборов лишь в своей производственной роли, лишь у станка, лишь как исполнитель. У них и слова нет о необходимости высвободить предприятия из-под власти ведомств, отдать их в распоряжение рабочих.

Между тем рабочему нужна не номинальная власть над территорией, а реальная власть над производством. В нормальных условиях он заинтересован в том, чтобы его предприятие было конкурентоспособным, не убыточным, а доходным — ведь отсюда и законный заработок. Не буду здесь спорить, должны ли предприятия передаваться трудовым коллективам в собственность, в бессрочное владение или в аренду, — так или иначе, они должны стать объектом самоуправления, демократически осуществляемого всем коллективом. Разумеется, предприятие должно отдавать заранее установленную часть дохода центральной и местной власти — не буду опять же здесь спорить, должны ли эти выплаты осуществляться в форме арендной платы или налога. Но за пределами этой обязанности, с одной стороны, и, с

другой, в пределах закона, определяемого центральной и осуществляемого местной властью, трудовой коллектив должен обладать полной свободой экономической деятельности. В сфере хозяйствования надо противопоставить власти ведомств власть рабочего класса над своим предприятием. При выходе всех предприятий, а не одних кооперативов, на реальный социалистический рынок рабочий будет кровно заинтересован и в научно-техническом прогрессе, и в повседневной модернизации производства (значит, и в союзе с интеллигенцией, а не в противостоянии ей), и в социальных гарантиях от последствий структурных перемен при модернизации. Лишь когда работа предприятия, действующего в рамках законных обязанностей и взятых на себя обязательств, начнет определяться сугубо экономическими критериями, а не указаниями инстанций, жизнь трудящегося человека и всей страны сможет измениться к лучшему. Смысл перестройки и состоит в признании экономической власти. А нам опять предлагают закрепить за предприятием внеэкономическую власть, чтобы опять не граждане определяли правила предприимчивости, а предприятие, заполнив совет, само определяло себе правила, то есть укрепляло свою монополию, не испытывая никаких ограничений, кроме спускаемых сверху, и не утруждая себя переходом к интенсивному производству.

Едва ли не величайшая трагедия отечественного сознания состоит в непонимании того, почему плюрализм суждений и разделение властей стали обязательными условиями разумной жизни общества. Мы все норовим найти способ одним махом решить все проблемы и «догнать Америку», а потом всякий раз обнаруживаем, что хотя способ мы выбрали и впрямь недурной — ту же кукурузу, — да чего-то не учли, и мы тотчас напрочь отрекаемся от кукурузы, которая, не будучи панацеей, могла бы недурно послужить животноводству и средней полосе, и хватаемся за другую панацею, нынче за компьютер. А думать бы надо сперва о том, как мы принимаем решения, как думаем, как складываются у нас общественное мнение и мнение властей.

Интересы человека многообразны, и наивно ожидать, что кто-то, будь он семи пядей во лбу, может их разом углядеть и безупречно сообразовать. Наивно считать

такой порядок рациональным, он, напротив, источник иррациональности и хаоса. Лишь обретая особые каналы для отдельного выражения каждого интереса, общество обретает возможность их плодотворно сопоставлять. Без прокурора и адвоката судья не в силах быть справедливым. Лишь когда прокурор изложит доказательства вины, а адвокат — доказательства невинности подсудимого, откроется возможность их полноценно сопоставить и принять обоснованное решение. А мы даже суд освободили от нужды в сопоставлении, и наши судьи, как правило, доверчиво следуют за прокурорами.

Но нужда в сопоставлении, взаимодействии и открытом противостоянии интересов во имя установления истины и справедливости есть везде и всюду. Признаем же наличие противоречий между разными интересами одного и того же человека и вместе с тем их взаимозависимость, признаем, что интересы человека как труженика и его же интересы как гражданина часто различаются. И в то же время неудовлетворенность гражданских интересов ощущаемо сказывается на рабочем состоянии труженика и наоборот. Разрешим трудящимся в рамках закона свободную производственную деятельность в собственных коллективных интересах и одновременно позволим жителям, опять же в рамках закона, выбирать себе власть, защищающую их интересы и нужды. Пусть представители наших производственных интересов составят совет трудового коллектива, руководство предприятия, а представители наших гражданских интересов станут депутатами советов и их руководителями, и пусть они ежедневно согласовывают наши противоречивые и подвижные интересы. Другого способа действовать разумно не существует.

Противники предложения проводить выборы в советы по предприятиям, то есть в рамках производственной дисциплины и под бдительным надзором администрации, уже отмечали, что это — средство протащить в республиканские и местные советы тех, кто в Ленинграде дружно провалился на выборах в народные депутаты СССР. Но это не главное зло предлагаемого проекта. Подчинив советы предприятиям, мы уничтожим поле для их объективного взаимодействия, вернемся к монополии,

к диктату производителя над потребителем, и подлинно экономическая деятельность снова станет невозможной.

Авторы этой идеи не скрывают, что стремятся именно к такой цели. Корень всех бед, твердят они, в том, что предприятия жаждут прибыли, а этого, мол, не добьешься иначе, как повышая цены. Вот они и зовут ради всеобщего благоденствия отказаться от стремления к прибыли. Между тем лишь при абсолютной монополии и дефиците возможна прибыль от простого повышения цен, а так-то она, как давно известно, свидетельствует о созидании прибавочного продукта и в этом качестве при любом общественном строе служит показателем хозяйственной деятельности, без которого вообще невозможно определить, какое предприятие лучше работает. Отказ от учета прибыли как раз и предоставил нашему обществу свободу работать плохо.

Люди и предприятия работают хорошо не по доброте душевной и не из нравственных побуждений — на это, как показала жизнь, надежда слаба, — а именно ради прибыли, позволяющей и производство сделать более конкурентоспособным, и лучше оплатить труд, удерживая лучших работников. И когда эта прибыль будет не утекать на министерские счета, а реально сказываться на благосостоянии самоуправляющегося трудового коллектива, выяснится, что и социалистические предприятия могут работать не хуже капиталистических и жизнь при социализме вовсе не обязательно должна быть хуже, чем при капитализме.

Спор, как видим, идет не просто о том, как выбирать в советы, но и о том, каким быть у нас социализму, сохранять ли общественную структуру, позволяющую работать плохо, пробиваясь к лучшей жизни не лучшим трудом, а внеэкономическими преимуществами, даруемыми административной властью, пока ее закрома не иссякают, или все же следовать давно провозглашенному, но так и не осуществленному принципу «от каждого по его способностям, каждому по его труду». Спор идет о том, вести ли хозяйство по-прежнему технократически или наконец социально, то есть следуя давним социалистическим призывам: землю — крестьянам, заводы — рабочим и, после научно-технической революции, следует прибавить, институты —

научным работникам, а власть — всем, всему народу, всем трудящимся, всем гражданам.

Всякое вольное или невольное, сознательное или бессознательное стремление этому помешать, это насущное условие экономического и общественного развития обойти толкает страну в пропасть прошлого, к застою, к отсталости, к лагерям, к нищете. Пора отдать себе в этом отчет и не насаждать новую диктатуру под видом особенной демократии — демократии для особенных. В современном обществе не может быть ни избранных народов, ни избранных классов, ни даже великих вождей, владеющих всей полнотой истины. Мы можем обрести ее только сообща, на равных, считаясь друг с другом. Именно в этом и состоит смысл возвращения власти советам, которые как раз ради этого и надлежит избирать на всеобщих, равных, прямых, альтернативных и тайных выборах по принципу: один человек — один голос, без каких бы то ни было преимуществ для кого бы то ни было.

ОТ ГЛАСНОСТИ К СВОБОДЕ

Роды французской королевы. И закон о печати?

Не нам первым приходится выяснять, есть ли от свободы печати прок или одни неприятности. Еще в 1842 году, комментируя дебаты в рейнском ландтаге, Карл Маркс отметил: от свободы печати требуют, чтобы она разрешила все проблемы, стоящие перед обществом, и напомнил о литераторе, «который не переставал сердиться на своего врача за то, что тот, правда, избавил его от болезни, но не избавил заодно его произведения от опечаток». В этой связи Маркс бросил: «Свобода печати, подобно врачу, нее обещает совершенства ни человеку, ни народу. Она сама не является совершенством». Будем же помнить, что свобода печати, ныне влекущая за собой немало неудобств, не украшение жизни, а жизненная необходимость, если мы хотим, чтобы наша страна выжила, а не обратилась к 2000 году совсем в глухую и разоренную провинцию.

Как известно, французская королева рожала в зале, где толпилась знать отнюдь не только женского пола. Наши проститутки, не говоря о блюстительницах нравственности, конечно, сочли бы ее бесстыжей. Но дело не в недостатке стыдливости. Просто правящий класс хотел быть уверенным, что следующим королем со временем станет ребенок, которого родила именно королева. Это было залогом законности монаршего правления. И соблюдение законности даже в те времена не могло обойтись без гласности.

Вот почему первым шагом на пути к установлению законности у нас и стала гласность. Наивно думать, что стоящим у власти хотелось порочить прошлое и демонстрировать, что белые пятна на самом деле были грязными и кровавыми. Но если не говорить открыто о вчерашних беззакониях, законность никогда не установится, да никто в нее и не поверит. И воевавшие против гласности тоже не так уж любили Сталина. Они просто хотели жить по-прежнему. Но гласность возобладали. Мы видели заседание Съезда народных депутатов, видели, как они рукоплескали генералу Родионову и майору Червонопискому и освистывали

академика Сахарова. Мы видим заседания Верховного Совета. Реальность предстает нам полнее и объективнее чем еще недавно, и это, разумеется, весьма отрадно. Однако нарастающая полнота гласности нагляднее всего показала, что одной гласности в век научно-технической революции недостаточно. Нужна свобода слова.

Многим кажется, что гласность и свобода слова – это одно и то же. Тем более что уже при гласности до нас открыто доходит и не только спущенное сверху мнение. Если еще недавно инакомыслие было тягчайшим грехом, то нынче по любому вопросу можно слышать едва ли не полярно противоположные суждения. И все же нередко наиболее глубоким суждениям, отнюдь даже не крайним, не находится места. Свобода слова отличается от гласности тем, что она положена каждому человеку, без всякого исключения. По этому поводу Маркс тоже успел высказаться: «Вопрос не в том, должна ли существовать свобода печати, -- она всегда существует. Вопрос в том, составляет ли свобода печати привилегию отдельных лиц...»

Пока цензура охраняет единомыслие, это кажется не столь существенным. Но вот цензура стала у нас либеральнее. Проекты законов о печати предполагают и вовсе ее упразднить. Однако от этого мы, простые граждане, еще не обретаем свободы слова, вернее, она остается лишь у «Московских новостей» и «Правды», «Нашего современника» и «Огонька», «Молодой гвардии» и «Знамени», «Литературной России» и «Известий» и так далее. А что делать тому, чьи взгляды ни с одним из дозволенных изданий не совпадают полностью, и, стало быть, ни в одном месте для них не найдется?

В мире частного предпринимательства свободе печати достаточно юридических гарантий, у нас – иное экономическое устройство. До читателя нам не добраться, ведь никто нас печатать не обязан, да и не может закон о печати никакую редакцию вынудить печатать то, что ей не по вкусу. Стало быть, чтобы не остаться лишь декларацией благих намерений, закон о печати прежде всего должен оговорить право каждого гражданина и каждой организации граждан приобретать материальные средства для печати и пользоваться ими. Иначе свобода печати так и останется привилегией отдельных лиц.

Но едва мы допускаем, что настанет свобода для всех, тотчас возникает страх перед злоупотреблением. Привыкнув жить под постоянным контролем, возложив на правительство странную обязанность воспитывать народ (хоть граждане не дети правительства, и куда естественнее наоборот: народу воспитывать должностных лиц и государственных деятелей), мы все не можем уразуметь, что свободой злоупотребить невозможно. Свобода лишь позволяет проявиться тому, что существует и без нее, а никто еще не доказал, что все дурное, которое в жизни, к сожалению, существует, становится лучше от того, что покрыто тайной. Поэтому, есть свобода или нет, все равно приходится думать, хороши ли чужие дела и призывы, безразлично, совершаются они публично и прямо или подспудными и обходными косвенными путями.

Цензура вредна не только тем, что лишает нас необходимых сообщений и рассуждений. Суровая цензура – лучшее средство для подрыва государственного строя, для внедрения в умы недоверия к нему, и наша цензура в этом преуспела. Интерес к западным передачам на Советский Союз возник не столько от их достоинств, сколько от многолетнего глушения. Впрочем, когда радио еще не было и в помине, Маркс написал и об этом: «Если закон о цензуре хочет **ставить преграды свободе** как чему-то нежелательному, то он достигает как раз обратного. В стране цензуры всякая запрещенная, то есть напечатанная без цензуры, книжка есть событие. Она считается мученицей, а мученичество не бывает без ореола и без верующих». Кажется невероятным, что это написано не о Раскольникове, не о Солженицыне, не о Синявском. Но Маркс продолжает: «Цензура делает каждое запрещенное произведение, будь оно плохое или хорошее, необычным произведением, в то время как свобода печати отнимает у произведения эту внешнюю импозантность». Стоявшие у власти марксисты Маркса не читали или, во всяком случае, не считались с ним. И раз уж мы теперь к нему вроде возвращаемся, стали его читать, стоит позаботиться о том, чтобы свобода печати стала у нас полной.

Идя на это, надо четко сознавать, что при полной свободе печати появятся и суждения, ничего общего не имеющие с истиной.

Но сама же свобода печати не служит ли лучшей защитой от их наплыва – и не только тем, что новый закон вынудит в случае доказанной клеветы печатать опровержение, -- но еще больше тем, что другие издания не упустят возможности опровергнуть завравшихся оппонентов и тем продемонстрировать уровень их мыслительных способностей, невежества и безнравственности. А если в печати появятся призывы нарушать конституцию или уголовный кодекс или сами публикации явятся таким нарушением (скажем, будут содержать военную тайну), то ведь за это давно предусмотрены строгие наказания, которые отнюдь не смягчаются от того, что закон нарушен в печатном тексте, а не устно или письменно. Словом, полная свобода предполагает и полную ответственность, и вряд ли есть смысл особо оговаривать все случаи, когда эта ответственность наступает. Она должна наступать всегда, если нарушается конституция или уголовное законодательство.

Акт нарушения закона может быть установлен, понятно, лишь открытым судом, и ответственность перед ним достаточно гарантирует народ и государство от использования средств массовой информации для нарушения закона и подстрекательств к его нарушению. Стало быть, нет причин ограничивать свободу печати не только предварительным цензурованием, но даже и предварительным разрешением на выпуск того или иного печатного органа или отдельных книг, как ни велик соблазн разрешить такое лишь всесторонне проверенным товарищам. Желаящие издавать газету или журнал не должны запрашивать на то разрешения, деликатно именуемого в проектах «регистрацией», достаточно поставить власти в известность о таком намерении, а обязательные экземпляры представлять в Книжную палату. Предполагаемый проектами запрос на разрешение, равно как повсеместное умолчание о праве на приобретение и использование печатных средств, при желании легко сведет свободу печати к минимуму. Все будет зависеть от возникновения подобного желания, от персональной милости. Но такая милость, слава богу, у нас сегодня есть. И законы, не способные ее закрепить, сделать впредь независимой от воли того или иного лица, даже стоящего на вершине власти, попросту не нужны.

Они ничего не прибавят и окажутся при самых добрых намерениях существующими лишь для вида. Но для вида свободу слова, как и прочие свободы, провозгласила уже сталинская конституция.

Стоит особо задуматься над тем, кому, собственно, предоставляется свобода печати. Она, понятно, расширяет возможности граждан получать необходимую им информацию о жизни и науке и доступ к художественным сочинениям. Она опять же помогает разным организациям вести обмен мнениями, политическую и всякую другую пропаганду, а крупным издательским фирмам позволяет на всем этом зарабатывать. Но важно помнить, что свобода печати нужна прежде всего авторам – писателям, журналистам, художникам, композиторам, режиссерам. Однако это не кастовая привилегия. И не только потому, что в условиях свободы любой человек, никого не спрашивая, в такую касту входит. Еще важнее, что авторы, выступающие с информативными, научными или художественными сообщениями, хоть и действуют на первый взгляд как бы каждый от себя, выполняют великое общественное назначение. Все вместе они предоставляют обществу и, более того, человечеству палитру наличных суждений и чувств по всем занимающим людей поводам. Гражданину помимо избирательных кампаний не обязательно самолично изъяснять свое отношение к тем или иным явлениям. Он обнаруживает в свободной печати одного или нескольких авторов или изданий, адекватно выражающих его точку зрения, и, приобретая соответственные книги, журналы или газеты, всякий человек участвует в формировании общественного сознания и берется за перо лишь в крайних случаях, преимущественно когда никто не сказал того, что у него на языке.

Многолетняя обезличенность нашей печати стерла понятие авторства. Ныне не считают зазорным использовать чужие идеи, не давая хода людям, их выдвинувшим раньше и сформулировавшим лучше. Между тем свобода печати и самое право на нее неотделимы от авторского права, равно как главнейшее авторское право состоит в свободе печати, возможности предъяснить себя, свои идеи, свои чувства согражданам и человечеству. Но у нас печать все еще мыслится как

забота учредителя, издателя, редактора, грань между которыми, кстати сказать, не всегда ясна. Автор же считается лишь подсобной рабочей силой, хотя на деле именно он – первое лицо свободной печати. При создании нового закона надо и об этом помнить.

Ведь именно авторское многоголосие обращает печать в трибуну общественного сознания и дает основание повторить за Марксом: «Свободная печать – это зоркое око народного духа, воплощенное доверие народа к самому себе, говорящие узы, соединяющие отдельную личность с государством и с целым миром... Свободная печать – это откровенная исповедь народа перед самим собой, а чистосердечное признание, как известно, спасительно. Она – духовное зеркало, в котором народ видит самого себя, а самопознание есть первое условие мудрости».

НЕ БОГ, НЕ ЦАРЬ И НЕ ГЕРОЙ...
Споры о «спасителе отечества»: может ли
«вести» демократию сильная рука?

Общественное сознание взбудоражено. Оглядываясь на бесплодие давних реформаторских попыток, убеждаешься, что экономические преобразования без одновременных политических у нас невозможны. Это, естественно, обостряет ситуацию. Но чем она острее, тем нужней самообладание, тем важнее разобраться в реальном, а не книжном общественном бытии, обычно определяющем общественное сознание.

Десятилетия монопольного хозяйствования превратили наше государство в циклопическую раздаточную, в которой размер пайки определяется чем угодно, но только не трудом. Покуда не сложится самодействующая экономическая структура, центр останется адресатом всеобщих претензий. Но и враз повернуть государственный корабль не удастся, тем паче такой поворот в новинку и не обходится без импровизаций, не всегда удачных. Полки магазинов пустеют, и поскольку еще недавно хлеб, хоть и закупленный уже за океаном, продавался в соседней булочной без перебоев, иным кажется, что раньше лучше было. Возникает тоска по железной руке, но диктатору, который «наведет порядок». Где, впрочем, он добудет хлеб, остается неясным.

Бонапартами не становятся

Не стоит обольщаться иллюзией, что железная рука идеал одних «аппаратчиков», не желающих «поступаться принципами», или шовинистических групп, отличающихся от привычных консерваторов лишь несколько большей откровенностью. В последнее время по железной руке затосковали и особого рода прогрессисты, опять уверяющие, что именно диктатура оплот демократии: с нами, дескать, иначе нельзя! Почему мы, живущие в независимой стране более пяти веков, к демократии «не готовы», а индусы, едва вышедшие из-под британского колониального ига, демонстрируют ее примеры, тоже неясно.

Политическое мышление, изуродованное со сталинских времен, не сочетается с конкретностью

истории. Оно становится технологическим, «как» заменяет «что», и начисто пропадает представление о содержании самих по себе средств, самих методов политического действия, а не только провозглашаемых целей, о которых шумят, вербуя сторонников. Великие слова Маркса: «Цель, для которой требуются неправые средства, не есть правая цель» — уже напрочь забыты, — слишком часто неправые средства были у нас в ходу. Но счастье народа недостижимо без его участия. Революция сверху неосуществима без поддержки снизу. Без народного доверия реформы, как правило, не удаются.

Об этом новые политологи не вспоминают. Но не вспоминают и о том, что Бонапарта родила революция. Дантон и Робеспьер пробили ему путь, и Бонапарт уже мог революцию осаживать, отказываться от ее крайностей. Но он олицетворял новое общество, и крестьяне, становясь его солдатами, не зря жизни за него не жалели. П.А.Столыпин не стал российским Бонапартом не потому, что не видел нужды в переменах, отлично видел, но потому, что был не сыном революции, но лишь ее усмирителем. А у нас хотят обрести Бонапарта аппаратным путем.

Так и говорят: «Съезд вообще не стоило созывать. Гораздо лучше было бы, чтобы наш лидер получил усиление своей власти аппаратным путем». Но аппаратным путем приходит не Бонапарт, а лишь Столыпин, который, утратив расположение двора, то бишь аппарата, не может обратиться за поддержкой к народу.

Между тем массы не безличны (?) и к реформам относятся по-разному. Одно поддерживают, другое нет. Одни поддерживают, другие — нет. Еще до Маркса было осознано, что в обществе идет борьба классов и сословий. Абсолютизируя классовую борьбу, у нас частенько забывали, что она — другая сторона классового взаимодействия, что буржуа с рабочим одновременно и делают общее дело, и сражаются друг с другом за его плоды. Это мешало понять социальную природу национальных интересов, нередко противоречивших правилам международной классовой солидарности, мешало понять, почему не свершилась мировая революция, почему «братья по классу», немецкие рабочие, отнюдь не братались с Красной Армией, а исправно воевали за Гитлера. Но зачем же бросаться в

обратную крайность и отрицать существование классовых противоречий, отрицать, что правящий слой России по преимуществу не желал даже столыпинских реформ, не говоря о предложенных первой Думой, а на более раннем этапе сопротивлялся реформам Александра II? Зачем отрицать, что несвершенность, половинчатость, бестолковость производимых преобразований обусловила неудовлетворенность крестьянства и последующие революционные пожары?

Кризис общественного сознания подтверждается и тем, что для нашей неординарной ситуации новые политологи механически перенимают объяснения, сложившиеся в других обстоятельствах. Прочитав в английских переводах замечательного немецкого мыслителя Макса Вебера, они уверяют, что без «харизматического» диктатора ни подлинной экономики, ни потом когда-нибудь демократии нам не видать. М.Вебер скончался в 1920 году. Его теории тесно связаны с трудной немецкой историей, во многом, однако не во всем, схожей с нашей. К тому же нельзя отвлекаться от всего пережитого нами после 1920 года и обозначившихся отличий от пережитого Германией. Во время первой мировой войны М.Вебер, понимая, что война империалистическая перерастет в войну гражданскую, дальновидно считал необходимым как можно скорее заключить мир, а после крушения монархии возлагал надежды на сильную президентскую власть, способную, по его мнению, консолидировать нацию и, осадив монархическую бюрократию, построить правовое государство.

Можно понять американских социологов, нашедших в работах М.Вебера опору для раздумий о политическом устройстве своей страны с ее сильной и противопоставленной представительным органам президентской властью. (Заметим, кстати, что конгресс эту власть все же весьма ограничивает, вплоть до права отстранения президента от должности в порядке импичмента, о чем наши сторонники сильной президентской власти, к сожалению, забывают.) По англосаксонской традиции США издавна привержены к таким компромиссам, а вот в родной М.Веберу Германии, подобно нам не знавшей ни таких традиций, ни прочных демократических институтов, через тринадцать лет после

смерти ученого харизматическим вождем стал Гитлер, и всякая законность рухнула. Винить в этом М.Вебера было бы странно, но понять на этом примере, что абстрактность теории, сообразуясь с конкретностью истории, не всюду однозначна, очень даже стоит.

«Правые» и «левые»

Харизматический (от греческого слова «харизма» — благодать) вождь, сильный верой народных масс в то, что именно и только он способен разрушить или разубить нерешаемые проблемы, создавшие кризис, выдвигается в самых разных и правых и левых движениях. У нас им был, конечно, Ленин, авторитет и власть которого не зависели от должностей и обходились без избирательных обоснований, — вера в него коренилась в его решительном противостоянии многолетнему упрямству царизма и бессилию Временного правительства. Он был залогом разрешения аграрного и национального вопросов, преграждавших стране путь к интенсивному развитию.

У М.С.Горбачева, которого прочат, его не спросив, в диктаторы, совсем иная историческая роль. Он не противостоит существующей системе, но вышел из ее недр в момент исчерпания ею своих возможностей, и цель его не разрушение системы, как некогда у Ленина, а ее трансформация, перестройка путем расширения социальной базы и учета реальности. К Горбачеву людей влечет не иррациональная вера и не его личное обаяние, а сугубо рациональная надежда, ибо в нынешней ситуации компромисс с реальностью и в самом деле единственная возможность выйти из кризиса без кровавых катаклизмов. Все верят: он от своей инициативы не отступил. Покуда надежды на внутренний мир, необходимый стране не менее международного, не иссякли, Горбачев остается у нас безусловно самым сильным политиком.

Все удачи и неудачи — от неапробированности демократических путей, от инерционной бескомпромиссности прежних дней, к которой, к стати, и толкают призывы к диктатуре.

В этих призывах, пусть даже прикрытых рассуждениями о демократии, воплощено сопротивление преобразованиям, которое не сводится к спорам в политбюро, где, может быть, даже царит единодушие. Но

чуть мы спустимся на несколько ступеней, сразу обнаружится, что только на первый взгляд кажется: одни атакуют справа, а другие слева. Но эта стандартная формула тотчас разваливается, едва выясняется, что и те и другие, помалкивая об уклонении государственных предприятий от производства товаров для населения по доступным ценам, дружно требуют обуздать кооперативы. А ведь удержки госпредприятия производство товаров, которые никогда не были дефицитны, хотя бы на прежнем уровне, да еще не передавай их тем же кооперативам, превращая последних в торговых монополистов, кооперативные цены упали бы без всяких дополнительных законов.

Общая несообразность произвольно установленных цен и зарплат, ущемляющая добросовестных и квалифицированных тружеников, дает прибавку из общего котла отнюдь не только «аппаратчикам», в число которых, кстати, нередко записывают рядовых инженеров, получающих меньше, чем их неквалифицированные подчиненные. На всех уровнях, и не только власти, но производства, и культуры, и сферы обслуживания работающие меньше и хуже хотят сохранить привычное положение, а не уступить незаработанные деньги тем, кто работает больше и лучше. Они поэтому хотят, чтобы власти не спешили со стоимостным хозяйствованием и вообще возвращались к прежней политике и лучше всего к Сталину, учредившему такой порядок. Их не единицы, и пока они не ощутят, что выигрыш соседей позволит им тоже жить во всяком случае не хуже, чем прежде, мечты о хозяйине, бросающем лишнюю пайку, не осудеют. Между тем прямая помощь государства полезна лишь как социальная гарантия, а повседневная жизнь налаживается только там, где у каждого появляется возможность плодотворно трудиться, получая по труду. Недавно М.Горбачев в Верховном совете сказал: «Опять слышатся голоса, что нужен какой-то спаситель отечества. Но спаситель отечества в том виде, в каком мы его уже видели, я думаю, нам не нужен. А вот те структуры власти, которые действительно выводят народ как главное действующее лицо на политическую арену, вот в этом спасение наше».

И, в самом деле, только демократизация жизни утолит нужду страны в социальном компромиссе, к которому она,

увы, не обернулась сразу после революции на почве ее победы. Да и ход к НЭПу был, конечно, некоторым шагом к гражданскому миру, и социализм мог бы утверждать себя в мирном состязании с другими укладами, тем более, что новая власть ему-то и благоприятствовала. Однако свершился великий перелом и фактически, хоть и не на полях сражений, возобновилась гражданская война, война против интеллигенции и крестьянства, и все нет ей конца.

В чем компромисс?

Я готов согласиться, что сегодня для достижения гражданского мира и проведения радикальной экономической реформы недостает власти, но стоит задуматься, какая власть для этого нужна. Ведь М.Горбачев всей той властью, какой обладали его предшественники, сполна обладает. Его власть несравненно больше, чем у того же президента США. Но в том-то и дело, что в своем традиционном виде она для проведения экономических реформ и вообще для последовательной политики, сообразующейся с реальностью, совершенно не годится, и ее дальнейшая концентрация сама по себе улучшить положение не может. В том и великая заслуга М.Горбачева, что он обратился к политическим реформам и созвал Съезд народных депутатов и Верховный совет, чтобы они прорूपывали проходы сквозь толщу взаимной нетерпимости к общественному согласию и взаимным уступкам. Никакой самый могучий и преисполненный лучших намерений лидер не в силах установить демократию в одиночку. Как давно сказано, «права не дают, права берут». Сетовали бы не на недостаточную активность М.Горбачева, а на недостаточную активность и недостаточную готовность искать взаимоприемлемые решения у представительных органов и у самих избирателей, а ведь новые выборы не за горами.

Опять же необходимо помнить о конкретном социальном смысле ожидаемых реформ. Сложившаяся у нас хозяйственная монополия, всей плотью сросшаяся с государством, уперлась ныне в пределы возможного для себя технического прогресса и вообще рационального ведения дел. Ныне пытаются точнее определить природу собственности. Это важно, но стоит помнить, когда мы

перестали понимать ее природы. Не тогда ли, когда свели к собственности все зло мира, забыв, что, по Марксу, она плодит зло постольку, поскольку становится почвой для применения наемного труда, в ходе которого и создается, опять же по Марксу, прибавочная стоимость, присваиваемая работодателем. Источник богатства — наемный труд, притом в больших масштабах, а не сама по себе частная собственность. Объявляя собственность коренным злом, мы упускаем, что характер эксплуатации наемного труда зависит от его масштабов, от числа пользующихся им собственников, и чем их больше, тем их соперничество полезней наемным рабочим. А чем сильнее частная собственность сконцентрирована, тем произвольней собственник обходится с наемным рабочим, и, когда монопольная государственная собственность вытесняет множественную частную, ее произвол максимален уже потому, что другого работодателя, кроме государства уже нет и быть не может. Тем, что проблему свели к ликвидации частной собственности и обращению ее в государственную, лишь ужесточили механизм эксплуатации, а наемный труд не сократили, лишь ужесточили механизм его эксплуатации. И в силу монопольного положения и внеэкономической власти государства тоталитаризм уже ни с какими объективными законами, которые вынужден учитывать капитализм, не соотнобразовывается.

Экономическая реформа в идеале призвана сократить, а в перспективе и упразднить наемный труд, но непременно ликвидируя одновременно государство. Маркс мечтал о социалистическом обществе, в котором не будет пролетариев, наемных рабочих, а у нас умудрились к ним прибавить еще и наемных крестьян и наемных интеллигентов, а и это прогресс в сравнении с подневольным трудом. А «больше социализма» — должно означать меньше наемного труда! А при нашем — увеличивается подневольный. Ленинское определение социализма как «строя цивилизованных кооператоров» тем и интересно, что в нем схвачена суть социализма как общественного строя, в котором люди работают не по найму, а на самом деле являются собственниками или владельцами средств производства. А практика оказалась противоположной.

Но если они сами себе хозяева, то сфера их самостоятельности должна быть для них всесторонне обозримой, включая и отношения их со сферами самостоятельности других людей, ради чего хозяйственным отношениям и надлежит быть сугубо экономическими, то есть стоимостными и состязательными, а не отчужденными под слепым унитарным владычеством. Диктатура, доходившая до крайних форм культа личности, вызвана не просто тяжелым характером Сталина, а объединением всего хозяйства страны в единую отчужденную от трудящихся внеэкономическую махину. Иное хозяйство нуждается в иной политической структуре, в непосредственных, минуя властный центр горизонтальных связях меж автономными участниками, небеспрекословно послушными, но обретающими голоса, то есть в демократии.

Суть социального компромисса в переходе от наемного труда, обретшего в силу монопольности работодателя даже черты феодальной барщины, к труду в социальной ассоциации, к экономической самостоятельности граждан.

Понятно, такой переход не может совершиться в одно мгновение. Но смысл реформ, их успехи, могут быть измерены лишь ростом продуктивности вылупившихся из нынешней монопольной громады самостоятельных производственных единиц, считающихся лишь с экономическими параметрами, но не с командами сверху или со стороны. Поскольку сосуществование таких очагов социализма с работой по найму на государственных, а порой даже и частных, предприятиях продлится, быть может, не одно десятилетие, это сосуществование, включая возможность свободного перехода от одной формы к другой с равными для всех социальными гарантиями, должно быть законодательно закреплено демократическим путем. Только такая последовательная реформа и сможет обеспечить стране и ее народам подлинный социальный мир, иначе все сведется к очередному переименованию министерств если не в совнархозы, то в концерны, а само хозяйство, безапелляционно отчуждающее плоды наемного труда, по существу, не изменится, и останется лишь гадать, разорят ли его вконец забастовки или, наоборот, расправы с

бастующими. Чтобы привести страну к социальному компромиссу, М.С.Горбачеву не хватает не власти вообще, такой у него в избытке, и она все укрепляется, а именно демократической власти. В стране все еще нет инструмента повседневного согласования, сбалансирования различных стремлений, тенденций и сил в общих интересах.

Винтовка и власть

Выдвинутое М.С.Горбачевым на XIX конференции КПСС предложение первым секретарям баллотироваться на посты председателей соответствующих советов, многие, веря в автоматическое их избрание, восприняли как намерение усилить власть партийного аппарата. На деле это как раз означало бы народный контроль за аппаратом и за партией, побуждало бы партию выдвигать лидеров, считаясь с мнением народным. Не случайно нынче многие секретари против «совмещения должностей». Им больше нравится руководить, не неся ответственности, стоя за кулисами советской власти и подменяя ее.

Ленин, будучи председателем Совнаркома, был одновременно беспорным лидером партии, но не по должности, а по личному авторитету, по «харизме». Его соратники тоже занимали государственные посты, центральные и местные в силу личного авторитета, по крайней мере среди преобладающей массы коммунистов. Но именно они сообщали составляли Центральный комитет партии, в котором люди, занимавшиеся исключительно партийной работой, были тогда редчайшим исключением. Партия не стояла над государством, а посылала самых способных своих людей управлять государством, оттого это и лучше получалось?

Позднее, при Сталине, личный авторитет заменился авторитетом должности, личная «харизма» — должностной. Стать секретарем, спущенным сверху, уже означало стать лидером, каковым по личным своим качествам человек часто стать бы не мог. Вот и нынче дело не за тем, чтобы «разделить» партийную и государственную власть, а затем, чтобы признать, что никакой особой партийной власти над народом, помимо завоеванной партии на выборах государственной власти,

нет и быть не может, и, соответственно, упразднить самые эти командно-секретарские должности, которые при Ленине не играли нынешней роли, чтобы лидерами партии на всех уровнях были именно те ее деятели, которым народ доверит государственную власть в центре и на местах.

Но диктатура худа не только тем, что человек от абсолютной власти непременно портится нравственно, — пусть даже и не до конца испортится, но ведь диктатор может править, лишь делегируя свою неограниченную власть прямым своим ставленникам и дальше по вассальной лестнице. В обществе, нуждающемся в инициативах, в объективном сопоставлении ценностей и поощрении талантов диктатура губительна даже вопреки личным стараниям диктатора преодолеть ущерб, проистекающий не от его воли, но от свойств диктатуры как таковой. А нам все объясняют, как хороша диктатура!

Самый решительный ее приверженец А.Мигранян даже пригрозил, что если диктатор не усмирят массы, он, Андраник Мигранян, предпочтет другой вариант: «консервативные силы на время (!) прерывают процесс перестройки и вводят все в русло стагнации. Плохо, безусловно, но лучше, чем неуправляемый разгул страстей». Но кто, собственно, доказал, что именно консерваторы — противовес разгулу страстей, действительно опасному? Не наоборот ли? Не буйствуют ли страсти сверх меры именно там, где отказываются от социального компромисса и консерваторы насмерть стоят на своем.

Чтобы спасти страну, надо помнить, что не так важны лозунги на знаменах, как методы, которыми их воплощают в жизнь. Винтовка рождает власть, держащуюся лишь на винтовке. Возможности такой власти в век науки и наукоемкого производства неизбежно сокращаются, и сторонники диктатуры во имя прогресса на практике оказываются заодно со сторонниками диктатуры во имя реакции. Им все не понять, что цель не оправдывает средства, что, напротив, неподобающие средства уничтожают самую возвышенную цель.

Попытки объяснить нашу трагическую историю происками злодеев, считать ли таковыми описанных Достоевским «бесов», немецких агентов или жидо-масонских заговорщиков, дурны не только тем, что не

верны, но и тем, что мешают видеть истину. Даже великий роман «Бесы» с его пророческой правдой о шигалевщине содержит, увы, и великую ложь: Петруша Верховенский, списанный с Нечаева, выступает там сыном Степана Трофимовича, списанного с Грановского, то есть аморальность и терроризм объявлены неперменным детищем стремления к свободной мысли, европеизма и демократичности. И дело не только в том, что, как выяснилось, грановские становятся первыми жертвами нечаевых, а в том, что они отнюдь им не родители, во всяком случае, в несравненно меньшей мере, чем Иисус из Назарета прародитель Торквемады, а ведь Христа к ответу за великого инквизитора и Достоевский не требует.

Я говорю это, понятно, не к тому, чтобы взвалить вину за костры инквизиции на бедную секту из Кумрана, а к тому, чтобы урезонить порочащих и Новикова, и Радищева, и Грановского, и все вообще освободительное движение. Везде винить надо виноватых, тех, для кого цель оправдывает средства, и помнить, что диктатура во имя демократии прежде всего упраздняет именно демократию.

БЕРЛИНСКАЯ СТЕНА

13.VIII.61—9.XI.89

Берлинская стена стояла двадцать восемь лет. Она материально воплотила метафорический железный занавес, за пятнадцать лет до нее, по слову Черчилля, разделивший Европу, проведшую, таким образом, в разделении сорок три года. Нынче об этом редко вспоминают. Би-Би-Си показало недавно фильм, в котором российский комментатор Владимир Познер объяснял зрителям, что по обе стороны занавеса было много плохого. Конечно, не только к востоку от него, но и к западу, жизнь была не идеальной. Но ни популярный комментатор, ни его левая американская собеседница, не вспомнили, кто построил стену, не вспомнили, что люди из-за занавеса бежали только в одну сторону — с востока на запад, и стреляли в убегающих только с одной стороны. Разницы меж сторонами как бы не стало и даже, вроде, не было. А помнящим ее понятно, почему за десять лет не всюду и не вполне преодолено вросшее за сорок три года, и не везде прошли трудности, а где и выросли. Да потому, что почти полвека коммунистические страны вели хозяйство противостоительно.

Оно опиралось на штыки, и поэтому не боялось разорения, работая не на платежеспособный спрос, а по плановым заданиям. Конкуренции не было, и всеобщая монополия, слившись в экстазе с государственной властью, вела от Чехии до Камчатки неэквивалентный обмен. Такое могла себе позволить лишь безмерно богатая Российская империя, своими огромными ресурсами, людскими и сырьевыми, до поры компенсируя неэквивалентность обмена. Но и ресурсы истощались.

Когда рабочие Гданьской судовой верфи впервые в истории потребовали, чтобы государство, именуемое рабочим, выполняло обязательства, они, возможно, верили, что для этого довольно Ярузельскому или, на худой конец, Брежневу распорядиться, а ни тот, ни другой, не в силах были изменить структуру хозяйства, они могли только стрелять или не стрелять. Обнажив это, польские рабочие показали миру, что ведение хозяйства общим социалистическим котлом неэффективно.

Шар, который толкнул Валенса, покатился, Горбачев начал перестройку, рухнула берлинская стена, распались

Варшавский договор и Советский Союз, и Россия даже объявила себя демократической. Тут и открылось, что социализм не дает никому самостоятельно жить, и социалистические предприятия, как правило, не могут работать, когда надо соревноваться с другими не лозунгами, а ценой и качеством.

Дорожившие и прежде отдельностью заводов и людей Венгрия, Чехия и Польша, хоть Гданьской судовой верфи нет былого применения, нынче все же выглядят лучше других. А в восточной Германии недовольных больше. Западные братья бросают на восток бешеные деньги, бывшая ГДР потребляет в полтора раза больше, чем производит. Но наладить производство, способное конкурировать с западными братьями на внутреннем рынке, там тяжело, десяти лет для этого мало. А вся штука в том, чтобы жить своим трудом.

В России и Украине это не выходит. Не потому, что наши люди глупей или ленивей, или менее квалифицированы. Ничего подобного. Но у нас отдельное хозяйство стреножено. Социализма вроде стало меньше, государство цинично отреклось от обещанных им социальных гарантий, фактически сократило пенсии, бросило здравоохранение на произвол судьбы, но на деле у нас по-прежнему социализм, потому что хозяйством по-прежнему правит государство. Вместо свободы у нас приватизация по Чубайсу и губернские концерны по Лужкову, отдавшие все рычаги власти.

Бывшей ГДР и даже Польше, Венгрии и Чехии было мало десяти лет, чтобы преодолеть разрушение понятий и навыков, шедшее сорок с лишним лет, но, как говорил Горбачев, процесс пошел. А в России и Украине он по существу еще не начался и начинать его сегодня куда трудней, чем было бы в 1989 или 1991. Если бы хозяйство отделилось от государства, и в стране были сотни тысяч независимых от произвола власти ферм и фабрик, даже стремление отделиться политически было бы не столь острым, и возможно, даже Чечня держалась бы за наш общий рынок, ведь на другой, как видим, и бывшей ГДР трудно пробиться. Но чтобы так вышло, надо уйти Ельцину и Зюганову, Примакову и Путину, и их соратникам, уже не способным понять главное, что даже Брежнев с Ярузельским, хоть и не сразу, но усвоили, -- лучше не стрелять.

Берлинская стена рухнула, открыв ход к нормальной жизни, которую можно устроить и в своей стране. Одни так и поступили, а другие упустили возможность. Вот об этом, а не о былом ликовании, и надо нынче думать.

ПОЛИГОН?

На улицу Воинова, 18, в Ленинградскую писательскую организацию (ЛПО) пришло официальное письмо, адресованное не только председателю, не только секретариату, но всему нашему огромному правлению, то есть сорока девяти его членам. Как один из этих сорока девяти я тоже, стало быть, имею право на письмо ответить, и, поскольку грифа «секретно» на письме нет, имею право ответить публично. Не буду, впрочем, скрывать, что руководство ЛПО официально уже ответило, и его ответ возражений у меня не вызывает, я хочу лишь кое-что добавить. Однако все по порядку. Вот оно, письмо:

Государственный плановый комитет РСФСР.

Правление Ленинградской писательской организации
Союза писателей РСФСР.

от 27.11.89. №54–227. О СОЗДАНИИ
САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ЖУРНАЛЬНО-ИЗДАТЕЛЬСКОГО
КОМПЛЕКСА СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РСФСР.

Совят Министров РСФСР поручил Госплану РСФСР совместно с заинтересованными организациями рассмотреть вопрос о создании единого самостоятельного журнально-издательского комплекса Союза писателей РСФСР.

Госплан РСФСР просит рассмотреть указанное предложение Союза писателей РСФСР и свои замечания до 1 декабря т. г. направить в Госплан РСФСР для доклада Совету Министров РСФСР.

Приложение: Копия письма Союза писателей РСФСР на 2 стр.

Заместитель председателя (подпись) Н. Ф. Самсонов.

К письму, действительно, приложена ксерокопия:

Союз писателей РСФСР №428 3 ноября 1989 г
Совет Министров РСФСР

В новых условиях экономической реформы, когда вводится в действие региональный хозрасчет, самофинансирование, когда республики получают большую самостоятельность, Союз писателей РСФСР, действуя в духе времени, обращается к Совету Министров

РСФСР с просьбой о создании единого самостоятельного журнально-издательского комплекса Союза писателей РСФСР, цель которого — ликвидировать двухступенчатую подчиненность отдельных журналов и издательств, сосредоточить их руководство в одних руках — Союзе писателей РСФСР.

В настоящее время сложилось парадоксальное положение: центральные российские издательства, журналы, принося большую прибыль государству, в российский бюджет и в Литфонд РСФСР не вносят ни копейки. Установленный Советом Министров СССР порядок отчисления средств в Литфонд РСФСР не выполняется, и российские писатели, издательства и журналы не имеют возможности улучшить свое положение, направить часть прибыли на социальные нужды. Таким образом, ущемляются права почти пятидесяти тысяч писателей.

Предлагая создать единый журнально-издательский комплекс, секретариат правления Союза писателей РСФСР считает целесообразным включить в него центральные издательства, в частности, «Современник», «Детская литература», журналы «Москва», «Октябрь», «Наш современник», «Нева», еженедельник «Литературная Россия».

Передача этих издательств и журналов в ведение Союза писателей предусматривает и новый порядок хозяйствования, основанный на хозрасчете, новые подходы к распределению прибыли, большая часть которой направится в бюджет Российской Федерации. Предполагаемая реформа позволит заметно улучшить деятельность издательств и журналов, устранить промежуточные звенья, приблизит их работу к творчеству писателей, полнее обеспечит их интересы и пополнит бюджет Российской Федерации. Намечаемые меры отвечают духу перестройки, экономической самостоятельности издательств и коллективов журналов, поможет снять многие назревшие проблемы.

Председатель правления Союза писателей РСФСР

С. МИХАЛКОВ.

Первый зам. председателя Ю. БОНДАРЕВ.

Отвечая заместителю председателя Госплана РСФСР Н. Ф. Самсонову, председатель ЛПО В. К. Арро среди прочего писал:

«Мы не считаем полезным увеличивать существующую государственную монополию на издательское дело еще одной, сосредоточенной в руках СП РСФСР.

Задача, на наш взгляд, заключается не в удвоенной централизации управления журнально-издательскими делами на республиканском уровне и создании нового административного аппарата для такой цели. Необходимо, напротив, провести последовательную децентрализацию в работе журналов и издательств на местах, в национальных автономиях, крупных русских городах и литературных регионах России. Необходимо расширить их самостоятельность, свободу действий, подлинный хозрасчет с учетом местных, республиканских и общегосударственных условий и интересов».

Все это и на мой взгляд правильно, и хочется думать, что Н. Ф. Самсонов и председатель совета министров РСФСР А. В. Власов, к которому за помощью в укреплении своей власти над писателями обратились руководители республиканского союза, прислушаются к официальному ответу ленинградской организации. Нельзя, однако, согласиться, чтобы обсуждение столь важного вопроса осталось тайной от писателей и широкой общественности.

Ведь как интересно получается: только что, через десять дней после того, как С. Михалков и Ю. Бондарев отправили свое письмо в Совет министров РСФСР, 13–14 ноября они провели VI пленум правления союза писателей РСФСР, и вести об этом пленуме тут же распространились по стране и миру. Столь разные издания, как «Огонек» и «Литературная Россия», поведали одинаково устрашающую картину там происходившего. «Литературная Россия», как это ни парадоксально, еще больше опозорила высокое собрание, поскольку «Огонек» дал лишь некоторые броские фрагменты, да и то не все, а в «Литературной России», единомышленнице большинства ораторов, явно не сознавали всего смысла произнесенных речей и печатали фрагменты не всегда столь же броские, но полней и наглядней демонстрировавшие лицо большинства выступавших. Вот я и задумался, случайное

ли это совпадение — письмо, подписанное 3 ноября, и пленум, проведенный 13–14 ноября, то есть как раз тогда, когда письмо дошло и начало обсуждаться.

Конечно, мы живем не в ФРГ, где, как справедливо пишет в «Огоньке» доцент из Майнца Герман Андреев, организации, не исключают из своих рядов тех своих членов, которые высказывают расистские взгляды, считаются антиконституционными и немедленно запрещаются. У нас даже заместитель заведующего идеологическим отделом ЦК КПСС В. Рябов, признавая, что лидеры общества «Память» «действительно разжигают национальную вражду» («Аргументы и факты» № 1 — 1990), исходит из того, что прочие члены этой организации и вся организация как целое за это не отвечают, и с удовлетворением отмечает, что они заняты «возрождением нашего культурного наследия и это можно приветствовать».

Поэтому я, в отличие от иностранца Германа Андреева, не удивляюсь, что никто не собирается распускать за антиконституционные действия Союз писателей РСФСР или хотя бы его нынешнее правление. Так же, в отличие от Германа Андреева, я высоко ценю выступление на пленуме Михаила Дудина и других московских и ленинградских писателей, остро сознающих, что «в условиях недостаточной развитости правосознания», которой страдает наш государственный аппарат, лишь открытое слово, обращенное к народу, способно защитить страну от экстремизма, остановить антиконституционные действия. Это ощущение своего долга, вопреки Герману Андрееву, отнюдь не унижает, напротив, оно возвышено благородным примером В. Г. Короленко или Эмиля Золя.

И все-таки я долго недоумевал: зачем понадобился С. Михалкову и Ю. Бондареву весь этот навсегда опозоривший их шум? Ну, захотелось им сократить число евреев среди членов союза писателей, хоть они там и в явном меньшинстве. Так ведь еще со времен космополитической кампании 1949 года и даже раньше выработано множество способов добиться этого втихую, не привлекая внимания и даже утверждая при этом с трибун, что никакого антисемитизма у нас нет, а утверждения, что он все-таки есть, — клевета на советскую действительность. Конечно, с писателями

трудней, чем, скажем, с научными работниками, отделы кадров тут не столь всемогущи — все-таки свободная профессия. Напечатает человек книгу, другую, привлечет внимание читателей, и неизбежно встает вопрос о его приеме в союз. Но ведь руководство не беспомощно, принимать можно годами, множество раз отклоняя «до следующей книги». Глядишь, кандидат и состарится, а то и вовсе помрет.

Зачем же было С. Михалкову и Ю. Бондареву, конечно же, не желавшим подрывать авторитет нашего государства и доверие мировой общественности к новой политике М. С. Горбачева, подыгрывать клеветникам, которым теперь остается лишь перевести отчеты и сообщения о пленуме на иностранные языки, и миру придется признать, что традиции «Союза Русского Народа» и «Союза Михаила Архангела» нашли продолжателя в лице союза писателей РСФСР. Трудно поверить, что Сергей Владимирович Михалков, так чутко воспринимающий малейшие политические повороты, мог на такое пойти за здорово живешь. Да и Юрия Васильевича Бондарева, хоть он, конечно, попроще Михалкова будет, в наивности не заподозришь.

Но, прочитав отправленное ими перед пленумом письмо в Совет министров РСФСР, я убедился, что о наивности не может быть и речи. Напротив, проведение пленума демонстрирует прекрасное понимание обстановки, в которой открыто объявить о своем грандиозном и радикальном замысле нет возможности. Как-никак на дворе перестройка, только и говорят, что о демократии, децентрализации, передаче власти на места, самостоятельности предприятий и так далее и тому подобное. А С. Михалков и Ю. Бондарев, как явствует отнюдь не из выступлений на пленуме, а из никому не известного письма в совет министров, тоже, повторяя все ныне модные слова, жаждут тем временем «сосредоточить руководство в одних руках».

Добейся они этого, и сам железный Ананьев не выстоит. Журналы и писатели попадут в полную зависимость от руководящих рук, еще более крутую, чем прежде. Совет министров недаром манят на свою сторону возможными поступлениями в российский бюджет, хотя справедливее, чтобы доходы от журнально-издательской деятельности поступали если уж не в общесоюзный, то в

местные бюджеты. (Понятно — при сохранении полной организационной и литературной независимости.) Пусть деньги, заработанные ленинградскими писателями, идут на пользу Ленинграда, а заработанные иркутскими — Иркутску. Может, тогда на местах станут больше писателями дорожить. Да только роль литературных генералов при этом свелась бы к минимуму. Без монополии, без власти в одних руках невозможно дарить себе, любезным, огромные тиражи, сваливаемые потом в государственные библиотеки, и, поскольку государство эти нечитаемые завалы оплачивает, грести деньги бульдозером и тем же бульдозером сшибать других, обычно более одаренных, с литературной дороги. С откровенной защитой таких своих возможностей, понятно, не выступишь на пленуме. В наши дни трудно объявить, что ради сохранения собственного благополучия задумано всю русскую литературу стричь под одну гребенку. Она-то как раз всегда блистала многообразием, в ней параллельно двигались такие разные люди, как Достоевский и Щедрин, Тургенев и Лесков, Бунин и Блок, и нет числа подобным противоположностям, порой даже не ставившим один другого ни во что, и скажи С. Михалков и Ю. Бондарев на пленуме открыто, что задумано всех призвать к ноге, пожалуй, и среди нынешних ораторов кто-то бы дрогнул. Вот пленум и взорвал дымовую шашку, а по главному вопросу, отнюдь не еврейскому, лишней демократии не разводили, а, как учит популярный ныне советский политолог Андраник Мигранян, укрепляли свою власть аппаратным путем, искали поддержки в Совете министров.

То потом выяснится, что бурные речи против евреев на деле направлены против русских талантов, что ораторы ратовали на деле за то, чтобы первым писателем России считался всем известный Юрий Бондарев, а не, скажем, «какой-то» Венедикт Ерофеев, и поныне доступный читателю лишь в малотиражных сборниках. Число евреев в стране и литературе под воздействием многих других акций, подобных пленуму СП РСФСР, и так сокращается, и ради этого позорить себя на весь мир российским писателям не стоило. Но давно можно заметить, что поскребешь антисемита, и обнаружишь врага демократии, сторонника авторитарного порядка, жаждущего под шумок антисемитских воплей унижить и растоптать собственный

народ. Еще для Гитлера преследование евреев было полигонам, где испытывались средства запугивать и держать в узде другие народы, в том числе и собственный. Еще товарищ Сталин, тоже знавший в этом толк, признал, что антисемитизм — международный язык фашизма. Это признание помогает понять не только собственную деятельность Иосифа Виссарионовича, но и многое происходящее ныне.

Увы, российское дворянство пришло в упадок, а С. В. Михалков, носящий фамилию не менее древнюю, чем царь, этого уже не ощущает. А я даже не уверен, что сердце Сергея Владимировича так уж радуется. Я очень подозреваю, что на все это он пошел скрепя сердце из голого расчета. А на что он рассчитывал, как раз и показывает совместное с Ю. Бондаревым обращение в Совет министров РСФСР. Поэтому знать об этом обращении должны все, кому дорога судьба русской литературы. Право же, хоть оно и не так занимательно, как отчеты о пленуме в «Огоньке» и «Литературной России», прочесть его очень даже стоило.

ЖДУ ПРОЯСНЕНИЯ СИТУАЦИИ

Некогда поэт вопрошал:

«Какой ты будешь, Новый год?
 Что нам несешь ты? радость? горе?
 Идешь, и тьма в суровом взоре,
 Но что за тьмою? пламень? лед?»

Федор Сологуб — человек, вообще-то говоря, мрачный, заключил, однако, свои раздумья оптимистично: «Все будет так, как мы хотим, Лишь стоит захотеть безмерно».

Ах, как бы хорошо! И не надо бы гадать! Но я отдаю себе отчет, что ни мое безмерное желание, ни даже безмерное желание М.С.Горбачева вовсе еще не означает, что перестройка в будущем году принесет плоды. А ведь миллионы людей, и не только так называемых «простых», но и весьма образованных, убеждены, что все дело в этом самом желании. Не моим, понятно, а главы государства. Вот оно, едва ли не самое живое наследство «культы личности»!

Между тем необходимый для серьезного прогноза анализ социальных отношений, мешающих нашим желаниям сбыться, не сводится к сопоставлению точек зрения. Он должен выяснить, что за словом. А за ним часто противоположное тому, что выговаривается с чистым сердцем. Многие сегодня говорят: «Мы за реформы, за перестройку. Но сперва надо накормить и одеть народ». А ведь оттого и перестройка, что накормить и одеть народ без радикальных реформ невозможно. Уверяющие, что для этого есть какие-то другие возможности, по существу, внушают нам, что можно обойтись без перестройки. Но скажи им, что они — против перестройки, искренне обидятся.

Распространилась уверенность, что все зло в неправильном распределении, в привилегиях. Привилегии, конечно, надо упразднить, но надеяться за счет этого накормить и одеть народ невозможно. У руководителей страны не только нет колбасы за пазухой, но им неоткуда эту колбасу взять. Можно, да и то при настоятельной активности значительной части народа, лишь изменить наше хозяйственное устройство, чтобы люди успешней колбасу производить, выкармливали больше бычков и свиней, словом, чтобы у производителей

появился реальный стимул производить, а не только команда это делать. Колбаса пропала оттого, что секретарь райкома решает за других, а не оттого, что обедает в спецбуфете. Мистифицированное народолюбие, сосредоточенное в спецбуфете, надо демистифицировать, чтобы не смешивать причины и следствия, тогда и прогнозировать станет легче.

В Ленинграде мы то и дело слышим из уст первого секретаря обкома и горкома, что жизнь за последние пять лет ухудшилась. Но мы ведь не иностранцы и провели минувшие годы не в эмиграции, мы хорошо помним, что жизнь начала ухудшаться вскоре после введения войск в Чехословакию, когда под флагом борьбы за социализм были свернуты реформы, предложенные А.Н.Косыгиным еще в 1965 году. Но и признавая ныне неправомерность ввода войск в Прагу, у нас молчат о том, что танки, физически двигавшиеся по Вацлавской площади, по сути-то дела, шли по Красной, давя все, что воскресло в **нашей** стране после 1953 года. Вслед за отказом от реформ, не слишком еще бросаясь в глаза, как раз тогда и начатое сокращение ассортимента продовольственных и промышленных товаров, и стали расти цены — тогда это называлось изменением артикула и как-то еще. А сегодня нам сообщают, что все дело в последних пяти годах, хотя положение ухудшается не от реформ, а от их отсутствия.

После мартовских выборов, на которых провалились все начальники, в городе официально говорили, что партия потерпела в Ленинграде поражение, хотя на деле партия в Ленинграде как раз победила, поскольку избранными всюду оказались коммунисты. Получалось, что существуют как бы две коммунистические организации: в одной коммунисты Смольного, то есть руководители, занимающие свои посты практически независимо от воли рядовых, а в другой — рядовые коммунисты города. Не зря в ответ на митинг коммунистов Смольного состоялся митинг коммунистов Ленинграда. Внутри единственной у нас партии, как видим, действуют разные общественные силы, и слова «партия» и «социализм» в разных устах имеют разные значения. Но все это еще не осмыслено. Вот почему так много политических промахов даже у самых достойных людей, вот почему трудны жизненно необходимые компромиссы.

Чего же ждать от нового года? Осознания того, что существует, — независимо от нашего сознания. Классов и сословий у нас много больше, чем принято считать. И ни об одном сегодня нельзя сказать, что он главный, а остальные должны его обслуживать. Представление об избранном классе, считать ли таковым партийных дворян или рабочих, мешает разобраться в реальном функционировании общества и взаимодействии его составляющих в ходе общественного производства. Да и по ходу истории их роли в этом взаимодействии меняется.

Газета «Правда» 12 декабря сообщила читателям, что в США не только производительность труда в два с половиной раза выше нашей, но и в два с половиной раза выше доля людей, занятых умственным трудом. Не заметить связи одного с другим, казалось бы, невозможно, но у нас все еще господствует уверенность, что интеллигенция ест народный хлеб. И пока это будет вбиваться людям в головы, избытка ждать не приходится.

Система феодального социализма, установившая низкие пределы легального заработка на всех уровнях и разрушавшая сообразность качества, продуктивности труда и его оплаты, воспитала нового человека с новым представлением о свободе. Советский человек, лишенный многих других свобод, отстоял для себя свободу работать плохо и даже вовсе не работать, лишь делать вид, что работаешь. Эту свободу при научно-технической революции даже ГУЛаг укротить бессилён. И многим она дорога, пусть даже с ней уровень жизни снижается, лишь бы оставался гарантированным. Этой свободой люди часто дорожат больше, чем другими, которые в наших условиях легче отобрать. Понятно, это мешает оздоровлению общества, но нужно сознавать, что движет многими людьми, нужно понять, что Нина Андреева выразила не только личные заблуждения по части принципов социализма, но и страх миллионов, что их лишат свободы работать плохо, не станут за плохую работу платить.

Сегодня уже не скромная преподавательница вуза, а вполне ответственные лица демонстрируют в Ленинграде, сколь сильно партия, провозгласившая перестройку пять лет назад, ей сопротивляется. Это проясняет ситуацию.

...Вот я и жду от нового года дальнейшего прояснения реальных социальных отношений, и не только в нашем городе, но и во всей стране. Осознание этой реальности и станет опорой для перестройки на практике.

ГОСУДАРСТВО И ВИОЛОНЧЕЛЬ

Галине Вишневской и Мстиславу Ростроповичу возвращено советское гражданство. Это дает надежду снова их услышать и, естественно, радуется. Но сводить все к этому — не пришлось бы говорить об огромном общественном событии. А оно, без преувеличения, огромно. Ведь Вишневская и Ростропович не просили прощения за то, что их унизили, не писали заявлений с просьбой вернуть незаконно отнятое. Конечно, нынче такие заявления часто пишутся для проформы. Власти уже поняли, что изгнание навечно из страны множества талантливых людей было не только незаконно, но и большой глупостью. Но до сего дня это признавалось лишь неофициально. А возвращение гражданства — официальный акт, и возникали деликатные проблемы, преодолеть которые у государства не хватало духа.

Долгое время государство считалось у нас вообще непогрешимым. И официальная позиция состояла в том, что все его деяния для своего времени были правильными. Нынче положение изменилось, и можно обсуждать правомерность почти любых государственных действий. Признаться, я впервые в жизни стал надеяться, что наша страна начнет нормально жить, лишь услышав из уст М.С.Горбачева, что мы не претендуем на обладание истиной в последней инстанции.

Уже было признано, что наше государство может затеять несправедливую войну, или губить безвинную природу, или преследовать целые народы, а отношение к отдельному человеку еще долго оставалось прежним. Конечно, людей выпускали из заключения, но они должны были написать, что обещают впредь вести себя хорошо. Их могли даже реабилитировать, но опять же по их ходатайству. А многие на это не шли, уподобляясь Чернышевскому, сказавшему, что он не может просить прощения за то, что его голова и голова шефа жандармов Шувалова устроены по-разному.

Ростропович и Вишневская — первые, перед кем государство само признало вину и тем самым признало, что один или два человека бывают правы, а целое государство — неправо. С этого может начаться новая эпоха русской истории, подобного еще не знавшей. Ведь все хорошее, что есть, от великих научных открытий до

съедобной буханки хлеба, делают отдельные люди, — понятно, объединяясь, передавая работу друг другу как эстафету. За всяким стоящим делом есть совершивший его конкретный человек. Между тем нас всегда учили, что незаменимых нет, и люди в это верили, верили, что государство само по себе, независимо от людей, способно сеять хлеб и строить дома. А оно способно лишь помогать или мешать людям, которые это делают. И виолончель сама по себе не заиграет, и голос не зазвучит. Вот и надобно особое уважение к тем, кто вступается за людей.

Я напоминаю об этом потому, что Ростропович и Вишневецкая лишились гражданства именно за защиту гонимого, за предоставление А.И.Солженицыну убежища в своем доме, за то, что в споре между государством и отдельным человеком рискнули поддержать человека. И мне думается, что теперь гражданство должно быть единым актом возвращено и Солженицыну, и Бродскому, и Синявскому, и всем безвестным людям, которым пришлось покинуть страну под давлением властей или созданных ими обстоятельств. Свое гражданство они получили по рождению, а изменить задним числом место рождения человека не властен даже господь. Понятно, что незаслуженное изгнание не всякий преодолет с одинаковой легкостью. Кто-то и откажется наново принять отнятое, кто-то примет, но останется в двойном гражданстве, кто-то, став советским гражданином, будет и дальше жить за границей, кто-то вернется. Про это не надо спрашивать и вычислять наперед. Восстановить их гражданство надо не столько ради них, сколько ради нашего отечества, чтобы снять с него постыдный грех отторжения своих детей.

Само собой, восстановление гражданства вовсе не означает неперемного согласия со всем сказанным и сделанным нашими зарубежными, как, впрочем, и здешними, согражданами. Напротив, оно поможет выяснить разногласия там, где они есть, и продолжить честные споры. В честном споре между согражданами никакой беды нет, напротив, возможность открытого спора и является первым показателем здоровья общества, демократичности его уклада. Беда начинается, когда одни объявляют себя в большей мере гражданами, чем другие, и под умиротворяющие речи от призывов к открытому неравенству или запрету на профессии доходят до прямых

угроз национальным и социальным меньшинствам. В такие трудные дни, быть может, важнее всего отстоять равенство граждан и их одинаковое право на гражданство, которого никто не вправе никого лишить.

Это надо усвоить не только ради приближения к подписанным, но долгие годы не выполнявшимся конвенциям, но и чтобы хоть немного приблизиться к обществу, которое сулили Маркс и Ленин, который тоже признавал, что к лучшему обществу ведет отмирание государства. Между тем мы лишь укрепляли государство, а оно требовало от человека покорно следовать за ним. Возвращение гражданства Вишневской и Ростроповичу — едва ли не первый на моей памяти добровольный официальный шаг государства к человеку. Согласимся, — это шаг в верном направлении.

ТАК ЧТО ЖЕ НАМ ДЕЛАТЬ?

Не успев задать этот вопрос, с каждым днем все более насущный, со всех сторон слышу: «Делать!», «Не болтать, а делать!», «Каждому на своем месте!». И все думаю, с чего это чеховский профессор Серебряков с его «надо, господа, дело делать!» стал главным положительным героем нашей эпохи, когда страна пожинает то, что под такие присказки сеяла. Выходит, и теперь «делать», то есть выполнять указания, даже самые нелепые, легче, чем думать своим умом.

Утраты наши велики и в сельском хозяйстве, и в промышленности, и в науке, в искусстве, в природе, но едва ли не больше всего пострадало общественное сознание. Куда устремляется мысль, пробираясь к корням бедствия? Главным образом, за следователями Гдляном и Ивановым, бесстрашно обвинившими члена политбюро и секретаря ЦК во взяточничестве и пособничестве преступникам. Да и по другим поводам только и слышишь: «Мафия!». В ответ прокурор Сухарев, вопреки просьбе Съезда народных депутатов подождать с публикациями до заключений его комиссии, торопится закрывать дела и публиковать опровержения, отчего над Гдляном и Ивановым уже нависло исключение из партии.

Но отвлечемся от жаркой полемики и ограничимся бесспорным, достоверно известным. Тогда окажется, что взяточника и казнокрада Усманходжаева, правую руку взяточника и казнокрада Рашидова, Егор Кузьмич Лигачев посадил на место покойного Рашидова, сам будучи лично безупречен, ни копейки не прибав к рукам. Я готов допустить, что так и было. Но если даже он назначил его не за взятку, разве это хорошо?

Вот в чем суть наших споров! Если беда в том, что на важных постах оказались казнокрады, Гдлян с Ивановым этих казнокрадов, этих — как бишь их прежде звали? — вредителей, выловят, и можно будет уверять, что бдительность возросла и порядок налаживается. Но если воруют под носом у принципиального коммуниста, корысти не ведающего, навести порядок не так просто, ибо для начала придется признать: что-то неладное в самом нашем понимании порядка. Как тут не вспомнить, что М.А.Суслов был человеком бескорыстным и даже аскетичным, что Л. З. Мехлис был в быту до смешного

неприхотлив, да и Н. И. Ежов не из казнокрадов, а зла ведь сотворил — выше головы!

Поэтому и нелепо объяснять беды страны тем, что ее руководство коррумпировано. Так это или не так, корень зла в другом — в том, что никто из руководителей любого уровня, не говоря о высшем, фактически не несет адекватной поступкам ответственности за свои действия, не ощущает на себе последствий провала в хозяйствовании или в политике и, стало быть, может поступать, как вздумает. А ведь расплату за ошибки политика или хозяйственника должна определять не воля вышестоящего начальства и не бдительность отважных следователей, она должна наступать автоматически, обернувшись утратой доверия избирателей и разорением, падением привычных доходов. Не берусь судить, хорош или дурен Егор Кузьмич, но с него и не спрашивают за то, что Усманходжаев обрел власть. Спорят лишь — за взятку или даром, если даром, все вроде нормально. Но как раз такая безответственность и пагубна для страны.

Вроде бы ясно, что этот порядок надо менять. На то и перестройка. Но, опять же, говорят, что менять надо так, чтобы не нарушить закон и прежде всего, конституцию. А брежневская конституция, за вычетом немногих частностей, хуже сталинской. Та имела, в сущности, один серьезный недостаток — она не действовала. Но, например, статьи 6-й о руководящей роли коммунистической партии, не зависящей от исхода выборов, в ней не было. Сталин по образованию был все же священником, а не мелиоратором и не металлургом и понимал, что не обо всем, что делается, говорят с амвона. И хотя, конечно, при Сталине жить было страшней, чем при Брежневе, режиссерское искусство в создании показухи было на более высоком уровне. Сталин был достойным соперником своих выдающихся современников Станиславского, Мейерхольда, Вахтангова, Таирова. Многие доселе сталинское благолепие забыть не могут. Оно им заслонило разорение деревни, расстрелы, лагеря и выселения народов.

Брежнев был откровенней, но и при нем режиссерское искусство не вовсе оскудело, — все-таки рядом работали Товстоногов, Эфрос, Любимов. Нынче с режиссурой хуже, и откровенность пошла дальше. Вовсю, например, бранят прибалтов за желание выйти из СССР. Проблема

непростая — ведь стремление к выходу у большинства подогревается нежеланием центра разрешить насущные вопросы, вполне разрешимые в рамках свободной федерации народов. Именно ради сохранения федерации и надо бы максимально удовлетворить стремление республик, не только союзных, но и автономных, самим решать свои дела. Между тем, обсуждение вопроса о выходе из Союза изображают чуть ли не идеологической диверсией, хотя статья 72 конституции гласит: «За каждой союзной республикой сохраняется право свободного выхода из СССР». Так кто же все-таки у нас не уважает конституцию: тот ли, кто взвешивает «за» и «против» того, чтобы воспользоваться конституционным правом, или тот, кто цинично дает понять, что нечего принимать конституцию всерьез, не затем она писана?

Примечательно, что по Прибалтике, где острые дискуссии сохраняют все же мирный характер, вышло заявление ЦК, а призывы к выходу из СССР в Азербайджане, где льется кровь, и одна союзная республика устраивает блокаду другой, к тому же только что перенесшей чудовищную трагедию, никаких заявлений ЦК не вызывают. Блокада, впрочем, и сама многое прояснила. Грузы не пропускают ни в Армению, ни в Карабах, — этим Азербайджан наглядно подтверждает их единство. Так пора бы Верховному совету СССР хоть юридически оговорить союзным законом право Карабаха не выходить из СССР, если из него выйдет Азербайджан.

Безответственная власть у нас все еще популярней демократической, отвечающей перед избирателями. Критикуя состояние страны, нынче смело бранят Ленина и Маркса, социализм и коммунизм. Одновременно объявляют, что последний царь, не говоря о предшествующих, ни в чем не виноват перед народом, или что национальная рознь началась лишь при Сталине, а при царе ничего такого не было. Среди положительных героев — уже и Николай Александрович Романов, и Василий Витальевич Шульгин, и Лавр Георгиевич Корнилов, и Антон Иванович Деникин, но только не Плеханов, не Мартов и уж подавно не Роза Люксембург. Рассуждают об альтернативности, но единственной альтернативой сталинскому самодержавию под красным флагом оказывается самодержавие под трехцветным или

андреевским флагом. И никто не желает знать, что принципиальной разницы меж ними нет.

Поставив после смерти Сталина в центре Москвы памятник Карлу Марксу (хотя и поныне не рискуя издать полное собрание его сочинений на русском языке), мы все не можем признать, что открытиями Маркса началось не одно, а два могучих общественных движения — социал-демократическое и коммунистическое. Первое формировалось под непосредственным влиянием Маркса и Энгельса и во многом ближайшими к ним людьми: В. Либкнехтом, А. Бебелем, К. Каутским. Коммунисты в нашем веке оказали решающее влияние на жизнь нашей страны, Китая, Камбоджи, Вьетнама, Румынии, Албании, Эфиопии, а социал-демократы сыграли огромную роль в переменах, произошедших в Западной Европе.

Когда-то в программах тех и других было много общего, и те и другие выступали от имени рабочего класса, создавали даже единые партии. Казалось, споры идут лишь о методах, разную эффективность которых наш век продемонстрировал. А сегодня социал-демократов у нас ненавидят больше, чем царя. Но как раз ориентация на социал-демократические ценности помогла бы нашей стране на деле преодолеть сталинское наследство. Я говорю именно о признании ценностей, а не о немедленном возрождении социал-демократической партии. Партии не рождаются по прихоти, и многопартийная система, хоть, по-моему, и предпочтительней, без органического вызревания может оказаться столь же формальной, как однопартийная, при которой единственная партия перестает быть союзом единомышленников, и ее на равных правах олицетворяют Нина Андреева и Татьяна Заславская.

Что такое социализм? Нам все твердят, что это строй, при котором общество всецело отождествляется с всевластным государством, граждане которого — его винтики. Но тогда социализм существовал уже в древнем Египте. На деле социализм состоит в принятии обществом на себя обязанностей перед гражданами. Система наемного труда, не имея социальных гарантий, испытывает жестокие кризисы. Капиталисты, а точнее, боровшиеся против них социал-демократы, давно это поняли и начали свою перестройку. Многие в ней весьма преуспели.

Стань обязанности общества перед гражданами всеобъемлющими, оно, по мысли Маркса, было бы коммунистическим и жило бы по принципу «от каждого по его способностям, каждому по его потребностям». Понятно, это лишь идеальное построение, образ общества, имеющего обязанности, уважающего потребности людей, не третирующего их «потребительство». В этом идеале я ничего худого не вижу. Счесть его причиной создания Гулага нелепо. Ширмой для Гулага он, конечно, стал, но никакая ширма не смогла прикрыть, что на деле-то все наоборот: Гулаг и, вообще, командная система как образ, отражают общество внеэкономических распоряжений, ничем не ограниченных, где у граждан — тяжелейшие обязанности, а прав никаких или самые жалкие, за которые всякий раз надо бить поклоны или бороться, — в Ленинграде без паспорта и талон на мыло не получить.

Объявив себя единственно социалистическим, советское общество на практике стало воинственно анти-социалистическим. Если это не осознать и открыто не признать, не отделить производство от государства и не избавить граждан от роли солдат его трудовой армии, никаких перемен к лучшему не будет. Наше государство, как всеобщий работодатель, не в силах обособить свои социалистические обязанности от своей монопольной хозяйственной деятельности, которая их упраздняет. Оттого и зарплата у нас — лишь род пособия, не слишком связанного с трудом и продуктивностью. Не даром у работающего пенсионера пенсию отбирают. Наше натуральное, по существу, хозяйство, прикрываясь фальшивыми ценами и зарплатами, силится выглядеть плановым, оставаясь лишь директивным. Инструкциями оно подменяет объективные экономические законы, но рано или поздно бьет час, когда они берут свое.

Министр финансов В. Павлов отверг требование шахтеров повысить цену на уголь, у нас безмерно заниженную, и заявил, что тогда придётся повысить цену и на электроэнергию и т. д. Разумеется, придется, но дело не за тем, чтобы директивно повысить (или понизить) цены, а за тем, чтобы они обретали реальное соотношение со стоимостью, со спросом и предложением. Государство должно помочь в оплате электричества, если оно дорого, но снижая ради этого самую цену, оно

уничтожает стимул добывать уголь. Однако даже наш новый, умный, образованный и, в отличие от прежнего, все прекрасно понимающий министр финансов эту простую связь не берет в расчет. Широко обсуждается, можно ли перепрыгнуть пропасть в два прыжка, а еще бы важнее понять, что пропасть нельзя перепрыгнуть загнувшись.

Государству надо отказаться от производственной деятельности за вычетом, может быть, очень немногих чрезвычайных производств, и передать ее трудовым коллективам и индивидуальным производителям. Их производства могут быть арендными, кооперативными, акционерными и даже частными, важно, чтобы их деятельность протекала в свободном состязании на сугубо стоимостных началах, чтобы рабочие и крестьяне, инженеры и агрономы, врачи и деятели искусства зарабатывали себе на жизнь сами, не на службе у государства, а предоставляя обществу необходимые товары и услуги, и сообразно с доходами выплачивали государству, центральным и местным властям, прогрессивный налог.

Экономическая демократия, в отличие от государственной монополии, позволит видеть подлинные возможности страны и народа и максимально их использовать им на благо. А на долю государства, помимо управления, обороны и прочих дел, осуществляемых бюджетными учреждениями, останется социальная забота о гражданах, которой им сегодня так недостает, то есть обязанность субсидировать признанные законом расходы граждан на образование и здравоохранение (субсидии эти должны быть индивидуальными, с правом выбора школы и врача, а не обезличенными, как теперь), на пенсионное обеспечение, на пособия по безработице и регулярную помощь неимущим. Лишь тогда мы будем вправе сказать, что начали переходить к социализму и демократии. Можно примириться с тем, что великая социалистическая держава отстает от великой капиталистической в посещении Луны, но нельзя примириться с тем, что она отстает в уровне социальных гарантий, это ведь значит отставать в построении социализма. Перемены трудны и потому, что не только хозяйство, но и идеология обрела у нас антисоциалистический характер. Названия перепутаны, что гениально запечатлел величайший социалист

двадцатого века Джордж Оруэлл: «Война это мир, свобода это рабство, невежество это сила». Антисоциалистическая идеология, глубоко враждебная и Марксу и Ленину, именуется у нас «марксистско-ленинской», и антисоциалистическую пропаганду ведут штатные пропагандисты партийной идеологии, для которой реальность не существенна.

Один из таких пропагандистов, А. З. Романенко, к примеру, объявил, что евреи понесли в Отечественную войну меньше (!) потерь, чем другие народы. Он ссылается на то, что в 1944 году в трехстах обследованных стрелковых дивизиях евреи составляли лишь 1,28% всех военнослужащих, тогда как от всего населения страны составляли перед войной 1,5%. Известного всему миру массового уничтожения евреев немецкой армией, в результате которого к 1944 году они составляли в нашей стране менее одного процента населения, для А. З. Романенко как бы не существовало.

Нельзя, однако, признать эти кощунственные упреждения в счете за сугубо личные. Выступая на митинге, переданном по телевидению, А. З. Романенко объявил, что его книга одобрена ОК КПСС. Прошло уже немало времени, но ни заведующий идеологическим отделом А. В. Воронцов, ни секретарь по идеологии Ю. А. Денисов не вступились за честь обкома. Выходит, А. З. Романенко, говоря об одобрении своей книги, не солгал, выходит, партийным руководителям Ленинграда не стыдно быть его единомышленниками. И то сказать, они не первые, Ленинград давно уже стал оплотом антисоциалистической реакции.

Что же в этой ситуации делать? Говорят, нужна новая, четвертая революция. Но смысл революции в освобождении того, что уже сложилось, созрело, чему прежние порядки мешают плодотворно развиваться. Маркс говорил, что «насилие является повивальной бабкой всякого старого общества, когда оно беременно новым». За эту фразу его часто бранят, но не видят, что Маркс звал повивальную бабку лишь к беременному обществу. У него и в мыслях не было, что, если очень хочется, общество изнасиловать, родится что-то хорошее. К тому, что люди верят, будто от насилия прибавится мыла, и многие наши сограждане готовы лично стать палачами, Маркс, хоть и не все его идеи -- истина в

последней инстанции, отношения не имеет. Сегодня у нас еще нет самостоятельных экономических структур, и устранять надлежит преграды не к их развитию, а только еще к их возникновению, с чем разумная реформа справляется лучше революции. Важно лишь не слишком полагаться на добрую волю верховной власти, которой и не под силу совершить «революцию сверху» без опережающего сознания внизу.

Ныне в моде словцо «экстремизм». Так именуют мирные демонстрации и собрания в поддержку реформ. На деле экстремизм — это насилие и призывы к нему, то есть саперные лопатки, блокада соседей и сочинения Романенко. Понятия опять перевернуты. Консервативные экстремисты выдают себя за сторонников порядка, который жаждут поскорей навести железом и кровью — и объявляют экстремистами демократов, стоящих как раз за мирный порядок, за бескровные дискуссии и честное голосование.

Для защиты привычных привилегий у консерваторов нет уже средств, кроме насилия, вот они и вводят в народное сознание готовность допустить погром — сегодня против армян и западных украинцев, завтра против евреев, послезавтра против русских, — стоит лишь начать!

Величайший пророк ненасилия Лев Толстой был нашим земляком, но нет пророка в своем отечестве. Церковь его осудила и отлучила, и у нас по-прежнему господствует принцип «сила есть, ума не надо!» Однако последователи Толстого Махатма Ганди и Мартин Лютер Кинг без насилия ощутили изменили жизнь в своих странах, и нам стоит последовать их примеру. Вот она, воистину великая русская идея, высоко оцененная в мире, но не в собственной стране.

Предстоящие выборы открывают широкое поле для продвижения общественного сознания. Научно-техническую революцию не заменить овладением одной-двумя машинами или ракетами, которые можно потом в изобилии штамповать, чтобы, подобно Брежневу, тешить себя паритетом в способности уничтожать. Стране необходим паритет в способности созидать, которым она бездумно жертвовала первому. Но открывающая дорогу к такому паритету научно-техническая революция неосуществима без коренных перемен в хозяйственном и

политическом укладе, без демократизации, без отказа от насилия как нормы.

Каждый, кто насильничает, кто подымает руку на другого, должен сегодня знать, что он подымает руку и на свою страну, и на будущее своих детей. Не стоит тешить себя иллюзией, что опять как-нибудь обойдется. Дело серьезное. И на вопрос «Так что же нам делать?» я, вопреки инерции, отвечаю: учиться думать и разговаривать; не самозабвенно глотать, а взвешивать чужие мнения и приказы, и снова думать самим! Иначе все вернется на круги своя.

ГАРАНТИЯ НАДЕЖДЫ

И чего это вдруг понадобился нашей печати закон? Она ведь искони сама была нам законом. Говорила от имени государства, партии, народа, и заметка в сегодняшней «Правде» долгие годы значила больше, чем конституция СССР или программа КПСС. На законы, принятые вчера, не оглядывались. Если они стеснял, говорили: «А мы тот закон переменяем!». И меняли.

Решившись создать правовое, то есть связанное собственными законами государство, мы неожиданно обнаружили, что новые законы не действуют. Причину ищут в недостатке власти, чтобы проводить их в жизнь, хотя чего-чего, а власти кругом по-прежнему тьма. Но законы не действуют потому, что и стоящие у власти, и мы, имеющие ныне возможность через избирательные урны как-то повлиять на их состав, все еще не знаем различия меж законом и отражающей волю влиятельного лица газетной заметкой, не говоря о его телефонном звонке. Оттого такой переполох поныне вызывает публичное звучание мнения сугубо неофициального, субъективного, да часто и в самом деле не бесспорного.

Нынче неофициальные мнения легче проникают в печать, и рядом с ними официальные тоже обнаруживают свою субъективность и неполноту своей правильности. Человек, привыкший выполнять предписанное или хотя бы делать вид, что выполняет, теряет ориентиры. Но средства массовой информации еще по преимуществу информируют о мнениях, складывающихся наверху, и ново, главным образом, то, что и наверху мнения уже не единообразны. Расширение информации об этом, конечно, отраднo. Новую платформу КПСС на пленуме ЦК действительно обсуждали, высказывались разные суждения, шли споры, как лучше добиваться общей цели, да и о самой цели произносились не только стандартные фразы. Члены ЦК КПСС обрели свободу слова, и это первый шаг к свободе слова для нас, рядовых и беспартийных. На это и надобен закон о печати. О его достоинствах и недостатках можно судить лишь в сопоставлении с его великой задачей.

Теоретически ее исчерпывает уже первая статья, признающая право на свободное выражение мнений, получение и распространение общественно значимой

информации и провозглашающая, что «цензура массовой информации не допускается». Смущает, правда, оговорка, что информация должна быть непременно «общественно значимой», то есть предполагается некто, решающий, что значимо, а что нет, хоть наперед никто не знает, какая малость окажется общественно значимой. Хотелось бы также, чтобы закон говорил не только о получении и распространении, но и прямо об обмене информацией. Суть дела ведь именно в обмене, в том, чтобы, не довольствуясь «спуском» информации сверху, перейти к горизонтальному обмену сведениями и мнениями. В ходе обмена и формируется воистину общественное мнение. Право голоса необходимо не только у избирательной урны, но еще до того, в общественном диалоге через средства информации. Без равноправного диалога, без обмена мнениями демократии не бывает.

Увы, опубликованный проект реальный обмен информацией не обеспечил. Прежде всего, не обеспечил его материальную почву. Справедливо предоставляя не только организациям и объединениям граждан, но и каждому гражданину право на учреждение средств массовой информации, закон фактически не гарантирует организациям и объединениям, не говоря уже об отдельных гражданах, приобретения типографских машин, бумаги, теле- и радиовещательных устройств, использования каналов распространения печати и т. п. А покуда материальные возможности информации целиком остаются в руках государства и одной, пусть, по конституции, уже не руководящей, партии, публичный обмен информацией часто остается номинальным. Возможна лишь большая или меньшая либерализация существующих средств массовой информации, как раз и происшедшая за последние годы.

Но и пути либерализации проектом закона расширены не слишком. В предложенной иерархии учредителя, издателя, редактора и, на низшей ступени, журналиста нет места главному субъекту обмена информацией — гражданину, выступающему не только в качестве читателя, но и в качестве автора. Иерархия к тому же громоздка. Так ли уж надобен сверх издателя еще учредитель, наделенный дополнительными правами торможения? И так ли уж надобно кодифицированное право издателя тормозить работу редакции? Разве наряду

с редакциями, выражающими позиции партий и официальных ведомств, не могут существовать выражающие лишь собственные позиции?

Да и права журналиста сформулированы двусмысленно. Предоставляя ему статьей 34 право «излагать свои личные суждения и оценки в материалах, предназначенных для массового распространения», закон в следующей статье оговаривает, что журналист обязан «осуществлять программу деятельности средства массовой информации, с которым он состоит в трудовых отношениях». Защита журналиста, если «личные суждения и оценки» разойдутся с «программой», предусмотрена лишь на случай искажения редактурой написанного. Но нигде не оговорено, как быть журналисту, если редакция, не посягая на его текст, просто отказывает ему в праве изложить собственное суждение. А ведь личное мнение журналиста читателю часто как раз важнее всего.

Особенно наглядно проступает суть проекта в откровенном игнорировании автора, то есть частного лица, не служащего ни в конторе учредителя, ни в издательстве, ни в редакции. Читая проект, я все думал, станет ли мне, рядовому литератору, легче опубликовать свои стихи, составляющие главное дело моей жизни? Смогу ли я опубликовать выполненные по собственному почину переводы «Книги песен» Гейне, или «Страданий молодого Вертера» Гете, или «Юлия Цезаря» Шекспира? Смогу ли опубликовать сборник своих статей о балете за треть века? Смогу ли опубликовать свои социологические и политэкономические размышления? И ведь я хочу лишь представить свои работы на суд читателя, не претендуя на гонорар, если издание не окупится. Именно так понимаемая свобода печати для автора представляет читателю свободу самому выбирать себе чтение, а не наперед ограничиваться отобранным для него учредителями, издателями и редакторами, часто еще и с многолетними отсрочками.

Но отношение к автору кодифицировано статьей 29: «Никто не вправе обязать средство массовой информации опубликовать отклоненный редакцией материал». Покуда речь идет о конкретной редакции, это вполне справедливо. Никто не вправе обязать «Огонек» или «Наш современник» печатать мои статьи или «Новый мир» —

мои стихи. И у В. Коротича, и у С. Куняева, и у С. Залыгина есть священное право спустить меня с лестницы. (Понятно, фигурально, а не буквально.) Однако, железно охраняя это их неоспоримое право и забывая о моем и миллионов таких, как я, праве обратиться к согражданам, проект закона следует старому принципу «спуска» информации вместо обмена ею.

В странах с рыночным хозяйством такой проблемы нет. Каждый может за свой счет издать книгу и даже купить страницу газеты для публикации политических лозунгов. Платность, разумеется, ограничивает свободу художника, не нашедшего издателей и меценатов. Но суммы, требуемые для первого выхода к читателю, в цивилизованных странах по средствам человеку со средним заработком. У нас авторские издания оказались весьма дорогостоящими, а издательский процесс все равно длится непомерно долго, да уже и очереди выросли. Но проект закона о печати выше этого. Вот он фактически и превращает регистрацию издания, которая должна сводиться к уведомлению властей, в разрешение на издание, как правило, еще и саботируемое. Но если судьбы литературы и искусства не определяются вкусами читателей, зрителей, слушателей, они неизбежно определяются вкусами выдающих разрешения.

Без свободного обмена информацией трудно сознать не только художественные, но и общественные интересы. Правда, укутанная в позволения, обращается в полуправду, четвертьправду, зарастает ложью и уже не видна. Общественное сознание, складывающееся в затхлом воздухе недомолвок и намеков, не пробивается к истине, и мы видим потом, как от ее нестачи нелепо погибают люди. Чтобы осудить погром в Сумгаите, у азербайджанской демократической общественности не нашлось слов, а ведь гуманность со стороны, считающейся враждебной, лучше всего служит возникновению хоть какого-то доверия. Но вот поверх невинной армянской крови пролилась уже и невинная азербайджанская кровь, а все не осознана общность судьбы двух народов. Между тем, азербайджанец, вставший на защиту сумгаитских армян, тем самым и азербайджанцев, позднее погибших в Баку, наперед защитил бы от тех, кто и армян не спас, и погромщиков не покарал. Призыв не попираť слабого — не абстракция:

всякий слаб перед более сильным. Принимая свою силу за право, люди и себя обрекают на несправедливость. Слабым бы не спорить, кто из них сильнее, а вместе противостоять любому применению силы, не только чужому, но и своему. Это надо осознать и всем миром призадуматься, что с нами происходит.

Недавно по телевидению американский студент спрашивал нашего об отношении советских людей к свободе, а наш отвечал, что сперва надо наладить экономику. Та нехитрая — и притом как раз марксистская — мысль, что без расширения свободы современная экономика недееспособна, даже студенту отнюдь не худшего в стране Ленинградского финансово-экономического института оказалась чуждой, хоть опыт человечества давно показал, что где свобода, там и колбаса. Сочиняя закон о печати, надо бы исходить из того, что хозяйство наладится, только если мы научимся объективности, обретем способность видеть хоть на два шага вперед.

Нынче легко предлагают готовые рецепты жизни, твердя, что «в начале было слово». Вот уж воистину нет ничего страшней, чем фанатизм новообращенных. Это в Евангелии от Иоанна сказано: «В начале было Слово», но ведь покуда Бог открыл Моисею на горе Синайской свои десять заповедей, пришлось пережить и всемирный потоп, и египетский плен, и сорок лет плутать по пустыне, а сколько еще было всякого, покамест явился Христос, про которого как раз и сказано у Иоанна: «И Слово было Бог». Даже религия, по которой «Бог правду видит», сообразуется с тем, что он ее «не скоро скажет». Тем более подобает сознавать это свободомыслящим и не льститься на готовенькое, на то, что кто-то укажет, как, наконец, стать праведниками и жить по-человечески.

Но мы то вручаем божественные полномочия Леониду Ивановичу Абалкину, то его же браним за то, что ведет «не туда», хоть он свои намерения не скрывал. Чтобы обществу обрести мало-мальски верное слово, надо регулярно и спокойно разбираться на страницах газет и экранах телевизоров во всем, что возникает в человеческих головах, — и в кажущемся мудрым, и в кажущемся вздорным, глядишь, и выяснится, как оно на самом деле. Публичный поиск неведомых истин не затем надобен, чтобы ликвидировать инакомыслящих, а для

прояснения мысли. Только взгляды в ее ход, убеждаясь в ее сообразности с реальностью, люди верят своим пророкам и в трудные часы. На наших глазах Мазовецкий хотя бы на время успокоил бурлившую прежде от малейшего подскока цен Польшу и получил возможность что-то всерьез изменить. Признаем же и мы, что не только трудные экономические обстоятельства толкают к политическим переменам, но и реальные политические перемены способствуют экономическому оздоровлению. А мы все хотим наладить хозяйство, меняя лишь аппаратные выкладки и на каждом шагу спохватываясь, а не слишком ли мы политизировались, не слишком ли разговорились? Вот лучше и не становится.

Стремление к демократии растет, но еще энергичней нарастает контратака. Телевидение и газеты тщатся уже порой умалить даже ни с чем не сопоставимую роль А. Д. Сахарова в повороте нашей страны к рациональному осмыслению происходящего. Конечно, налагать на это запреты не стоит, поскольку в обществе есть и такое стремление. Достаточно демонстрировать ошибки и заблуждения нападающих, их идеологическую предвзятость, и правда возьмет свое. Но вот с экрана телевизора преуспевающий московский литератор цинично заявляет, что Сахарову в его многолетней правозащитной деятельности «ничто не угрожало», а ни его «оппонент», вроде бы говоривший об академике уважительно, ни ведущий не считают нужным хотя бы напомнить о незадолго перед тем показанных в другой программе кадрах издевательского обхождения с ученым в горьковской больнице, да и о самой ссылке и всем прочем, сократившем жизнь.

Конечно, статья 43 предусматривает «возмещение морального вреда», но Сахаров уже не может, а его вдова едва ли станет подавать на центральное телевидение в суд. Да и надо ли через суд доказывать, что ссылка без суда — не только угроза, но и расправа, и что человек, вещающий о безвредности ссылки без суда, сам благополучно проживая в столице, не только себя компрометирует, но и порочит честь и достоинство ссыльного? Беспардонная лож усердно внедряется в массовое сознание уже в силу того, что телевидение у нас монопольное, что нет другого телевидения, способного обратиться к той же аудитории, вынуждая нынешнее

держаться все же в рамках приличия. Конечно, статья 6 говорит, что «монополизация какого-либо вида средств массовой информации не допускается», но как с ней совладать — в законе речи нет. А ведь журналы наши, и газеты, и издательства, хоть их вроде и много, тоже в большой мере монополисты. Нынче можно спорить с одной группой в журналах другой группы, и эти споры у всех на виду, но если я хочу возразить и тем и другим, место для этого найти нелегко. Дело ведь не за тем, чтобы привлечь к суду распоясавшегося лжеца (я потому и не называю здесь его имя), а за тем, чтобы средства массовой информации усвоили, что мнения могут быть какими угодно, но сведения должны быть достоверны, и фальсификация фактов нарушает не только законы, но элементарную общественную мораль. Тогда и репутация заядлого фальсификатора, не пугающая ныне жаждущего быть властителем дум, будет страшной штрафа в 50 000, предусмотренного проектом.

Но в проекте и слова нет о необходимости, ради повышения ответственности средств массовой информации, положить конец монополии на массовую информацию. Долгие годы нам твердили, что печать и вообще литература и искусство должны быть партийными, — поскольку существовала одна партия, это значило «однопартийными». В доказательство ссылались на известную статью Ленина, хоть всякий, кто ее читал, знает, что Ленин требовал там партийности от партийных изданий, требовал, чтобы выступающие от имени партии держались ее позиций, и был, конечно, прав, тем более что в 1905 году никакие дополнительные обстоятельства вступать в партию не понуждали, и у лицемерия не было даже внешнего оправдания. Это нынче запросто признаются, что вступили в партию, скажем, чтобы успешнее пропагандировать православную духовную музыку. Можно, понятно, лишь радоваться, что замечательные сочинения Рахманинова или Гречанинова нынче звучат беспрепятственно, но неужто играть их помогает принадлежность к коммунистической партии с ее материалистическим мировоззрением? Впрочем, сколь далеко партия, именуемая ленинской, ушла от Ленина, видно уже по тому, что в Ленинграде при выборах народных депутатов ни обком, ни горком не сочли нужным или не рискнули опубликовать имена тех кандидатов,

которых партийная организация поддерживает, за которых призывает голосовать, — трудно придумать более наглядный пример политического банкротства!

Нынче печать фактически становится многопартийной. Однако при том, что сегодня у нас не две, не пять партий, а десятки, симпатии и склонности миллионов не могут вместиться и в эти рамки. Для самопознания, для художественного и научного развития общество нуждается в свободной беспартийной печати, по природе своей антимонополистической. Если в грозные часы революций почва для беспартийности до крайности сужается, то процесс осмысления происходящего, процесс вызревания решений предполагает вовлечение в общественную жизнь миллионов людей, политически еще не определившихся, и нельзя не считаться с их стремлением делать это спокойно, по совести и рассудку. Проекту закона о печати более всего недостает учета этой потребности. А ведь затем и средства информации, чтобы читатели узнавали, что думают авторы, а не затем только, чтобы авторы писали нужное учредителям, издателям и редакторам средств массовой информации, как у нас повелось с момента закрытия горьковской «Новой жизни» и осталось в проекте нового закона.

Понятно, перемены несут свои опасности, и первая из них — коммерциализация. Необходимо предусмотреть формы поощрения бескорыстных каналов информации, не говоря о литературе и искусстве, покамест их выход к людям не начнет самоокупаться. Но и это проектом не оговорено. Он дышит прежним сознанием, велящим лишь менять одни шаблоны на другие, а не пополнять умственный багаж и думать самим.

Долгие годы интеллектуальная и душевная жизнь пробивалась к публичности лишь в рамках государственной идеологии. В нашем обществе, как в средневековом феодальном мире, личному мировоззрению надлежало совпадать с господствовавшей идеологией. Поскольку, однако, личный опыт всякого, прикасавшегося к реальностям жизни, так или иначе этому мешал, да и общество не укладывалось в предначертанные идеологические пределы, господствовавшая идеология сама трансформировалась. Не чуждая сперва некоторым справедливым положениям философии и социологии, наша государственная

идеология все больше противоречила своему теоретическому фундаменту, и марксизм-ленинизм, преподававшийся в вузах, имел все меньше общего с подлинными взглядами Маркса и даже Ленина.

Но и мировоззрения отдельных людей с трудом подымались над государственной идеологией, догматическое штудирование которой не проходило бесследно, и застрявший в сознании катехизис мешал видеть подлинную картину мира. Мир обращался в скопище случайностей, все меньше думали о причинах и все больше о целях, хотели попроще объяснить усложнявшиеся отношения, и навстречу этой склонности шла сама государственная идеология, толкуя проявления зла как плод коварства злых сил, а недостаток добра — как недостаток добрых.

Мудрое сталинское учение о вредительстве не свелось к оправданию ликвидации буржуазных грешников и еретичных партийцев, оно продолжает оказывать непреходяще губительное воздействие на общественное сознание. Нужно проникнуться им, чтобы искать причины общественных кризисов в тяжелом характере Сталина, или потом в несдержанности Хрущева, или приверженности Брежнева к золотым и усыпанным бриллиантами пятиконечным звездам. Немудрено, что в поисках опоры люди все меньше полагались на разум и все больше на веру, хорошо еще, если цивилизованной религиозной, а то ведь зачастую на откровенный оккультизм. В итоге возобладало разорванное сознание, при котором утрачивается даже общий язык, и споры нередко делятся оттого, что элементарные понятия утратили понятное каждому значение.

Недавно секретарь Ленинградского ОК КПСС по идеологии Ю. А. Денисов в интервью Би-Би-Си обозначил, свою политическую позицию как находящуюся левее центра. Поскольку и я определяю свою позицию как левоцентристскую, пришлось призадуматься, почему же почти по всем конкретным вопросам мои представления так далеки от представлений секретаря обкома. А дело в том, что даже понятия «левый» и «правый» утратили определенность. Если, скажем, в конце двадцатых годов «правым» считали Н. И. Бухарина, защищавшего индивидуальное крестьянское хозяйство, то нынче такая позиция считается скорее «левой», а «правыми» зовут

защитников нерушимости колхозного строя, скажем, Е. К. Лигачева. Между тем, никто не называет позиции Бухарина и Лигачева близкими, и в системе понятий двадцатых годов Лигачева, конечно, числили бы «левым».

Если сегодня их обоих называют «правыми», то потому, что подспудно ощущаются происшедшие меж 1929 и 1989 годами перемены нашей жизни и нашего общественного строя. Чтобы разобраться в нынешних понятиях, надо до конца осознать, зачем Сталин губил сперва крестьян и горожан, доверившихся нэпу, а потом старых партийцев. Он это делал, сознательно или бессознательно, чтобы в специфических формах реставрировать феодальные отношения, установить тот неофеодальный порядок, который потом объявил социалистическим. Бухарина называли «правым» по отношению к Сталину, стоявшему за ликвидацию стоимостных отношений, за внеэкономическое хозяйство, мыслившееся тогда залогом социализма, — да и не был ли таким или, напротив, был противоположным ленинский предсмертный призыв пересмотреть всю нашу точку зрения на социализм, неизвестно. А нынче, когда мы воочию видим, куда внеэкономическое хозяйствование воротилось, мы зовем движение к стоимостному сознанию «левым», а стремление спасти феодальный социализм — «правым».

Чтобы различать «правое» и «левое», надо определить, на чем ты сам стоишь, обозначить точку отсчета. Для Ю. А. Денисова социализм — это сталинский неофеодализм. Его пугает восстановление стоимостных понятий, он, словно в годы установления нэпа, видит в них «правую» опасность и себя, соответственно, искренне считает «левым». Мне же восстановление стоимостных понятий в противовес укоренившимся внеэкономическим представляется «левым» уже хотя бы потому, что для меня, как, впрочем, и для Маркса, социализм — явление постбуржуазное, результат чисто буржуазного, давно избывшего в себе феодальное наследство, развития. Вот и выходит, что, хоть оба мы с Ю. А. Денисовым вроде бы говорим о социалистическом идеале и оба считаем себя левоцентристами, мы стоим по разные стороны от центра.

Смысл словоупотребления восстанавливает лишь соприкосновение с конкретностью истины. Нынче «левые» (или «правые») объявляют Максима Горького глашатаем

сталинского террора и клеймят его за известную фразу: «Если враг не сдается, его уничтожают», видя в ней лишь призыв к наращиванию жестокости. Никто не заметил, что Горький поставил ей условие: «если враг не сдается». Он этим напомнил: если враг сдается, его не уничтожают. А ведь в те годы уничтожали давно сдавшихся или даже вовсе не участвовавших в политической жизни. Горький, при всей противоречивости своего миропонимания, как раз ощутил, что происходившее походило не столько на борьбу с упорным, не сдающимся врагом, сколько на расстрел пленных. Я был тогда мальчиком, но протестантский подтекст этих слов был мне очевиден. А не жившие той жизнью, не ощущающие их контекста, нынче видят в них противоположное сказанному, хоть и эзоповым языком. Но политическую лексикологию не прояснить иначе, как обращаясь к реальности, лежащей за словами, и к рядом звучащим словам. Уже поэтому общественное самосознание нуждается в свободе печати, и единственный категорический запрет должен быть наложен на призывы к насилию.

Спросят: а разглашение государственных и военных тайн? Разумеется, охранять их должен закон, но не закон о печати, поскольку подлинные тайны разглашаются обычно вовсе не средствами массовой информации, в которые пробивается разве что таимое от наших граждан, но отлично известное иностранным разведкам. Нарушение конкретными лицами, военнослужащими или чиновниками, добровольно взятого на себя обязательства сохранить доверяемую тайну, конечно, должно повлечь за собой предусмотренную ответственность. Заметим лишь, что сами подобные обязательства законны только там, где под покровом тайны не нарушают конституцию и другие законы страны. А если нарушают, входя, скажем, в сговор с Гитлером или извлекая выгоду из служебной позиции, обязательство хранить тайну теряет силу, и тот, кому она доверена, как гражданин обязан, напротив, возможно быстрее противозаконную тайну разгласить, и средства массовой информации призваны ему помочь.

В проекте это, как и многое другое, не оговорено. Кажется, что закон усердно редактировали издательские, телевизионные, газетные работники, желавшие стабилизировать сложившееся положение, а не ответить на требования, которые предъявляет к информации

правовое демократическое общество. Апрель 1985 года породил надежду, что страна станет жить не для отвлеченных и отдаленных схем, а для блага своих граждан. За пять лет, при всех промахах и упущениях, не так уж мало сделано, чтобы надежда сбылась, и все-таки общество испытывает неуверенность. Чем громче говорят: «Иного не дано!», тем ощутимей опасность иного, прежнего. Единственное, что может помешать его возврату, единственная гарантия надежды — свобода печати и других средств массовой информации. Предложенный проект не дает такой гарантии, лишь велит полагаться на благожелательность свыше.

Но даже этот проект подвергается массовым атакам желающих не менять прежних порядков в печати и на телевидении, а с ними и в стране.

ПУТИ НА РЫНОК НЕИСПОВЕДИМЫ Переход к рынку — да. Но к какому?

Николай Рыжков предложил вынести правительственную концепцию перехода к рыночной экономике на всеобщее обсуждение. У нас едва ли не впервые государственный деятель готов уйти, если народ против него.

Прежде за нас решали, нами руководили, нас вели, и можно было, «безмолвствовать» или со всеми вместе вопить: «Да здравствует царь Димитрий Иванович!», считая себя ни при чем. Прямота Рыжкова побуждает не просто тайно проголосовать, но объяснить мотивы голосования. Объяснить, почему я без колебаний проголосую против предлагаемой «концепции перехода к рыночной экономике».

Скажу сразу: потому, что она не сулит перехода к рыночной экономике. Все идет, как пять месяцев назад задумал Леонид Абалкин: сначала оздоровление, потом реформы. Но, помилуй бог, кабы можно оздоровить наше хозяйство без реформ, на что они?

Начиная с 30-х годов наши правительства вели несбалансированное хозяйство, занижали заработную плату, и, чтобы работающий все же получил пайку, без которой он не работник, приходилось искусственно занижать цены на основные продукты питания, жилье и транспорт. Ради долгостроя и прочего брали займы у будущего и его почти проели. Кроме рынка, ничто нас не спасет, поскольку нет другого способа определить, что почем, а без этого концы с концами уже не свести.

Сегодня нам говорят, что, поскольку цены на рынке неизбежно подскочат, их надо наперед повесить командным порядком на 200–300 процентов, и обещают процентов 15 вернуть деньгами, чтобы нам продержаться. Но о возрождении рыночной регуляции или хоть условий для нее и речи нет, лишь смутные ссылки на позднейшее обсуждение.

Между тем, нынешнее правительство наводнило страну деньгами, на которые нечего купить. Прежде чем переходить к рынку, надо бы не цены повышать, а немедленно изъять у правительства государственный банк и если не сразу остановить, то резко сократить эмиссию. Правительство бы тогда подумало, как

заработать деньги, и стало бы экономить. Право же, куда выгоднее год-два выплачивать полную зарплату рабочим остановленных производств, пока они не найдут другой работы, чем и дальше с убытком выпускать никому не нужную продукцию.

Нет рынка, если продавец один — государство, и оно же — главный покупатель. Хоть на словах новые законы дают крестьянам землю, уже видно, что взять ее без боя практически невозможно и гарантий нет. Ради создания рынка самостоятельный крестьянин вместе с землей должен получить и права, не меньшие, чем у председателя колхоза или директора совхоза, и главное — ни в чем от них не зависеть. Точно так же надо упразднить хозяйственные министерства не в отдаленном будущем, а наперед или хотя бы одновременно с переходом к рынку. При тотальном монополизме министерств или создаваемых на смену им концернов возможен лишь безудержный рост цен, каковой проект предписывает, и до всякого рынка. А рынок-то, на что-то при конкуренции подняв цены, на другое их даже снизит, пусть и не сразу.

Пути есть разные. Польский при нашей тотальности нам труден, но и мы при переходе должны не только платить за чужие грехи, но, подобно полякам, сразу что-то реально менять.

Заниженные цены на продовольствие (на промтовары они в основном завышены) рынок и сам тотчас пересмотрит. Административно менять их заранее можно лишь при полной выдаче дотаций, которые нынче идут производителем. Рыжков признал, что дотацию на хлеб следует отдать покупателю. А чем хуже дотация на мясо? Разве и те и другие не образуются за счет занижения монопольным работодателем зарплат? Сколько можно уверять, что народ на себя не зарабатывает и его от щедрот своих кормят партия и правительство?

Административное установление цен не регулирует, а подрывает рынок. Регулируют его налоги, льготы, субсидии, побуждающие ради собственных интересов производить необходимое обществу. Владеть такими регуляторами сложнее, чем спускать команды. Объективнее других анализируют наше хозяйство те, кто пользуется математическими методами. Но, к сожалению, их меньше занимают социальные проблемы. Недавно

«Литгазета» опубликовала рядом В.Селюнина и С.Шаталина. Селюнин, быть может, и слабей как теоретик, но он острее ощущает пульсацию экономики в социальной жизни. Социальные проблемы свелись у нас к профсоюзно-коммунальным подаяниям, но труженик станет богаче, лишь решая всамделишные социальные проблемы, постигая механизмы, приводящие разные общественные слои и группы к подвижному взаимовыгодному согласию.

Люди, опустошавшие после доклада Рыжкова магазины, не просто запасались. И вовсе они не против регулируемой рыночной экономики, а против очередной командной акции. В Верховном совете, критикуя правительство, говорили даже о его некомпетентности. Но это неверно, авторы прекрасно знают, что делают. Помоему, их проект — блестящий шаг политиков, не желающих рыночной экономики, но сознающих, что отказаться от нее открыто уже нельзя. Вот они и объявили административное повышение цен регулированием рыночной экономики.

Если народ это проглотит, директивное хозяйство вздохнет свободнее, спадет напор избытка денег. Если же народ проголосует против, нам разъяснят, что народ отверг рыночную экономику и пусть, мол, пеняет на себя, что, в свою очередь, даст повод вернуться к старым навыкам. Между тем, народ, судя по всему, не отвергает рыночную систему. Он лишь не видит к ней реального пути в нынешней программе правительства.

ПРОЦЕДУРЫ СВОБОДЫ

Вот я и стал лишенцем! Меня лишили представительства в Совете республики Российского Верховного совета. И не меня одного, а всех ленинградцев поголовно. Не будем уж выяснять, почему для России, в отличие от Украины и других республик, установили двухступенчатые выборы, — не уверены, видимо, что ее народы изберут достойных! Не будем покамест выяснять и того, почему Верховный совет самой большой республики, да еще двухпалатный, должен быть самым маленьким. Но почему все-таки, если даже нашему многомиллионному городу отвели в Совете республики в семь раз меньше мест, чем мы выбрали депутатов, кому нас там представлять не ленинградская депутация определяет, а целиком весь съезд, с первого захода не пропустивший вообще ни одного ленинградца и ни одного москвича. Сказали бы наперед: Иван Кузьмич Полозков решит, кому представлять Ленинград, — я бы и на выборы не ходил. Умные люди понимали, что изобретут какую-то каверзу, чтобы осадить надежды избирателей, а я, старый дурак, ходил на выборы даже дважды, на оба тура. Вот и вся демократия.

Упразднил ее на сей раз Виталий Иванович Воротников, возглавлявший прежний Верховный совет и не считавший нужным, вводя избирательные нововведения, предусмотреть четкую процедуру, по которой представительство Ленинграда будет в любом случае определять ленинградцы, — если не прямо избиратели, то хотя бы их депутаты. Впрочем, я, может, зря валю все на одного Виталия Ивановича. Все мы не лучше и, почитая порядок, установленный свыше твердой рукой, чуть ли не поголовно презираем процедурные вопросы. Едва займутся ими на съездах или у нас в Ленсовете, тотчас говорят: да что они все болтают, надо же дело делать. А процедура — и есть главное дело законодателей, от нее зависят все дальнейшие решения. Процедура — как закон, да, собственно, она и есть закон, или, точнее сказать, закон есть процедура.

Человек родился, и сразу процедура: ему выписывают метрику, указывают родителей, национальность обоих. У новорожденного своей национальности по этой процедуре нет, ее придется потом, при получении паспорта,

определять. А эта процедура стала сейчас жесткой, определяют по родителям, порой только по матери, самому определиться уже нельзя. А до войны еще можно было. У моего товарища отец был еврей, а мать — русская, сам он — светлый, кудрявый, чем-то на Есенина похож, а фамилия типично еврейская. И, заполняя анкету для паспорта, он написал: «еврей». Я-то написал то же самое, но у меня оба родителя — евреи. А он говорит: мне-то все равно, но с моей фамилией иначе скажут, что я прячусь или отца стесняюсь, лучше уж я прямо напишу. А другой, у которого мать — татарка, а отец был грек, говорил: это все чепуха, живем мы в России, другого языка, кроме русского, толком не знаем, значит, все мы русские, — и в анкете так написал. Но суть не в том, что они написали, тем более что обоих давно нет — оба погибли на войне, а в том, что шестнадцатилетние подростки были поставлены — и поныне стоят — перед необходимостью не то что даже национального, а расового самоопределения: наше государство определяет национальность по крови, по отцу и матери, а не по культуре и образу жизни. Да и как иначе оно смогло бы потом выселять из Москвы детей обрусевших чеченцев, на родине отцов никогда не бывавших? Я знаю, после смерти Сталина уцелевшим чеченцам разрешили вернуться, но паспорта-то заполняют по-прежнему, и для страны это не проходит бесследно.

Конечно, не только из-за них началась резня в Баку или возникла «Память», но свой вклад в характер национального сознания наших граждан эта невинная на первый взгляд процедура внесла. Ибо процедура — всегда содержательна. И споры о процедуре — это всегда споры по существу. Недовольные тем, что советы вырабатывают процедуры, которых прежде не бывало, на деле недовольны тем, что решения уже не всегда принимаются закрытым порядком, что смысл их проясняется наперед, и народ его быстрее ухватывает. Межнациональные распри не перестройка породила. Их семена посеяны еще в пору шумных празднеств дружбы народов, прикрывавших сталинскую систему автономизации.

Наше общественное сознание не любопытно к процедурным мелочам. Оно норовит проникнуть в суть, пренебрегая ими. Много сейчас пишут об убийстве

последнего царя. Страшно думать, что вместе с ним убили и ни в чем не виноватых молодых девушек — царевен, и больного подростка — царевича, не говоря уже о докторе Боткине и слугах. Да и казнь самого царя была совершена без суда. Но если внимать нашей печати и телевидению, не то оказывается плохо, что не соблюдались обязательные процедуры, устанавливающие виновность или невиновность, а что казнили, оказывается, хорошего человека. Нам все твердят о верном супруге, любящем отце, ценителе искусств и прочих достоинствах государя. Словно не было Ходынки, не помешавшей хорошему человеку вечером отплясывать на балу, словно не было Кровавого воскресенья на Дворцовой площади, — а ведь за расстрел перед твоим дворцом безоружных людей, да еще с иконами в руках, по всем законам божеским и человеческим положена уголовная ответственность.

Можно еще вспомнить, что после Манифеста 17 октября была избрана Государственная Дума, — первое в России представительное законодательное учреждение, и подавляющее большинство ее депутатов — и кадеты, и трудовики, и эсеры (большевики выборы бойкотировали) — при всех различиях стояли за наделение крестьян землей за счет казенных, церковных и помещичьих земель. (По проекту кадетов помещичьи земли отчуждались лишь частично, но все же отчуждались.) Не вспоминают нынче и то, что через два с небольшим месяца царь эту Думу, отвергнув ее требования, разогнал и в тот же день назначил премьер-министром П. А. Столыпина, незадолго перед тем призванного в министры внутренних дел за умелое подавление крестьянских волнений в Саратовской губернии, где он губернаторствовал. И совсем никто не помнит, что разгон Думы стал примером для разгона в 1918 году Учредительного собрания. А осенью 1906 года последовал указ, которым началась столыпинская реформа, по сравнению даже с самыми умеренными думскими проектами весьма ограниченная и земельные нужды крестьянства удовлетворившая лишь отчасти. Государь Николай Александрович все оттягивал и урезал реформы, надеясь, что и так все обойдется. Стало быть, он собственной персоной виновен в том, что крестьяне до зарезу нуждавшиеся в земле, могли надеяться лишь на революцию. И поскольку без крестьян она была бы

невозможна, он несет прямую ответственность за всю по ходу революции пролитую кровь.

Я говорю об этом не затем, однако, чтобы объявить, что за столь чудовищные уголовные и политические вины не грех воздать любым способом, а как раз напротив — чтобы подчеркнуть, что даже такие тяжкие и легко доказуемые обвинения для совершения наказания должны быть проверены и подтверждены, как того требует общепризнанная процедура. Карла I отправил на эшафот специально назначенный парламентом суд, Людовика XVI судил Конвент. У нас же не только обошлись без лишних церемоний, прихватив явно невиновных, но и по сей день оспаривают не столько бессудную расправу, сколько очевидные доказательства царской вины, словно бы ее признание расправу обеляет. И ведь одновременно твердят, что террористический акт против Троцкого, тоже далеко не безгрешного, был делом справедливым и достойным. Но справедливость и закон существуют лишь там, где их соблюдают по отношению и к самому дурному человеку, все равно, царь он или большевик.

Пожалуй, самая большая беда нашей страны в том, что мы по сей день не знаем всеобщего равенства перед законом и держим в уме давнюю традицию, по которой убивали стрельцов, восставших крестьян, Ивана VI, Петра III, Павла, Александра II, а после, следом за Лениным, уверяли себя и других, что «чем большее число представителей реакционного духовенства и реакционной буржуазии удастся нам по этому поводу расстрелять, тем лучше». Конкретная вина конкретных «представителей» никого особенно не занимала. Такая манера думать жива поныне.

Твердят, что «евреи распяли Христа» и нечего с ними церемониться. Можно бы на такой же манер ответить: а русские сожгли протоппа Аввакума, великого писателя и религиозного деятеля. Но такой ответ нелеп не только потому, что Христос сам был евреем, а Аввакум сам был русским, но, прежде всего, потому, что всякое убийство и вообще преступное деяние совершается конкретными людьми, и следственные и судебные процедуры на то и надобны, чтобы максимально достоверно установить **индивидуальную** вину, а если преступление совершено группой или организацией, — меру личной вины каждого из участников.

Если призыв популярного писателя, твердящего, что «евреи распяли Христа», найдет отклик и прольется кровь, справедливый суд, буде он состоится, вспомнит об ответственности за подстрекательство. Но я наперед отказываюсь считать виновными в убийстве, которым мне время от времени открыто грозят, всех его единоплеменников, русских или бурят, в преступлении не замешанных. Счесть, что виноваты все, означает: либо виноватых нет, либо готовить новую Треблинку. Правосознание требует сознания персональности ответственности и, вообще, конкретной роли каждой отдельной личности в истории и обычной жизни. Для выполнения такой роли каждым и складываются демократические общественные процедуры — свобода слова, печати, собраний, избирательная система и выборные органы власти со своими регламентами.

Опубликовав не так давно в КО статью «Метрополия или республика», возражавшую против привычного отождествления русского народа с Советским Союзом как целым и требовавшую признания за ним, как и за другими народами, суверенных республиканских прав, я получил множество писем с резкими протестами против самой постановки такого вопроса. Не прошло, однако, и года, как Съезд народных депутатов РСФСР провозгласил Россию суверенной. Одновременно новоизбранный председатель Верховного совета подчеркнул право на суверенитет всех национальных автономий. Не скрою, я испытываю удовлетворение. Первый шаг сделан. Дело теперь за процедурным механизмом, который позволял бы каждому полностью сохранять свой суверенитет не только выходя из союза, но и в его пределах.

Любопытно, что основа такого процедурного механизма была дальновидно предусмотрена уже при образовании СССР — в составе Центрального исполнительного комитета, избиравшегося Съездом советов, наряду с союзным Советом был создан овет национальностей. Но играть предполагавшуюся роль он, как поздней и Совет национальностей Верховного совета, практически не мог, поскольку торжествовала сталинская автономизационная схема, не дававшая — во имя унитарного, тотального государства — самостоятельности никому. Вот и приходится вспоминать, что само по себе провозглашение суверенитета еще не меняет реального

положения. Суверенитет надо закрепить повседневными процедурами.

Одна палата, образуемая по принципу пропорционального представительства, естественно, дает преимущества более многочисленному народу, другая, в которой республики должны быть представлены на равных правах, отстаивает права остальных. Двухпалатная структура высшей власти для федеративного государства — и союзного, и российского — вполне хороша. Но при обязательном условии: чтобы голосование шло всегда отдельно по палатам. Между тем Верховный совет СССР не только проводит преимущественно совместные заседания, но и голосует сплошь и рядом сообща, что практически сводит на нет роль Совета национальностей.

Не зря на съезде РСФСР депутаты автономий так яростно требовали одинаковой численности палат. По опыту Верховного совета СССР они понимали, что иначе, при совместном голосовании, их голоса потеряются. Но если бы съезд утвердил и даже внес в конституцию обязательность во всех случаях отдельного голосования по палатам, численность палат не играла бы уже никакой роли. Это позволило бы увеличить Совет республики и даже (что, по-моему, наиболее справедливо) отменить двухступенчатость и провозгласить съезд в полном его составе Верховным советом, с тем, чтобы депутаты, избранные по территориальным округам, составили Совет республики, а по национально-территориальным — Совет национальностей. При обязательном отдельном голосовании, исключающем возможность ущемления прав автономий, русские края, области и города могли бы быть представлены в Совете республики достаточным числом депутатов, избранных прямым голосованием, и не ущемлялось бы, как сейчас, представительство русского населения. Сознвая содержательность всякой процедуры, не трудно найти компромиссное, никого не ущемляющее решение. Увы, под смехи и гневные возгласы из зала поиски компромисса продолжал лишь председатель.

Над причинами упорного сопротивления компромиссу со стороны группы «Коммунисты России» стоит призадуматься. Наша гласность последнее время сосредоточилась на шестой статье конституции. Отменить

ее, конечно, было необходимо, поскольку она фактически упразднила власть советов и чуть не наполовину перечеркивала конституцию, во всяком случае разделы IV, V и VI. Нет смысла проводить выборы и участвовать в них, когда и без выборов известно, кому принадлежит руководящая роль. Но после свободных выборов руководящая роль КПСС не только не упала, но даже возросла, ибо возросло число коммунистов и на союзном, и на российском съездах народных депутатов. Одна из парламентских групп явно неправоммерно назвалась «Коммунисты России». На мой беспартийный взгляд, коммунисты преобладают в подавляющем большинстве групп, не исключая и «Демократическую Россию». Просто в силу общей демократизации депутаты-коммунисты ныне открыто обсуждают между собой то, что прежде даже им обсуждать было не положено. Это, конечно, хорошо. Но от этого принципы КПСС, связанные в нашем воображении лишь с шестой статьей, вовсе не перестали быть обязательными для советского государства. И не потому что большинство депутатов — коммунисты (это было бы естественно), а по-прежнему по конституции.

Народные депутаты СССР проглядели более важную, чем шестая, статью третью: «Организация и деятельность Советского государства строится в соответствии с принципом демократического централизма», то есть «обязательностью решений вышестоящих органов для нижестоящих». Этим принципом начисто перечеркивается федерализм, вроде бы лежащий в основе нашего государственного устройства, что более всего и вызывает нынешние обострения отношений республик с центром и между собой.

Строго говоря, и сама партия пришла к этому принципу лишь в результате многолетнего пребывания в подполье в годы самодержавия. Но и тогда он соблюдался не столь жестко, как в наши дни. В единой партии с меньшевиками, да и в самостоятельной партии, Ленин не всегда бывал в большинстве, однако это не побуждало его беспрекословно подчиняться большинству, отказываться от фракционной деятельности и фракционных изданий. И что-то не слышать, чтобы партия его за это сегодня осуждала. Но если многочисленные отступления от демократического централизма не порочат Ленина,

почему они заказаны Горбачеву, Лигачеву, Ельцину, Нине Андреевой и Юрию Афанасьеву?

Принцип демократического централизма, превративший партию, как требовал великий Сталин, в орден меченосцев, более чем что-либо подорвал ее авторитет и обрек на силовые методы. Осуществленное большинством стран Варшавского договора введение войск в Чехословакию (коммунисты которой, составлявшие в Варшавском блоке меньшинство, представляли себе социализм иначе, чем остальные) было не просто незаконным, что ныне признают, но и антикоммунистическим шагом. Сравнив всеобщую популярность Дубчека, Смирковского и других лидеров КПЧ и 13% голосов, собранных коммунистами Чехословакии на недавних выборах, пора бы признать, что КПСС действовала в августе 1968 года как антикоммунистическая сила, и смягчить ее вину может разве лишь то, что и дома она подрывала авторитет коммунизма и свой собственный сходным образом, следуя принципам демократического централизма. При этом я безоговорочно признаю за КПСС право самой выбирать себе принципы, я ведь политикой не занимаюсь, мои интересы — сугубо исследовательские. Я лишь отмечаю, что принципы КПСС остались обязательными для Советского государства, хотя статью шестую вроде отменили.

На первом Съезде народных депутатов кто-то говорил, что съезд — это высший орган власти и, как таковой, вправе, ни в чем себя не стесняя, принять любое решение. Права съезда в самом деле велики, он ведь и конституцию вправе изменить. Но думать, что его воля ничем ограничена, можно лишь веруя в демократический централизм. Между тем при создании СССР было, к примеру, установлено, что республики не только сохраняют право выхода из Союза, но, что отмена или хотя бы ограничение этого права требуют согласия всех республик. Стало быть, поправки к конституции, ограничивающие это право, не станут законом, даже если съезд их примет и даже если конституцию изменит. Требуется еще, чтобы их ратифицировали все до одной республики, не просто большинство. Основой союзного государства был не демократический централизм, а демократическое согласие. Ленин понимал, что прочным

союз может быть лишь при сохранении каждой республикой права вето на нежелательные для нее ограничения права выход из союза.

Это отнюдь не только литовская и прибалтийская проблема, и дело не сводится к выяснению того, в какой мере добровольно Прибалтика вошла в СССР. Добровольное вхождение в СССР Украины и тем более России оспорить трудней, однако они не ратифицировали поправки, стеснявшие выход. И вовсе не потому, что собирались в обозримом будущем воспользоваться этим правом, а потому, что оно — неотъемлемая часть суверенитета, который без него превратится в пустую болтовню.

Пренебрежение начальными положениями союзного договора о праве на выход как раз, по объективному своему смыслу, внушает народам — и литовскому, в частности, — что выход из Союза необходим. А готовность центра соблюдать союзный договор, напротив, побудила бы республики, даже и не вполне законно в союз вовлеченные, видеть преимущества содружества, думать о его сохранении, пусть на иных условиях. Не республики разваливают федерацию, а центр, не желающий отказаться от демократического централизма, то есть от своего права решать за «нижестоящих». Если мы не наладим с Литвой взаимоуважительные отношения, вина падет не на Ландсбергиса и не на Бразаускаса, сколько бы оплошностей они не допустили, а на тех, кто приказывал перекрывать нефтепроводы и газопроводы, кто позволял нашей общесоюзной армии выполнять приказы группы частных лиц, отколовшихся от компартии Литвы. Демократический централизм, даже если он и в самом деле демократический, как государственный закон означает ущемление меньшинств — и социальных, и национальных. А поскольку у нас все народы в меньшинстве, даже и русский скоро может оказаться меньшинством по отношению к остальным, вместе взятым, можно полагаться лишь на демократическое согласие, приводящее к единству не силовым давлением центра, а специальной системой процедур согласования общих решений между республиками. Говоря «центр», имеют в виду нечто стоящее над республиками, но центр федерации — это лишь их согласованное стремление.

Понимание содержательности процедур позволяет отличить самое существенное от менее существенного. Конечно, всенародные выборы президента предпочтительнее избрания его съездом. Но за спором о том, как президента выбирать, депутаты так и не выяснили, подходит ли вообще нашей стране президентская форма правления. Ю. Н. Афанасьев в ходе обсуждения немалую часть речи посвятил критике Ленина. Это было вполне уместно для анализа положения в стране и перспектив перестройки, но в данной связи стоило бы вспомнить, что, согласно Ленину, у федерации равноправных народов не может быть единого главы, и сперва его функции поочередно исполняли представители четырех республик, положивших тогда начало союзу. Это уже при Сталине появился единый всесоюзный староста, а при Брежневe еще его первый заместитель, поднятые над представителями республик. Учреждение поста президента, кто бы его ни занял, уже самой переменной структуры, самим характером осуществления власти продолжило традицию. А она утверждала набиравшую силу административно-командную систему.

Конечно, парадоксально, что президентом избран человек, открыто выступивший против этой системы. Видимо, многие депутаты, да и он сам, искренне верили, что новая должность нужна, чтобы успешнее продолжать начатое. Но в том-то и дело, что содержательность общественных структур куда сильней воли отдельного, даже самого одаренного человека. Назначение министров уже не обсуждается в Верховном совете, а это нововведение приносило пользу, исключая из предлагавшихся наиболее одиозные фигуры. Двое новых министров перед депутатами так и не выступили. Но винить в этом следует не М. С. Горбачева, а наших народных депутатов, сваливших на него ответственность за все происходящее в стране.

Недавно народный депутат СССР академик В. Л. Гинзбург в пространной статье сетовал, что сторонники демократии не поддерживают М. С. Горбачева, инициатора демократических преобразований. Его беспокойство понятно. На одном из недавних пленумов ЦК Горбачеву выговаривали, что за создание критической обстановки в стране «нас хвалит весь буржуазный мир, все бывшие и настоящие противники, благословляет

папа». И, к сожалению, никто, кроме самого Михаила Сергеевича, не счел нужным на это возразить. Перед угрозой, различимой за таким извлеченным из застойного нафталина обвинением, разногласия между Горбачевым и межрегиональной группой вроде и впрямь отступают на второй план. Однако именно процесс полемики между людьми демократической ориентации, в том числе и Горбачевым, само наличие открытой и взаимоуважительной полемики, кто бы ни был в том или другом случае прав, и отличает прежде всего новое мышление от старого, когда страшной всего было заслужить одобрение буржуазного мира и, упаси господь православных, папы римского. Последовать призыву академика В. Л. Гинзбурга, поспешить к единомыслию и единогласию, пусть даже опять на самых правильных принципах, а ведь и Горбачев прав не всегда, как раз и значило бы отказаться от необходимых стране перемен, которые начал Горбачев.

У нас принято думать, что реальные преобразования возможны лишь при сосредоточении власти в одних руках, хоть на деле сама нужда в преобразованиях возникла как раз вследствие такого сосредоточения. Для другой жизни нужны другие процедуры, для доброго дела непригодны средства, которыми вершили злое. Цель не оправдывает средства, а вот средства, методы, процедуры в конечном счете определяют цели общества и людей, желавших совсем другого, делают своими орудиями. Академик В. Л. Гинзбург удивительным образом упускает из виду самого Горбачева, который и в прежней своей должности, обратись он за поддержкой к демократическим массам, получил бы ее еще верней, чем вступивший потом на этот путь Б. Н. Ельцин, хотя бы потому, что вступил на него раньше, в более трудную пору. Но и самая искренняя поддержка не защитит и самый достойный авторитет, когда действия не им одним или даже вовсе не им, но без его противодействия свершаемые, уже открыто противоречат провозглашаемому целям.

Генеральный секретарь ЦК не раз умно и справедливо говорил, что решающая роль в партии должна принадлежать рядовым коммунистам, а тем временем у нас в городе человек, не получивший в своей организации мандата на областную партконференцию, попал туда прежним способом (как, кстати, и значительная часть ее

делегатов) — через районную конференцию, и вновь стал первым секретарем обкома. Подобные процедуры, а их не счесть, неизбежно подрывают авторитет того, в чьих руках вся полнота власти, просто в силу персонификации социальных явлений. Столь же подрывную для авторитета М. С. Горбачева роль сыграл и замысел Н. И. Рыжкова, Ю. Д. Маслюкова, Л. И. Абалкина, В. С. Павлова, поднять цены под флагом перехода к рыночным отношениям.

Между тем демократические преобразования, в том числе и реальный переход к рынку, осуществимы лишь как переход от всеобщего, взнужданного центром единства, именуемого демократическим централизмом, к процедурам демократического согласия, то есть обретая конкретную общность в конкретных вещах без отказа от собственных позиций — при возможности путем взаимных уступок и в любом случае уважительно признавая за меньшинством право отстаивать свои стремления. Слова о любви к отечеству или преданности социализму не ведут больше к согласию, ибо мнения о том, что отечеству во благо и какой общественный порядок считать социалистическим, разошлись достаточно далеко.

В отличие от В. Л. Гинзбурга я думаю, что успех перестройки зависит не от того, вольются ли демократические депутаты в одобрительный хор, а от того, в какой мере разным демократическим течениям удастся нащупать конкретные точки согласия и провести преобразования в жизнь вопреки тем, кто их не желает. Авторитет М. С. Горбачева гораздо больше, чем от президентской должности, укрепился бы от демократических перемен внутри партии, от того, скажем, что он бы публично выступил против известного письма от имени ЦК, положившего начало исключению из партии сторонников демократической платформы, и за восстановление уже исключенных. Это замедлило бы и падение авторитета партии.

Но хоть поиски внутреннего демократического согласия в партии важны, не менее важно искать, пусть еще менее полное, согласие с людьми, вышедшими из партии или вообще далекими от нее, создающими ныне независимые, пользующиеся влиянием демократические организации. Жизнь показывает, что осуществить всеобщее счастье в одиночку не удастся. Люди так или иначе должны участвовать в совершенствовании

собственной жизни, если, понятно, они сами этого хотят. Затем и нужно тщательно шлифовать процедуры демократического согласия, призванные заменить прежнее давление. Здесь ключ ко всему. В пренебрежении процедурами слышна тоска по произволу, по власти, от нашего имени творящей все, что ей хочется, ни за что не отвечая.

Справедливость процедуры, которую при нашей неопытности трудно вырабатывать, состоит в том, чтобы все обрели свободу высказать свое, ограниченную для каждого лишь свободой других, и смогли не позволить даже большинству сгонять с трибуны депутатов, хоть их время не истекло, хоть они и рты не успели раскрыть, — как согноли Н. И. Травкина. Вождю и толпе процедуры не надобны, они их только стесняют, но свободы без них не будет. Чтобы не свалиться в пучину гражданской войны, общество нуждается не в новом единомыслии — попытки его установить как раз войну и разжигают, — а в процедурах свободы. Лишь они гарантируют каждому участие в собственной жизни, необходимое, чтобы никто никогда не чувствовал себя лишенцем, лишним своей стране.

ЗАГОВОР, КОТОРЫЙ МЫ НЕ ЗАМЕТИЛИ **Отечество, конечно, в опасности, но опаснее** **всего сверхбдительные граждане**

В январе–феврале нынешнего года в Советском Союзе готовился государственный переворот. «Планировалась замена советского строя, разгром КПСС, суд над коммунистами»... «События в СССР должны были в худшем виде повторить события в Восточной Европе». Заговорщики — «так называемые антидемократы», они же «лжедемократы-клеветники». Тайное стало явным. О неудавшемся заговоре узнал О.Семенчук (кто он? штатный или нештатный автор газеты? компетентное лицо? просто читатель?) и телеграфировал в «Правду», которая поместила его разоблачение на первой полосе (25 июля). Теперь я с тревогой жду фактов, подтверждающих ужасный замысел заговорщиков.

Мы должны знать, что и кем конкретно планировалось, кто руководил заговором, какие силы предназначались для захвата Главпочтамта и Центрального телеграфа, и, конечно, вестей, где эти экстремисты сейчас, привлечены ли они, черт подери, к ответственности. Вон генерал Калугин сказал публично несколько банальностей, которые, по меткому слову, «знали два министра и все мальчишки в городе», а на него уже завели уголовное дело. А тут планировалось изменить государственный строй. Четыре месяца прошло, и никто, кроме бдительного. О.Семенчука, и знать ничего не знает, и последствий никаких. До чего безнаказанность дошла!

А ведь не один О.Семенчук против того, чтобы «поставить у власти марионеточный режим». Мне, например, такой режим еще менее желанен. И я не один такой — большинство наших граждан хочет мира не только внешнего, но и внутреннего. Разумеется, сегодня решения президента, Верховных советов Союза и республик, съездов многочисленных ныне партий не всегда вызывают единодушное одобрение. Люди справедливо хотят, чтобы избранное ими руководство прислушивалось к мнениям, которые они по праву высказывают в печати, на митингах, и на демонстрациях. Хочется, естественно, чтобы все это проходило мирно, в соответствии с общепринятым порядком. Хочется, чтобы власти отвечали пониманием, как ответил, к примеру,

недавно Верховный совет СССР, отклонив предложенное правительством безрыночное повышение цен. Это и есть нормальная жизнь, начавшаяся перестройкой. И если кто-то, напротив, планировал на прежний лад силой разогнать Верховный совет и прочие власти, то говорить об этом, если все это на самом деле было, надлежит с предельной точностью и конкретностью, а то ведь можно подумать, что это просто провокация.

Осенью 1987 года я впервые в жизни получил разрешение на две недели выехать за пределы «железного занавеса». И в первый же день в Мюнхене, когда мы бежали с сопровождавшей меня фрау Эвой из хореографического училища в театр, я увидел выставленную в киоске газету «Бильд», где огромными буквами стояло: «ГОРБАЧЕВ ТЯЖЕЛО БОЛЕН». Я рванулся к киоску, но фрау Эва сказала: «Мы и так опаздываем, а эту газету вообще не надо читать». Я сидел на репетиции, потом мне показывали видеозаписи, но, признаться, я плохо видел танцующих. И когда мы вышли из театра, я все-таки купил газету и пошел дальше, уткнувшись в нее.

Оказалось, что на первой странице только заголовок и несколько слов, а продолжение на шестой, где мелким шрифтом сообщалось, что в Москве ходят слухи о болезни Горбачева, основанные на том, что из отпуска он вернулся не самолетом, а поездом, вышел из поезда сам, но шел по перрону медленно... Все оказалось вздором! И когда я недоумевал, зачем писать на первой странице то, что опровергается на шестой, фрау Эва объяснила: «У нас очень строгие законы, вот газета и сообщает, что все это слухи, но, чтобы узнать, что это лишь слухи, вы купили газету и заплатили деньги!» Наши законы куда суровее немецких, но ни на какой странице опровержений, равно как и подтверждений, сообщения О.Семенчука, я не обнаружил. И в следующем номере тоже.

Или это нынче называется плюрализмом мнений? Но ведь то **мнений!**

Вот в номере от 28 июля Геннадий Селезнев пишет примерно то же самое: «С этими "демократами" нужно держать ухо востро. Они не так наивны, они научились облапошивать людей, спекулируя на их чувствах, играя на струнах больной экономики». Тут вопросов нет, я сразу понимаю — это мнение, поскольку заметка помещена в

«Дискуссионном листке». Правда, рубрика несколько вводит в заблуждение — «По следам событий», хотя речь идет о событиях, которые, по мнению автора, только еще произойдут осенью. Г.Селезнев предсказывает заговор страшнее того, что раскрыл О.Семенчук, и расписывает по часам действия заговорщиков, что и когда скажет, к примеру, по телевидению Анатолий Собчак. Особо опасная роль отведена Гавриилу Попову — в нужный момент он промолчит.

Телеграмма же О.Семенчука помещена не в подборке писем читателей, не в «Дискуссионном листке». Вынося ее на первую полосу как самую срочную весть, газета, так получается, подтверждает утверждения О.Семенчука своим авторитетом...

О.Семенчук пишет: «Я призываю советских людей быть бдительными, решительно встать на защиту перестройки во главе с Президентом СССР, Генеральным секретарем ЦК КПСС М.С.Горбачевым». Но разве, чтобы поддержать президента, надо выдумками возбуждать страхи, сеять тревогу в нынешней и без того напряженной атмосфере?

ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЛИ ПРАВИЛО

Когда в начале года советское гражданство было возвращено Галине Вишневской и Мстиславу Ростроповичу, меня охватила радость. За первым шагом просматривались благие намерения. Прозвучи в том первом указе и три последовавших потом, и 23 последовавших сейчас имени, радость была бы еще больше уже оттого, что сам первый шаг оказался бы решительнее. Не то чтобы сегодня радости вовсе нет, не то чтобы в нынешнем шаге нет благих намерений. Есть, конечно, есть. Но мы слишком долго ждем перехода от благих намерений к реальным переменам. И не только в экономике.

Общепризнано, что со многими нашими согражданами обошлись несправедливо, лишив их и возможности жить на родине, и самого гражданства. Эти две несправедливости в массовом сознании слились в одну. В указах особо говорилось о выдворении и особо о лишении гражданства. Президиум Верховного совета, совершая вопиющее беззаконие, имел вполне квалифицированных юристов, которые понимали, что изгнание и лишение гражданства — вещи разные.

Конечно, изгнание с родной земли несовместимо с Всеобщей декларацией прав человека, но его не Брежнев придумал. Оно предусматривалось и первым уголовным кодексом РСФСР, в котором приравнивалось к смертной казни. Оно практиковалось еще в древних Афинах. С 1960 года такого наказания в нашем уголовном кодексе нет, но, даже сохранись оно там, его мог бы назначить лишь суд. Сама высылка (а Солженицын или Буковский были вывезены, находясь под арестом, да и так называемый добровольный выезд был, как хорошо известно, добровольно-принудительным) — это акт внесудебной расправы, и именно в этом качестве как противозаконное действие административных властей высылка должна быть аннулирована, и не президентом вовсе, имеющим лишь право помилования, а генеральным прокурором или Верховным судом. Какое уж тут помилование! Ведь помиловать можно и наказанного справедливо, и помилование следовало бы, отменив сперва незаконные акты, предоставить скорее должностным лицам, не по своей воле осуществлявшим это беззаконие.

Совсем по-иному с лишением гражданства. Такая возможность по нашим законам и сегодня есть, да только законы эти неслыханные. Ими государство берет себе власть и Богу недоступную. Человек, кроме особых случаев, гражданином становится по рождению. Когда изгоняли из древних Афин — как правило, на десять лет, — не отнимали не только гражданства, но даже и собственности, остававшейся во время изгнания неприкосновенной. Мудрый закон не позволял правителям ради временных расчетов совершать поступки, навеки позорящие потом страну. Украшает ли нашу родину то, что еще Рахманинов и Стравинский, Бунин и Набоков, Кандинский и Шагал, Бердяев и Мартов, Шаляпин и Баланчин так или иначе остались без советского гражданства?

И ведь гражданство отбирают не только персонально, его подчас лишают разом целые категории лиц. 23-м оно, слава Богу, возвращено, а сколько человек в тот же день пересекло границу, отбывая в Израиль, — все они лишились гражданства автоматически, по специальному указу. Не в том ли дело, что они уехали на постоянное жительство? Да нет, навсегда уезжающие в Германию или в Грецию гражданства автоматически не лишаются, за ними остается возможность поразмыслить на месте, никто не торопится захлопнуть за ними дверь. А глядишь, среди уехавших сегодня тоже объявятся люди, которые прославят русскую литературу! И опять придется возвращать гражданство? Или, подобно Иосифу Бродскому, или Фридриху Горенштейну, или Борису Хазанову и другим, чьи сочинения дошли до широкой публики уже после их выезда, они в очередной указ не попадут? Согласно Всеобщей декларации прав человека каждый вправе покидать свою страну и возвращаться в нее. Конечно, и чтобы покидать, нужен еще закон о въезде и выезде. Но право возвращаться не менее существенно. Выдавая разрешение на выезд, разрешение на возвращение вместе с гражданством отнимают наперед.

Геннадий Черемных из отдела по вопросам гражданства и помилований Верховного совета уверяет, что единым актом тут ничего не исправить. «Известиям» он сказал: «Понимаете, многие люди давно уже за границей, у них своя жизнь, у них дети, а у детей советского гражданства не было никогда. А тут мы

издадим указ, вернем всем гражданство?.. Вполне возможно, что кому-то и не хочется этого». Но на следующий день в «Правде» он же сказал следующее: «Если же допустить... что не было согласия А.И.Солженицына на возвращение ему гражданства СССР, то что это меняет? Разве в этом случае не надо было отменять принятый в отношении его незаконный акт?» То-то и оно! Конечно, надо было.

Речь, понятно, не о том, чтобы кому-то навязывать советский паспорт. Государство лишь обязано отменить собственные противоправные решения, отменить прежние указы. И опять же восстановить правовой порядок президентскому указу, видимо, не под силу. Это Верховному совету надо раз и навсегда лишить кого бы то ни было права лишать других прирожденного гражданства и объявить недействительными все прежние акты такого рода.

Наш президент, как человек гуманный, в тех случаях, когда ему докладывают о выраженном кем-то хотя бы косвенно желании восстановить советское гражданство, такое желание удовлетворяет, и это можно только приветствовать. Но возвращение гражданства в отдельных случаях лишь подчеркивает случайность такого возвращения и, украшая главу нашего государства, стремящегося преодолеть кричащие нелепости вчерашнего дня, не украшает наше государство, в котором справедливости пора стать правилом, а не просто приятным или даже, как нынче, очень приятным исключением.

АНГЛИЧАНИН О РОССИИ

Книга Дэвида Веджвуда Бенна «Пропаганда и советская политика» основательно исследует историю советской пропаганды и ее методов. Интересы автора ориентированы на сегодняшнее состояние того и другого, и потому имена Виктора Афанасьева или Михаила Ненашева, виднейших организаторов советской пропагандистской машины, не говоря уже о Сулове или Ильичеве, в книге присутствуют, а, скажем, Вильгельм Кнорин или Иван Скворцов-Степанов даже не упомянуты. Однако само обращение западного человека к нашей агитационной литературе, прочтение им книг, брошюр и журналов, никогда не пользовавшихся у нас добровольным спросом, проясняет механизм советской пропаганды полней и наглядней, чем отечественные исследования.

Ознакомившись с системой политического просвещения, с разнообразными формами политической учебы, партийной, комсомольской, хозяйственной и прочей, охватывающей десятки миллионов человек, Бенн осознал важнейший принцип нашей прежней пропаганды: «пусть будет скучно, зато правильно», понял, что она отнюдь не заботилась о психологически точных методах убеждения и, вообще, об убедительности, тем упорнее стремясь наладить регулярную работу семинаров и школ политической учебы. Западному человеку это, конечно, кажется парадоксальным, но мы-то знаем, что подобная постановка дела адекватна всей нашей системе, предполагавшей не так личную активность, как всеобщую покорность и исполнительность.

Система политической учебы с преобладанием регулярного повтора утвержденных формул над их доказательностью была моделью ритуальной исполнительности. Формально, пусть даже лицемерно, повторяя положения нового катехизиса, человек признавал его священный характер, и ни скука, ни даже явная нелепость веры этому не мешали. Одновременно ритуал служил и другой цели — из открытого обихода устранялись «неправильные» суждения, проникающие в сознание уже в силу их отличия от предписанных. В этом и состояло коренное отличие советской пропаганды от западной, по слову Бенна, как пропаганды

принудительной от пропаганды манипулирующей. Если последняя стремится убедить, повести людей за собой, подчинить их себе или, по крайней мере, удержать от нежелательных действий, то в советской политической жизни все это достигалось совсем другими средствами.

Стоит помнить, что среди безликих наименований — Чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией или Комитет государственной безопасности, как раз в период становления сталинской системы возобладаало более откровенное имя: Государственное политическое управление, ГПУ, целью которого и под этим именем была отнюдь не политическая пропаганда, как таковая, а сведение на нет самого института общественного мнения.

Бенн пишет: «Классический марксизм исходит из того, что общественное мнение в конечном счете осознает необходимость революции. Уже Ленин думал иначе и полагался на революционный захват власти меньшинством, которое склонило бы потом большинство на свою сторону. Сталин отделался от проблемы общественного мнения, раз и навсегда объявив его единогласным». И хоть Гулаг, как почва и подоплека советской пропаганды, не занимает в книге большого места, ощущение, что он существует, в ней вполне отчетливо.

Присутствует в ней и ощущение того, что роль общественного мнения возрастает в кризисные часы. В авторитарных системах социальный кризис еще больше, чем в демократических, сопряжен с кризисом сознания. Ленин и Троцкий хотели убедить и часто убеждали. Горбачев и Ельцин тоже хотят убедить. Но Ленин и Троцкий убеждали, когда советская социально-экономическая система еще не установилась, а теперь она выразительно обнаруживает свою неубедительность.

Другое дело, в какой мере само общественное мнение при этом способствовало реалистической оценке событий и самооценке. И тогда, и теперь сказывалась предшествовавшая нормативная пропаганда — сперва самодержавно-, потом державно- охранительная. И недовольные легко попадались на удочки привычной крайности суждений, пусть и совершенно противоположных, но бескомпромиссных.

Бенн не упустил из вида, что и в после-сталинское время идеология лишь усугубляла свой ритуальный

характер, становясь все менее понятной людям, и не обошел того, что эту ее оторванность от реальности в начале перестройки критиковали даже такие реакционные фигуры как Егор Лигачев или Леонид Абалкин. Их признания тоже помогали гражданам ощутить, что идеология играет в советском обществе уже совсем иную роль, чем надлежало по Марксу играть миропониманию.

В обществе, провозгласившем достойным уважения лишь физический труд, мышление (а с ним и миропонимание) становилось номинальным. Новое мышление и сегодня не зря успешно преимущественно в международных делах, где противоречия очевидны, а во внутренних не может преодолеть старые стандарты, под которыми реальность остается неразличимой. Перестройка не случайно главным образом возобновила в сознании былые политические течения — черносотенные, монархические, либеральные или необольшеvistские, активно атакующие вчерашние догмы и ритуалы, но неспособные понять смысл протекших лет и приведшие к ним причины, и объяснить нынешнее состояние страны.

Былая пропаганда не только руку об руку с карательными органами поддерживала прежний порядок, но и по сей день сама по себе мешает его изменению, рождению нового сознания, обращенного к жизни, а не к утопиям, пусть и совсем другим. Актуальность книги Дэвида Веджвуда Бенна от этого, понятно, лишь возрастает.

СЛОВО О ГОРОДЕ

Я вышел к микрофону только потому, что никто из выступавших не сказал, какую дорогую цену наша страна за этот город заплатила, а ведь под каждым из домов, мимо которых вы проходите, лежат люди, погибшие при строительстве. Не так-то легко этот город стране достался. Но он был ей необходим. Не возникни он «из тьмы лесов, из топи блат», неизвестно, существовала ли бы та Россия и та русская культура, которую мы сегодня по праву называем великой.

Возможно, она все равно была бы великой. Когда вы видите иконы Рублева в Благовещенском соборе в Москве, вы соглашаетесь, что это великая культура, но все-таки другая.

Трагедия Ленинграда в том, что бесконечно много сделав для страны, этот город оказался ей не нужен в том качестве, в котором возник. Это, понятно, не значит, что он вообще ей не нужен. Его место в военно-промышленном комплексе без преувеличения может быть названо выдающимся, но той жизни, какой страна долгие годы живет, он не нужен, вот почему он обшарпан и захламлен. Для него и нынче актуален вопрос, обыденный в сталинское время: «Нужен ли я нам?»

Конечно, этот вопрос обращен не только к Ленинграду. Две недели назад съезд народных депутатов Российской Федерации в едином порыве встал, утверждая суверенитет России, ее самостоятельность. А все равно, и считающие себя демократами и их открытые противники больше всего боятся, что их заподозрят в заботе о республике в отрыве от Союза. Даже Россия, самая большая и многонациональная, не имеет права подумать о своих отдельных интересах, не сводя их к общим. Может ли в таком случае претендовать на это Литва? Может ли подумать о себе Ленинград?

Ленинград, которому не худо бы, конечно, быть вольным городом, подобно Гамбургу, не спасут благотворительные усилия сберечь его архитектуру. Если ограничиться этим, город превратится в мумию, — прекрасную мумию, но чтобы выжить, городу надо быть живым. Иначе его не спасти. Профессор Каган, конечно, прав, говоря, как ужасны новые дома в Ленинграде. Но это не архитектурная и не эстетическая проблема, а более

значимая, общественная. Дома, которые строятся на окраинах Ленинграда, вы увидите в любом советском городе. Они везде одинаковы. Ленинград разрывается меж своим замечательным наследством, своими художественными богатствами, которые еще можно видеть в музеях, и необходимостью себя подравнять, подстричь под общий стандарт, стать как все, проделать движение, обратное тому, во имя которого он был построен. И если думать не о бытовых условиях, которые во многих городах еще хуже, а в деревне и вовсе немислимы, можно сказать, что в этом городе жить особенно трудно.

Я благодарен даме из Голландии за то, что она вспомнила о евреях, ассимилированных в третьем и четвертом поколениях, но вынужденных сегодня покидать эту страну и свой город, хотя для них это самая большая трагедия, какая может быть. Но я их понимаю, полтора месяца назад я сам получил письмо, в котором сказано, что если я не уберусь «в свой поганый Израиль», из моей «воюющей шкуры изготовят прекрасный абажур».

Но хотя Ленинград особо усердствует по части разжигания антисемитских настроений, надо видеть, что трагедию вынужденного бегства испытывают здесь не только евреи, но и множество русских, особенно талантливых. Они тоже эмигрируют, хоть в большинстве не за границу, а чаще всего в Москву. И удивляться нечему, коль скоро, чтобы издать в Ленинграде книжку, надо получить утверждение в Москве. А ведь издать книжку проще, чем реставрировать старинный дворец.

Я думаю, что трагедия этого города не разрешится, если заботиться о нем по стандартам, которые сложились на западе. Дело не в том, чтобы добыть денег или выучиться каким-то способам реставрации. Если не изменится ход жизни, и деньги могут пропасть, и ученье впрок не пойдет.

Мы живем в богатой стране, народ которой умеет многое и способен выучиться тому, чего не умеет. Но мы все еще не знаем, сможет ли наша страна жить так, чтобы каждая ее часть была собой, и каждый человек был собой, чтобы страна стала не унитарной, не единообразной, а трехсотмиллионголовой. Тогда ей опять понадобится Ленинград.

Если мы научимся жить так, если вопреки всему такое стремление осуществится, Ленинград воскреснет, тогда и помощь пойдет ему на пользу. Другой надежды нет и не может быть. Нельзя пятимиллионный город превратить в заново отреставрированное и до блеска сверкающее надгробие. И не надо себя обманывать. Здесь говорили, что здания используются не по назначению. Но вот стоящее в центре города прекрасное здание Александринского театра, за памятником Екатерине, используется вроде по назначению, в нем по-прежнему работает театр. Когда-то он был знаменит на всю Россию, а нынче это один из самых плохих и самых реакционных театров в стране. На этом примере видно, что дело не в зданиях, дело в людях.

НАЛОГОВЫЕ НЕСКЛАДУШКИ

Дух беззакония не только в громких событиях, но и в таких скромных малостях, как инструкция по сбору налогов

Двадцать третьего апреля минувшего года был подписан закон о подоходном налоге, а двадцать первого мая — о государственных налоговых инспекциях. На жестокость обоих законов, на особенную их пагубность для развития культуры указывалось не раз, и я сейчас не об этом. Закон есть закон, плохой закон, но закон — мы часто утешаемся такими формулами, надеясь, что законопослушность послужит порядку и стабильности. Но о каком порядке может идти речь, когда государство, принявшее эти законы, тут же само их нарушает, требуя от налогоплательщика больше, чем предусмотрено законом.

Недавно опубликована инструкция налоговой инспекции о правилах подачи декларации о доходах, и уже правила эти противоречат закону. Закон введен с 1 июля 1990 года, в постановлении о его введении в действие специально оговорено, что плата за работы, выполненные до 1 июля, облагается по-старому. Но налоговая инспекция требует подать сведения о заработках за весь 1990 год. А ведь закон обратной силы не имеет, и у налоговой инспекции нет права требовать у граждан информацию, законом не предусмотренную.

По инструкции за сокрытие информации вся сокрытая сумма (не просто сумма налога, но вся сумма сокрытого дохода) подлежит изъятию, да еще, сверх того, налагается равный ей штраф. И не в том опять же беда, что кара очень уж жестока, а в том, что нигде не оговорено, что изъятие и штраф положены лишь за сокрытие доходов, подлежащих дополнительному обложению. Ведь по закону лишь доходы свыше 8400 рублей в год, то есть 700 рублей в месяц, облагаются дополнительным налогом. Так можно ли карать писателя, указавшего, что он заработал 3600 рублей, а на деле заработавшего еще тысячу? Ведь деньги он получает нерегулярно, то в кассе, то по почте. Получает и за работы, сделанные в 1990-м, и за 1989-й, а иногда и за более давние годы. И еще не привык вести учет всему получаемому — он и без такого учета знает, что до 700 рублей в месяц далеко не дотягивает, а за забытую тысячу положенный налог был полностью удержан издательством. Вот бы и штрафовать за сокрытие

превышения, требующего дополнительного налога, да и саму подачу декларации о доходах стоило бы требовать лишь при годовом заработке, превышающем границу в 8400 рублей. Тогда налоговой инспекции не понадобилось бы огромное число сотрудников, выполняющих бессмысленную работу и не приносящих государству ни копейки, но получающих неплохую зарплату. Остается думать, что правительству хочется перейти границу закона и отобрать у людей заработок, который дополнительному обложению не подлежит. Но это ведь открытый разбой, явное беззаконие! Но по инструкции так положено.

Опять же всюду в мире, где подаются декларации о доходах, в них непременно указываются и расходы на профессиональную деятельность, и они изымаются из облагаемых налогом сумм. Писатель нуждается в бумаге, в пишущей машинке, в компьютере, в ксероксе, в кабинете для работы. Ему приходится ездить туда, где действуют его герои, и это тоже требует расходов. Есть профессиональные расходы и у художника, и у композитора, и у лиц, занимающихся не творческой, но индивидуальной трудовой деятельностью. Не считается с этим значит подрубить такую деятельность на корню. Но этого наши налоговые инспекции и стоящие над ними министр финансов и премьер-министр, видимо, знать не хотят.

Опять же, требуя сведений о доходах в свободно конвертируемой валюте, налоговая инспекция совершенно не интересуется, были ли с них удержаны налоги по месту их выплаты. А ведь со многими странами Советский Союз имеет соглашения о недопустимости двойного налогообложения, и, выходит, налоговая инспекция пренебрегает не только нашими внутренними законами, но и международными соглашениями, заключенными нашей страной.

Все это не просто детали, задевающие меньшинство, хоть и не столь малое, советских граждан. Здесь проступает едва ли не главная черта нашей жизни. Закон — он сам по себе. Верховный совет его принял. Президент подписал. А.И.Лукьянов подписал постановление о вводе закона в действие. Все как у людей. Красиво. А на деле жизнь определяет не закон, а подзаконная инструкция

исполнительной власти, на этот закон не оглядывающаяся.

Сегодня твердят о необходимости усилить исполнительную власть. Но, как видим, она у нас и так сильна, сильнее всех прочих, и ничем практически не ограничена. Усилить-то как раз бы надо законодательную и судебную власти, чтобы исполнительная остерегалась пренебрегать законом. Говорят, что исполнительную власть затем и надо усилить, чтобы укрепить закон. Но ведь никакой гарантии, что она это сделает, не существует. Если министр издает инструкции, не сообразуясь с тем, что Верховный совет не давал ему права на противозаконные новации, если генерал вводит в город танки и открывает стрельбу по мирным жителям, не имея приказа ни своего министра, ни президента, но следуя просьбе самозванной группы людей, ни порядка, ни законности не прибавляется.

Исполнительная власть должна исполнять, и не более того. Стоит ей самой переступить тонкую грань закона, как разрушается само понятие о законности. Именно в таких повседневных малостях беззаконие становится привычным, набирает силу и губит великую страну.

ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ

Под самый новый год вождь ленинградских большевиков Б.Гидаспов писал в «Ленинградской правде»: «Город доведен до крайнего состояния. Никогда, даже в самые тяжелые времена, он не переживал того, что происходит сегодня». Здесь нет места углубляться в действительно тяжкое состояние города, не более, впрочем, тяжкое, чем состояние всей России или всего Союза. Но нельзя оставить без внимания это решительное «никогда». Ну, как же все-таки никогда? Неужто и в восемнадцатом году не было хуже? И разве не стократ хуже было в дни блокады? Или первый секретарь о ней позабыл? Но чтобы преодолеть тяжелое состояние, надо видеть его причины, видеть процесс, приведший к нему под мудрым водительством того самого обкома, который нынче возглавляет Гидаспов, а вместо этого нагнетаются сиюминутные страсти. Гидаспов не зря рекламировал передачу Невзорова о Литве, он и сам действует так же: вместо спокойного, всестороннего анализа реальности гнет свое, не считаясь с общеизвестным, словно его никто не знает.

Говорят, такая метода — свойство большевизма, но совершенно так же движется зачастую мысль его сегодняшних противников. Взять хотя бы тоже под новый год опубликованное «Огоньком» интервью с В.Солоухиным. Не скрою, некоторые суждения Солоухина мне ближе, чем суждения Гидаспова: конечно, и законную власть надлежало устанавливать Учредительному собранию, и «ошибочна была главная идея: путем насилия, концлагерей, расстрелов, обманов, уморения голодом построить на земле счастливую жизнь, светлое будущее». Я и сам не раз писал о том же. Но вот читаю у Солоухина: «Когда нам хотят доказать, что крестьянство в России бедствовало, что Россия была нищей страной, то хочется спросить: откуда же взялись шесть миллионов (или сколько их там было?) зажиточных хозяйств для раскулачивания?», и опознаю то же, гидасповское, стремление к одномерности. Была, дескать, Россия процветающей страной, а злодеи-большевики принялись ее губить! Между тем хорошо известно, что едва ли не большинство раскулаченных воевало за большевиков, которые сперва дали им землю, потом обложили эту

землю невыносимой продразверсткой, потом заменили продразверстку нормальным продналогом, и лишь потом, уже после смерти Ленина, безвозвратно землю отобрали. Не в оценке раскулачивания ошибается Солоухин — оно, конечно, было и незаконным, и пагубным для страны, а в предположении, будто крестьяне благоденствовали в царской России. Да будь оно так, большевистская революция не получила бы поддержки крестьянства, а Добровольческая армия, поднявшаяся против большевиков, напротив, ее бы обрела! Скажи Солоухин, что тяготы деревни, изображенные Львом Толстым, Глебом Успенским, Чеховым или Буниным, в новом обществе не только не облегчились, но вскоре еще более усугубились, что за наивную надежду на всемогущество насилия были напрасно положены миллионы мужицких голов, — спорить было бы не о чем. Но ведь у него выходит, что не только Ленин, обманываясь сам, вольно или невольно обманул доверившуюся ему русскую деревню, но что и великие дореволюционные писатели лгали, а это уже явный перебор.

Нет, не так все просто. История — не воплощение замыслов того или иного человека, даже сверхгениального, или какой-то партии, а плод сложного взаимодействия сил и интересов миллионов людей, лишь отчасти постигаемого наперед и самыми выдающимися государственными мужами. И надо не просто верить или не верить Ленину или Горбачеву, но сознать клубки противоречий, между которыми история движется, понимать, что серьезные события, да еще опять и опять возобновляющиеся, имеют причины, и в то же время понимать, что последствия этих событий — отнюдь не неизбежное следствие начальных причин, и никогда нельзя сказать: «Иного не дано!». Историческое сознание уцелевает в промежутке между верой в абсолютное предопределение и верой в неограниченную свободу воли. Оно исходит из ощущения целостности, и нам трудно его обрести, поскольку мышление советского человека расщеплено. Одни печатают в солидном вроде бы журнале, что устойчивые словосочетания «самодержавно-полицейский режим» или «российские условия насилия и рабства» — всего лишь «клише», от которых надлежит избавляться. Другие с прежней твердокаменностью славят коммунистическую партию и

социалистический выбор, слышать не желая, что на деле под социалистическим ярлыком происходило. И за этим демонстративным противостоянием остается незамечаемым сходство спорящих, хотя броским антикоммунистическим тирадам Невзорова уже поддакивает сам депутат В.Алкнис, еще недавно виновный генсека КПСС в отступлении от идеалов.

В апреле 1917 года Горький писал: «Старая власть была бездарна, но инстинкт самосохранения правильно подсказывал ей, что самым опасным врагом ее является человеческий мозг, и вот, всеми доступными ей средствами, она старалась затруднить или исказить рост интеллектуальных сил страны». Это сказано о царской власти, но в равной мере относится и к советской. О, конечно, она способствовала всеобщей грамотности и обучила немало квалифицированных специалистов в естественных и технических науках. Но конем не объедешь и того, что даже эти науки подвергались у нас разрушительному воздействию властей и самое понятие о научно-технической революции с трудом внедрялось в умы. А ведь именно она радикально изменила социальные отношения и обесмыслила мессианское назначение пролетариата, способного якобы всех осчастливить, не считаясь ни с крестьянством, ни, тем более, с какой-то там «прослойкой» — интеллигенцией, эту революцию как раз и совершающей. Выяснилось, что, заиклившись на классовой борьбе, несомненно, происходящей, и пренебрегая классовым компромиссом, рабочий класс и свои-то беспспорные права отстаять не может, отчего в буржуазном демократическом государстве живет лучше, чем в пролетарском, возглавляемом всеведущим и всевластным вождем, как бы он там официально ни именовался. У нас верят, что жизнь меняется от перемены названий, но пренебрегают смыслом этих названий и этих перемен. Слово «русскоязычный», в разговорах о России давно обозначающее нерусских, ассимилированных инородцев, прежде всего евреев, в разговорах о Литве вдруг обозначает нелитовцев, то есть прежде всего именно русских, и уже вместе с ними прочих. А в Литве как раз инородцы далеко не все русскоязычные, поляки родной язык сохранили, да и евреи — одни ассимилированы русской культурой, но другие — литовской, не говоря уже о сохранивших еврейскую, и

объединяет их, пожалуй, лишь нарастающее стремление эмигрировать*. А задумались бы над причинами разночтения слова «русскоязычный», в одном месте исключаящего из себя русских, в другом — включающего их, и обнаружилось бы, что за национальными распрями сегодня стоит не столько национальная непримиримость, сколько конфликт всесоюзной хозяйственной монополии с местной властью, естественно опирающейся на национальную общность там, где таковая есть. Русский город Ленинград находится с хозяйственной монополией не в меньшем конфликте, чем Литва, но поскольку у него национальной опоры для противостояния нет, он хватается за проекты свободной экономической зоны, словно может спастись отдельно от России. Но государственная монополия уже подсекла наперед этот порыв к самостоятельности, объединяя в особое ведомство всю ленинградскую промышленность, способную при поддержке сверху сообща пересилить местную власть, выражающую интересы граждан города.

Само собой в противостояниях всеобщей монополии и частного человека всплывают и застарелые национальные споры и несправедливости административно-территориальных делений. Но

* В этой связи приходится вспомнить пассаж из статьи профессора Гулыги в «КО» № 46, возражать на которую в целом я не вижу нужды, поскольку контрдоводов там нет, а «только злопахительство». Милостиво разрешая мне и дальше проживать в родной стране, профессор ставит, однако, условие: «Только, пожалуйста, без семейных сцен и истерик!» Истерикой именуется краткое перечисление проявлений антисемитизма, с которыми мне в моей жизни пришлось столкнуться. Профессор, как в разгар борьбы с космополитами Молотов, требует считать, что «антисемитизма у нас нет». И это требование принципиальное. Ведь антисемитизм существует не только в России, но и в Германии, и во Франции, и даже в США. Отличие тамошней ситуации от нашей прежде всего в том, что там о шевелении местного фашизма говорят открыто, с ним борются — и не только евреи, которым к тому же это никак не запрещено, но широкая общественность и государственная власть. По Гулыге, же оставаться в России можно только согласившись делать вид, что у нас гитлеровским духом и не пахнет, и антисемитизма нет, то есть, признав его правомерность. Но именно это невозможно, и выставленное профессором условие, конечно, заставит призадуматься многих, кто отвергал мысль об эмиграции, надеясь, что и российский антисемитизм, если открыто показать, кто и зачем его разжигает, схлынет. Как видим, в стране имеет место не «утечка умов», о которой нынче охотно пишут, а «вытеснение умов» (и не обязательно в эмиграцию), проводимое, понятно, не в интересах страны, но в интересах вытесняющих.

признаем все же, что оживившиеся с первыми веяниями свободы национальные распри имеют общую причину в централизованном пренебрежении правами местных жителей. Казалось бы, демократическая перестройка должна прежде всего ослабить это противостояние, а нет! Отчего бы? Не оттого ли, что перестройка изначально предполагала не демократию, но лишь демократизацию, частичный и временный социальный компромисс!

Алла Латынина пишет, что «перестройка — официальная политика, что Горбачев — президент, и оппозиция справа — все-таки оппозиция», и представляет в качестве оппозиционеров В.Белова и В.Распутина вместе с воинствующим большинством VII съезда писателей РСФСР, специально даже оговаривая, что «быть 'демократом' сегодня, если уж на то пошло, куда выгоднее, чем быть консерватором». Все это напечатано во второй тетради того же номера «Литгазеты», где в первой сообщается о событиях в Вильнюсе, прояснивших официальную политику и выгоды пребывания в «демократах», уже подвергающихся обстрелу. Но случайно ли именно перестройка вознесла Распутина в Президентский совет, а Белова — в ЦК КПСС, которым он и был избран в народные депутаты? Не звали ведь в Президентский совет ни Юрия Власова, ни Галину Старовойтову! Да и будь Белов с Распутиным оппозиционерами, они, как честные люди, отказались бы от своих высоких постов. Но ведь не отказались, прекрасно понимая, что вовсе они не оппозиция президенту, что их взгляды как раз он в основном разделяет, а если есть какие-то несовпадающие оттенки, так ведь практический политик самой природой побужден к большей маневренности, чем идеологи или вдохновляющие его писатели.

Но не одна Алла Латынина, подчеркивающая свой «нонконформизм», равноудаленность от «демократов» и «правых», отождествила Горбачева с демократами. Уже говоря, что перестройка «расстреляна в Вильнюсе в ночь на 13 января», деятели культуры и науки, в числе которых Ю.Афанасьев, А.Емельянов, Л.Карпинский, Е.Яковлев и другие видные демократы, признают: «Мы надеялись, что он (М.С.Горбачев) станет опорой демократии». А ведь М.С.Горбачев никогда не скрывал своей нерушимой приверженности построенному у нас социализму и

существующему Союзу, в котором центр распоряжается республиками по своему усмотрению. Стало какой-то доблестью гордиться своей недалёковидностью и покаяниями в ней!

Подобным же образом в Ленинграде удивлялись, что митрополит Иоанн запретил поминальные службы по Сахарову, словно церковь когда-нибудь сочувствовала опальному академику при жизни. Удивлялись и подписи святейшего патриарха Алексия под известным письмом 53-х, призвавшим объявить чрезвычайное положение, на которое отозвались танками в Вильнюсе, словно церковь не поддерживала государство даже тогда, когда оно ущемляло ее собственных политически инакомыслящих служителей. Отнюдь не разделяя взгляды ни митрополита Иоанна, ни патриарха Алексия, ни президента Горбачева, я вынужден все же отметить, что все они действовали в полном соответствии с принципами и установками тех организаций, к которым принадлежат: первые двое — русской православной церкви, а третий — Коммунистической партии Советского Союза, и неожиданны их действия или заявления лишь для тех, кто от этого отвлекается.

М.С.Горбачев выступил в 1985 году как лидер наиболее дальновидной части КПСС, осознавшей, что сложившийся под ее водительством порядок обрекает страну на отсталость в состязании с западным миром, что даже умноженная гонка вооружений, предпринятая при Брежневле ценой разорения страны, не помогает одолеть качественное отставание, не исчерпывающееся собственно военным производством. Чтобы избежать немедленной катастрофы, он произвел известные изменения в общественном порядке, никак, разумеется, не замахиваясь на то, чтобы заменить этот порядок иным, но лишь на то, чтобы его перестроить.

Сейчас, особенно после Вильнюса и Риги, и у нас, и на Западе вспомнили, что частичное улучшение нашего социализма невозможно, что страну спасет лишь радикальный отказ от авторитарной власти и переход к политической и экономической демократии. Но именно к демократии, а не к иному авторитарному порядку под иным флагом. Невзоров откровенно назвал омовцев и армейцев в Вильнюсе и Риге белой гвардией под красным знаменем. Так завершается наш социализм, начавшийся

преждевременными родами и, соответственно, выросший по образу и подобию феодального абсолютизма. Единой и неделимой уже не спрятаться за продырявленным знаменем социалистического интернационализма, которое долго спасало ее от развала. Потому-то полковник Алкснис или писатель Солоухин, как искренние люди, и готовы отбросить социалистическую этикетку, ничему в нашей реальности не соответствующую и лишь побуждающую задавать лишние вопросы о дружбе народов или социальных гарантиях.

Слабость нашей демократии предопределена атакой на нее с двух сторон. С одной — партия, поныне уверяющая, что, вопреки всем прежним заблуждениям и преступлениям, она знает дорогу к коммунизму и когда-нибудь к нему приведет. С другой — государство, простершее свое оружие и на Кубу, и в Африку, и на Ближний и на Дальний Восток и, естественно, не имеющее возможности еще и о своих гражданах позаботиться. Партия ссылается на плодотворность революций, прежде, впрочем, заключавшихся в отвержении старого и открытии свободы новому, а не в насаждении этого нового железной рукой, и она с гордостью указывает на в самом деле бескорыстных коммунистов, погибших, однако, в Гулаге. Государство же пропагандирует незыблемость российского царства, добродетели Николая и благополучие русского крестьянства чуть ли не при крепостном праве. Если забыть о единстве нашего партийно-государственного механизма, вроде бы меж сталинистским социализмом и николаевским монархизмом есть различие. Вот наши демократы и не вникли в сравнение хрена и редьки, выступающих заодно. Отсюда ложное понимание расстановки социальных сил, иллюзии и запоздалые покаяния.

Существенны, конечно, не вздохи и не намерения, а реальные дела. Когда Горбачев выводил войска из Афганистана, способствовал гласности или призывал к созданию реальной экономики, стоящей на стоимостных отношениях, демократы его поддерживали, и правильно делали. Политика немыслима без компромиссов, особенно в трудные времена. Более того, голоса разных общественных слоев, раздумывавших, не окажется ли перестройка подобна прежним номинальным реформам, побуждали Горбачева учиться на ходу и даже вроде

признать, что директивное хозяйство, именуемое у нас почему-то плановым, хоть ничего более хаотичного свет не выдывал, улучшить невозможно.

Однако Горбачев, идя на компромисс с демократией, от своих коммунистических убеждений не отступался, а многие демократы, хоть и обличали коммунизм, и выходили из партии, по ходу компромисса от демократических убеждений отступались, а то и вовсе их не имели. Одни ударялись в монархизм, другие — в разъяснение достоинств просвещенной авторитарности, третьи ратовали за учреждение президентской власти, дискутируя лишь, выбирать ли президента сразу на съезде или всенародно. А там уж как по маслу покатилося предоставление новых полномочий, чрезвычайных полномочий, дополнительных полномочий. Вот демократическое волеизъявление, которому мы обязаны всем хорошим, что пришло за эти годы, и стало все меньше значить для власти. Оно как бы перепоручило свою волю президенту, воплотилось персонально в его лице, отказалось от прямого и повседневного представительства. Между тем в самом возвышении над союзом государств, каковым наша страна, пусть формально, все же считалась после 1922 года, единого президента, повелевающего всеми республиками, которых у нас фактически даже не пятнадцать, а, может быть, сорок, уже таились все нынешние конфликты. Дело не в личностях, и требующие отставки Горбачева зря надеются, что если на его месте окажется Янаев или даже Ельцин, конфликты сгладятся. Нет уж, либо союз, содружество, координация, взаимные уступки, компромиссы, либо президент, единство государственной воли, высшая власть, пренебрежение отдельным, особенным, национальным, личным во имя общего, словно общее может существовать, растоптав все отдельное.

На этом наши демократы и споткнулись. А.Ципко, тоже числящийся демократом, прямо пишет об «изначальной утопичности идеи о государстве как союзе суверенных республик». И заявляет, что «Союз получит шансы на выживание тогда лишь, когда президентом Союза будет президент России... В наших же условиях, когда президент, сидящий в Кремле, олицетворяет тысячелетнюю историю России, он, на мой взгляд, имеет

больше прав на власть над Россией, ибо она центр страны, ее основание». Выходит, даже и Россия должна по-прежнему приноситься в жертву чему-то сверхроссийскому и не вправе сама позаботиться о своих интересах и гражданах. Может быть, так думает лишь Ципко, этот Невзоров от теории?

Но вот и Гавриил Попов выговаривает прибалтам, переставшим посещать съезды народных депутатов, что они, дескать, сами виноваты в последствиях. Но не принялись ли они решать судьбы своих народов самостоятельно, ощутив на первом же съезде народных депутатов, что эти судьбы будут принесены общесоюзными демократами в жертву каким-то, несомненно, важным общесоюзным проблемам, и литовцам придется одним выходить не только из зала заседаний, но и из Союза. За них тогда никто не вступился, и нынче, уже после стрельбы, Г.Попов не счел нужным хотя бы вспомнить, что декларация Литвы о выходе из СССР была принята в полном соответствии с действовавшим тогда законодательством, и, в частности, статьей 72 конституции СССР, и нарушают конституцию не литовцы, а центр. Да и гневные речи А.Собчака против бесчинств в Вильнюсе стоит сопоставить с его выступлением на съезде народных депутатов в защиту поспешного избрания президента. И ведь не то что вообще никто не понимал смысла происходящего: и наша скромная газета предостерегала, и Л.Баткин в «Литературке» деликатно, но твердо возражал апологиям авторитарности, но слушать никто не хотел. Да и сегодня только у С.Шаталина хватило духа признаться в собственной беспринципности, а не валить все на Горбачева и его генералов, чья вина лежит на поверхности.

Модно объяснять, что на Горбачева давят, — не то генералы, не то «партократы», и не то чтобы вовсе без этого. Тактическая одаренность Горбачева, конечно, раздражает его прямолинейных единомышленников и товарищей по партии. Полковник Алкснис даже заявил: «Президент нас предал». Но ведь это неправда. Если было, как рассказывает Алкснис, значит, Горбачев надеялся, что армия под покровом ночи овладеет положением без лишней крови, и к утру можно будет сказать, что так и было. Полковнику недостает честности

признать, что нарушил план вовсе не Горбачев, а десятки тысяч безоружных литовцев, готовых умереть у стен своего парламента. Просто Горбачев, в отличие от Алксниса, понял, что цепная реакция от расстрела десятков тысяч была бы уже неуправляема и необратима. Алкснису бы не в предательстве винить президента, а кланяться ему за покровительство. Ведь осерчавший полковник тут же объявил, что «армия перейдет на автономный режим», то есть объявил о готовности армии выйти из повиновения законным властям. Это — прямое нарушение присяги, и за ним должно бы последовать как минимум разжалование. Но президент, поднявшись над личными обидами, не дал в обиду темпераментного полковника, и такой снисходительности нет другого объяснения, кроме идейной близости.

А нам болтают вздор об угрозе военного переворота! Но с чего ему стать военным? Армия, конечно, орудие всякого переворота, но не обязательно его источник. Сколько бы ни было в нашей армии реакционеров в генеральских и маршальских мундирах, им не отменить тот объективный факт, что армия более всех заинтересована в радикальных переменах хозяйства, без которых она обречена, если, не дай господь, придется воевать не только против собственного народа, а против возможного агрессора, каковым, как показывает жизнь, ныне доступно стать отнюдь не только другой сверхдержаве. Отказ от экономических и политических реформ — это в первую голову подрыв боеспособности армии, на что обратил внимание советского народа еще Матиас Руст. От этого могут, конечно, отвлекаться отдельные маршалы, в глубине души надеющиеся, что сегодня военной угрозы нашей стране не существует, но армия, ее офицерский корпус, отвлекаться от этого не может просто потому, что не знает, куда виленские танки вывезут нашу внешнюю политику завтра. В чине полковника, не говоря уже о более высоких, можно бы не сводить к чисто тактическим коренные стратегические проблемы.

А от них куда не уйти. У стен литовского парламента и телебашни шел все тот же бой, в котором под аплодисменты съезда народных депутатов во главе с Горбачевым Сахарова атаковал майор Червонописский. И если вопреки той страшной сцене, которая, конечно, и

убила подлинного патриота и подлинного демократа, сделавшего к тому же для обороноспособности больше, чем все глумившиеся над ним маршалы и генералы вместе взятые, потом произошли ощутимые положительные перемены, значит, причины, толкнувшие страну к перестройке, а дальновидную часть коммунистов — к компромиссу с демократами, продолжают действовать, и власти вынуждены считаться с тем, что безоружные люди идут на смерть, не будучи в силах дальше так жить и тем более дальше так работать, что для властей все же должно быть важно. Хоть правый переворот и без армии совершить, как мы видели, не так трудно, разрешить хоть какую-то из насущных проблем страны он не может.

А если нигде, кроме Прибалтики, охотники стоять за человеческую жизнь не сыщутся, и останется лишь ожидать, какие еще денежные операции предпримет наш изобретательный премьер, мы по крайней мере осознаем смысл старого речения о том, что всякий народ достоин своего правительства. Но покуда кириллин день не кончен, надо бы не искать очередного козла отпущения, каким уже готовы объявить Горбачева, а раз и навсегда отказаться от культа исполнительной власти, поставить законы выше инструкций, полагаться не на милость начальства, а на справедливость независимого суда и, главное, отделить хозяйство от государства. Горбачев дальше любого советского лидера, не считая умиравшего Ленина, продвинулся к осознанию несообразности нашего военного коммунизма с нуждами развития страны, но, к сожалению, еще меньше, чем Ленин, продвинулся в устранении государственных помех развитию. Между тем в промежутке произошла научно-техническая революция, требующая свободы и гарантий для отдельного человека и делающая применение силы в конечном счете самоубийственным для тех, кто все еще ищет в нем спасения. Потому-то единственным способом мирно разрешить противоречия общества и оказывается демократия, но слишком мало у нас демократов, слишком они прекраснодушны и доверчивы. В этом смысл не в первый раз преподанного отечеству урока. Неужто опять ничему не научимся?

МЫ МЕНЯЕМ ИМЕНА

Мало что переменялось. Зато очень многое переименовалось

12 июня, выбирая президента России, ленинградцам, видимо, придется одновременно решать, называться ли городу и дальше Ленинградом или восстановить изначальное название Санкт-Петербург.

Я, конечно, отдам голос за Санкт-Петербург, поскольку убежден, что города должны носить те имена, под которыми их знали страна и мир. Нелепо давать Киеву или Москве, Афинам или Риму новые, пусть даже самые достойные имена. Правда, — меня смущает в старом названии это самое «Санкт». Петр назвал город по своему святому покровителю, однако в сознании жителей город связан все же не столько с бедным рыбаком, две тысячи лет назад примкнувшим к Иисусу из Назарета, сколько с русским царём, заложившим этот город, чтобы примкнуть к Европе, вернуться в европейский дом. Но, кроме официальных случаев, город и звали обычно просто Петербург, а граждан просто петербуржцами. Надеюсь, так будет и теперь, когда схлынет ажиотаж.

Но ажиотаж примечателен. Даже Солженицын из своего американского далека предостерегает от восстановления прежнего названия и советует вслед за государем Николаем Александровичем город все-таки переименовать, обойтись без немецкого «бург», словно тогда, в начале XVIII века и после, обходились без немцев, итальянцев, прочих иностранцев, словно не окно в Европу здесь прорубили. А ведь я еще помню, когда восьмилетним мальчишкой впервые приехал сюда из Москвы, на Васильевском то и дело слышалась немецкая речь. Не в ладах с историей и уверяющие, что Ленинград — это город великого Ленина. Ленин из своих 54-х до 1917 года в два приема прожил тут лет пять, а потом — меньше года: от апреля 17-го до марта 18-г. Ленин сын Волги (Симбирска, Казани), а не Невы. Словом, есть о чем поспорить, если более актуальных проблем не осталось.

Но не стоит думать, что такие споры никому не выгодны. Еще как выгодны! Уже шесть лет признано, что дальше так жить нельзя, но кроме того, что мы обрели драгоценнейшее, понятно, право это говорить, не так уж много переменялось. Зато очень многое

переименовалось. Переименования выдают за перемены, обсуждением переименований подменяют обсуждение перемен. Но от того, что городу вернут бывшее имя, разве перестанут черные «волги» ездить за указаниями в Смольный? Или появятся овощи на прилавках? Или Большой дом — управление КГБ — освободит хоть часть занимаемых им кварталов? Или деньги, утекающие из города, обратно потекут? Энтузиасты верят в магию переименований. «Ну не могу я представить, скажем, санкт-петербургским обком КПСС», — заявил недавно самый пылкий. Но вот Архангельский обком КПСС десятилетиями благополучно здравствует, и сам архангел Михаил, предводитель небесного воинства, ему не помеха. Мы спорим о словах, не заглядывая, что за словом.

Подобным манером спорят, сохранять ли социализм или признать дедушкины надежды несостоятельными. Какие баталии, кого только не вният в отступничестве! А я все пытаюсь вставить: «Да нет и не было у нас социализма, а было и есть крепостное право, разве что подрумяненное, государственное». Давайте обсудим, как от крепостного права избавиться, чтобы люди волю обрели, землю, на себя работать стали, а они разберутся, надобен ли им социализм, возможен ли он уже у нас, и когда, и какой. Или говорят: нужен суд над КПСС! А я все пытаюсь вставить: какой еще суд, когда история приговор уже вынесла. Не ведет тотальное коммунистическое господство ни к большему техническому прогрессу, ни к большей производительности труда, и все-тут, не говоря о прочем. Где ни пробовали, не ведет. И дело не в том, чтобы осудить тех, кто надеялся, что поведет (другое дело, если они вершили конкретные преступления), и не в том, чтобы вместо прежних начальников поставить торопливо перекинувшихся в беспартийные ряды, а в том, чтобы самый этот внеэкономический порядок преодолеть, отделить хозяйство от государства, законодателей от исполнителей, судей от омовцев, чтобы не была вся власть и вся жизнь в одном кулаке, чтобы человек не был со всех сторон обложен и не текли его слезы все к одному бесчувственному дорогому товарищу Сталину или Брежневу. А об этом разговор не клеится, никто на референдуме не спрашивает народ, сохранять ли хозяйственные монополии-министерства или

предоставить заводам и фабрикам независимость, разрешить ли партиям ворочать миллионами или пусть внедряют свои идеи бескорыстно? Мы меняем имена, оставляя жизнь в неприкосновенности скудения.

Открыть бы разнообразные культурные центры, да не только местные, а представляющие наши республики и зарубежные страны, чтобы все флаги в гости были к нам и можно было прочесть свежую газету из Еревана и Баку, из Вильнюса и Казани, из Франкфурта и Лондона. Раздвинуть бы Эрмитаж и Русский музей, отдать им наконец дворцы, занятые райкомами и конторами, и развесить там постоянные экспозиции из необозримых запасников! Да мало ли что можно сделать, чтобы город наш не поражал приезжего лишь дивной красотой разваливающихся зданий. не тускнел. Чтобы вновь был тем, для чего построен, — ах, не столицей, не скопищем запечатленных Гоголем канцелярий, а могучим истоком русского европеизма, вольной мысли и совершенства.

Скорее всего 12 июня большинство выскажется за Санкт-Петербург. И я тоже, — если спросят, надо отвечать что думаешь. Но не приходится думать, что в жизни города хоть что-то от этого изменится к лучшему.

У ВРАТ ДЕМОКРАТИИ

**Провалившаяся на выборах партия должна уйти.
Но не в тюремные камеры, как бывало, а в
оппозицию.**

Борис Ельцин победил, потому что народ России хочет безотлагательных перемен. При всем разнообразии отдавших голоса Ельцину один довод был общий: Ельцин явно противостоял остальным кандидатам, желавшим в смягченном или ужесточенном виде удержать прежний порядок.

Но вера в необходимость всеобщего морально-политического единства, в существование одинаково приемлемого для всех выхода из кризиса жива. В массовом сознании трагически переплелись уцелевшая от государственной идеологии уверенность в бесклассовости нашего общества и неприятие напоминаний о связи хозяйственных и социальных отношений. Политологи опять вытесняют социологов. Говорить об общественных классах стало почти неприлично. Но уже мало обнаружить в советской социальной структуре новации, — да и Джилас, на весь мир заговоривший о них почти сорок лет назад, не был первооткрывателем. Необходимо понять, что классовая борьба не обязательно быть бескомпромиссной, что шестеренки социальной структуры эффективны во взаимодействии, но не порознь. Маркс по крайней мере полагал, что наемные рабочие обойдутся без предпринимателей, когда потенции тех исчерпаются. Его отечественные последователи решили, что, совершив социалистический выбор, можно в любой момент заставить часть прежней структуры быть эффективней целого. И это засело в головах.

Бедная палитра

Разорение страны многие нынче объясняют утопизмом Ленина, свирепостью Сталина, невежеством Хрущева, бездарностью Брежнева, мнимой нерешительностью Горбачева, а сами по-прежнему отождествляют свои классовые интересы с всеобщими, не желая замечать объективные потребности других общественных слоев, что как раз и подрывает органичное

функционирование социальной системы и создает нужду в искусственных стимуляторах.

Всенародные выборы затем только и нужны, чтобы прийти к социальному компромиссу, без которого общество нежизнеспособно. В избирательном состязании должны участвовать все социальные группы — лишь тогда выясняется, кто способен лучше учесть противоречивые интересы разных, необходимых обществу слоев. Ельцин тут явно превосходит остальных, однако сама эта задача не была по ходу выборов отчетливо выявлена, поскольку соперничали лишь разные люди, но не прямые представители разных сословий и классов или, если угодно, разных партий с определившимися программами.

Нас уверяли, что партия, правившая семьдесят лет, отказалась от монополии на власть. А ведь и без 6-й статьи она по-прежнему правящая, в ней состоят и президент, и председатель Верховного совета, и премьер-министр, и генеральный прокурор, и председатель Верховного суда, и, за единственным, кажется, исключением, все союзные министры. Да и вышедшие из партии — это беспартийные большевики, не свободные от стереотипов прежнего мышления. Конечно, как заметил на пленуме ЦК Горбачев, внутри КПСС сегодня действуют три или четыре партии. Но у этих разных партий общий генеральный секретарь. Произойди на 19-й партконференции или на XXVIII съезде раскол на сторонников и врагов нового курса, политическое содержание избирательных кампаний стало бы отчетливее. Бакатин не оказался бы оппонентом Ельцина, и два генерала — простодушный Макашов и более политичный Громов, озаренный сладкими улыбками Рыжкова, — тоже вряд ли бы соперничали.

В Польше избирательная палитра была все же полней. И там возникла странная лишь на первый взгляд фигура Тыминьского, аналогичная вырвавшему третье место Жириновскому, и там баллотировались сторонники прежнего порядка. Но дальше сходство слабело. Рабочему лидеру Валенсе, открыто противостоявшему прежнему порядку, к которому он был не причастен, наш Ельцин соответствует лишь отчасти — все-таки из секретарей обкома. И, главное, вовсе отсутствовал у нас кандидат, аналогичный Тадеушу Мазовецкому, непосредственно представлявшему демократическую

часть общества. Конечно, он и в Польше собрал лишь 17 процентов и призвал своих сторонников во втором туре голосовать за Валенсу против Тыминьского. Будь, скажем, у нас выдвинут кандидатом в президенты России Сергей Ковалев, в подобной ситуации он тоже наверняка призвал бы нас, отдавших ему голоса, во втором туре голосовать за Ельцина, что мы и сделали бы, и результат был бы таким же. Но демократическая тенденция обрела бы определенность и стала бы залогом того, что реформы не будут принесены в жертву никаким другим соображениям. Ведь и позиция Горбачева в начале нынешнего года сместилась не под давлением «злых» генералов, на деле лишь исполнявших приказы, иначе они давно были бы разжалованы, а от того, что за Горбачевым изначально не было демократической организации, хотя бы организации демократически настроенных коммунистов, избавлявшейся не от реформатора Шаталина, а от консерваторов, не поступающих принципами.

О пользе благонамеренных консерваторов

И наша, и зарубежная печать записывала в демократы всех желавших перемен. Между тем цель перестройки состояла в спасении терпящего крушения общественного устройства. Наивно думать, что не начнись она тогда, все еще длились бы веселые брежневские дни. Хозяйственная нескладница ускоренно углублялась с середины 70-х, и даже, такой любитель порядка, как Романов, не мог его навести. При нем Ленинград — лучшее воплощение нашего государственно-промышленного комплекса — скудел неотвратимо. Конечно, большинство консерваторов — а так везде называют сторонников терпящего фундаментальный кризис общественного устройств, — как и до 1917 года, верило, что зло — от смутьянов, диссидентов, а на них управа найдётся. Но мыслящая часть высшего эшелона — то есть и Горбачев, и Яковлев, и Ельцин, и их единомышленники — видели свой долг в том, чтобы спасти от надвигающейся катастрофы страну и вместе с ней партийных реакционеров, которые но слепоте своей их же и поносили.

В недемократических обществах реформы обычно и проводят мыслящие консерваторы. Прусские министры

Штейн и Гарденберг, люди довольно консервативные, сознавали, что война с Наполеоном и крепостная зависимость крестьянства, даже не столь тяжкая, как в России, несовместимы. Их реформы предопределили возвышение Пруссии и возглавленное ею потом объединение Германии. Россия нуждалась в реформах еще острее, но они так и не были проведены, и Крымская война подтвердила, что храбрая и талантливая армия обречена на поражение, если общественный строй тормозит развитие хозяйства.

Приход к власти хотя бы в одной РСФСР такого человека, как Ельцин, из мыслящего консерватора выросшего в явные либералы, весьма отраден. Политика либеральных реформ, не только провозглашаемых, но и на деле осуществляемых, послужит формированию подлинного политического центра, по отношению к которому консерваторы — и мыслящие, прогрессивные, и неразумные, реакционные, — составляют правый фланг. Но для устойчивости либеральному центру недостает левого, демократического фланга, и его отсутствие может стать роковым.

Пора признать, что без возрождения во всей полноте политического спектра, без равных возможностей для консерваторов, либералов и демократов отстаивать свои позиции в рамках одинаковых для всех правил о создании политических условий для выхода из кризиса не может быть речи. Избрание Ельцина — важный, но первый шаг на этом пути.

Обком — за монархиста

Смысл демократии в мирном обретении социального компромисса, в мирном уходе провалившейся партии от власти, но уходе не в тюремные камеры, как бывало, а в оппозицию. Демократия — не просто осуществление воли большинства, но и защита меньшинства, то есть защита и желающих самоопределения наций, и малочисленных социальных групп, и каждого отдельного человека от произвола, защита от сведения личных и групповых интересов и прав к так называемым общим интересам, под прикрытием которых стоящие поближе к государственному пирогу рвут от него куски либо прямо

себе, либо для умноженного обогащения по каналам теневой экономики.

Хоть позиция Жириновского куда откровеннее противоречит официальной программе КПСС, чем либеральная позиция Ельцина, ни Рыжков, ни Макашов, ни Тулеев не сочли своим долгом внятно сказать о своем отношении к этой позиции и обозначить ее природу. Впрочем, стоит ли удивляться? Вот Невзоров прямо объявляет себя антикоммунистом и монархистом, а его советует слушать секретарь обкома Гидаспов, его хвалит большевичка Нина Андреева, и газета ЦК КПСС «Гласность» горько сетовала, что Невзорову недостает года для выдвижения своей кандидатуры в президенты России, и предлагала вопреки закону предоставить ему такую возможность. Понятно, что в пору массовой растерянности Жириновский или Невзоров не менее популярны, чем Кашпировский или Глоба, но примечательно, что особенно их полюбили коммунисты-консерваторы.

Здесь политический спектр замыкается. Между свеженьким антикоммунизмом и окостеневшими сталинскими принципами различий не наблюдается. И те и другие стоят за унитарное государство без самостоятельности народов, без экономической свободы, без человеческих прав. Стремление сохранить прежний порядок под новой вывеской, не обязывающей уже ни к чему, — едва ли не самая опасная тенденция наших дней, наглядно проявившаяся в ходе выборов. Тем выше надо оценить значение демократии как лучшего пути для проведения в жизнь здравых идей и осознания нравственного предела, до которого допустимо отстаивать и самые дорогие ценности.

Недавно, беседа с корреспондентом «Известий» о своем отношении к памятной декларации митрополита Сергия, патриарх Алексей II сказал: «Митрополит Сергий хотел спасти этой декларацией церковь. Знаю, что многие, слыша эти слова, возражают, что церковь спасает Христос, а не люди. Это верно. Но верно и то, что без человеческих усилий помощь Божия не спасает».

Но спасают ли церковь человеческие усилия, когда они переступают заветы Спасителя и так или иначе ради церкви обращаются против него?

Разобраться в этом важно не одним верующим, а и свободомыслящим, ведь и с мирскими убеждениями происходят подобные превращения, и, чтобы нынешняя радость России не прошла зря, надо зорко вглядываться в социальные отношения и различать смысл их политических преломлений. Иначе размытые лозунги кандидатов и эйфория от избрания, бесспорно лучшего из них заслонят нам то, что происходит на деле, и народ уже совсем не будет властен над происходящим.

О ТОМ ЛИ БОЛИТ ГОЛОВА?

Конфуз несостоявшегося избрания председателя на Съезде народных депутатов РСФСР огорчителен. Но кого мы ругаем?

Первым делом, как водится, обличали демократов. Вот они опять показали свою неспособность к консолидации во имя высших целей, тогда как противоположная сторона демонстрировала завидную сплоченность! Где уж было сосчитать, что, поддержки столь же дружно все истинные демократы Хасбулатова, голосов до заветных 531 ему все равно бы не хватило. Раскол слева любопытен тем, что опровергает популярную ложь, будто у нас, как всегда, два лагеря и спор идет меж радикальными и умеренными реформаторами, то есть, меж демократами и коммунистами.

Взгляды Хасбулатова — срединные на российском съезде, и, конечно, стоит задуматься, почему при этом он не был избран...

В массовом сознании социальные перемены связываются с политическими движениями, их лозунгами и вождями. Лишь очень немногие даже среди политиков отдают себе ныне отчет, что в конечном счете дело часто решает социально-государственная структура. Именно ее устройство определяет подлинный смысл политических лозунгов. Злодеяния Сталина проистекали не столько из его личной аморальности и дурного характера, сколько из соединения в одних руках хозяйственной власти — и власти над людьми и мыслями.

По сей день и политики, и граждане только и думают у нас, что об усилении исполнительной власти, не задаваясь мыслью, что именно ее усиление грозит диктатурой, между тем как ни законодательная, ни судебная власть, сколько их ни усиливай, диктатуры в себе не таят. На резкое усиление общесоюзной исполнительной власти, наделенной уже и законодательными полномочиями, естественным ответом было учреждение поста президента России. Никто, однако, не задумывается, как при этом изменятся прежние структуры российской власти — Съезд и Верховный совет. Об этом на референдуме не спрашивали, и в итоге, обретя президента, мы сохранили могучую надстройку над парламентом — председателя с тремя или даже четырьмя

заместителями. Надстройку приходилось терпеть, покуда общий председатель двухпалатного парламента выступал главой государства. Но теперь-то, когда впервые в своей истории Россия обрела всенародно избранного главу государства, надстройка зачем?

Сергей Бабурин в оправдание особых полномочий единого руководства парламентом счел возможным сослаться даже на одного из отцов-основателей американской демократии Джеймса Мэдисона, справедливо говорившего о нужде государства в системе сдержек и противовесов. Но как профессиональный юрист Сергей Бабурин не может не знать, что в Соединенных Штатах это задача отнюдь не антипрезидента с непомерными правомочиями, а палаты представителей и сената. Они проводят раздельные обсуждения, принимают раздельные решения, лишь потом, при нужде, отыскивая взаимоприемлемые компромиссы, то есть учитывая всё оттенки интересов граждан, Штатов и общества в целом.

Наши палаты, Совет республики и Совет национальностей, напротив, преимущественно выступают вместе как единый организм, то есть пренебрегают специфическим углом зрения, под которым каждой палате надлежит рассматривать общие проблемы, а ведь именно ради этого вместо единого парламента создан в России двухпалатный. А тут еще над искусственно сращенным парламентским организмом поставлено общее для обеих палат руководство. Его независимость от палат Верховного совета и до избрания президента вела к умалению роли депутатов. Оттого и оказался возможен бунт руководящей «шестерки», как вскоре выяснилось, отнюдь не выражавшей волю большинства депутатов и, как затем подтвердили всенародные выборы, вовсе не выражавшей волю народов России. Сильно бы удивился Джеймс Мэдисон, узнав, что на него ссылаются в оправдание подобного порядка.

Впрочем, стоит ли осуждать «провинциального юриста» Бабурина, если санкт-петербургский профессор-юрист, заняв пост мэра города, поспешил заявить: «Я запрещаю чиновникам мэрии вступать в какие-либо объяснения с депутатами по вопросам, не относящимся к проблемам их избирательных округов». Итак, депутатам Ленсовета не положено теперь интересоваться, что

делает мэрия в помощь Кировскому театру или водопроводной станции, расположенной в чужом избирательном округе, хотя они и нужны всему городу. Депутат, по убеждению нашей исполнительной власти, и консервативной и либеральной, выдающей себя за демократическую, — лишь привилегированный ходатай по делам избирателей. Но мы являемся на выборы не за тем, чтобы подобрать себе адвокатов, а чтобы послать своих представителей для решения общих — в масштабе государства и города — проблем с учетом наших особенных обстоятельств и интересов. Это сопряжение общего и особенного не под силу и самой лучшей исполнительной власти, самому мудрому президенту и самому доброму царю, предоставленным самим себе. Потому и надобны противовесы в виде многоголовых представительных органов, где звучат голоса народных посланников. В многонациональной стране, как наша, во имя межнационального мира нужны, как уже признано, даже два параллельных представительных органа, две палаты, в одной из которых при решении общих проблем первенствуют особенные интересы равноправных независимо от национальности граждан, в другой — особенные интересы разных народов. Возвышение над обеими палатами общего руководства, да еще с постоянными общими заседаниями, мешает палатам выполнять специфические задачи, ради которых они созданы, и не зря в демократическом государстве с двухпалатной системой единого руководства для обеих палат не заводят.

К тому же в РСФСР, единственной из союзных республик, еще и сами палаты заполняют не все избранные народом, но лишь те из них, кто угоден и большинству съезда, — выборы высших органов власти в РСФСР, как и в СССР, двухступенчатые, и хоть вроде бы народ посылает туда представителем своей воли, на деле большинству депутатов легко отстранить от повседневного руководства посланцев меньшинства. И по такой же двухступенчатой системе в Ленинграде Анатолий Собчак предлагает Ленсовету выделить из своей среды десятую часть в муниципальный совет, который мэром милостиво соглашается выслушивать. А собирать Ленсовет, какой он ни есть, но все-таки напрямую

избранный горожанами, чаще, чем раз в год, демократический мэр не видит нужды.

Нынче дозволено не соглашаться с Лениным, и особо ему достается за то, что, по его мнению, каждая кухарка должна управлять государством. Уверяют, что все нынешние беды от этих ленинских кухарок. Между тем в ленинском правительстве кухарками и не пахло. Не говорю о работавших везде и всюду, начиная с армии, «буржуазных спецах», которые, как уверяет занявший ныне должность Ленина В.С.Павлов, нам и не нужны.

А что до кухарок (заметьте, речь идет о каждой кухарке, не то чтобы одну поставить министром культуры, а остальных держать по-прежнему на кухне), то ведь именно в том, что каждая кухарка, оставаясь кухаркой, каждый крестьянин, каждый рабочий, каждый учитель, каждый инженер, каждый врач должны управлять государством, и состоит демократия. Управлять, понятно, не самолично, а через свободно избранных ими представителей. Ведь если уж полемизировать с Лениным, то лучше бы сказать, что, провозгласив равное право граждан управлять государством, он пренебрег созданием реальной представительной системы, позволяющей пользоваться этим правом на деле и осуществлял не столько волю кухарки, знавшей, что почему на рынке, сколько волю партии, которая сочла себя вправе и самый этот рынок упразднить. Оттого в начальстве и умножились малограмотные, что именно менее грамотные, менее одаренные, менее квалифицированные заинтересованы в системе, позволяющей им вопреки объективной ценности их труда брать верх над более знающими, более даровитыми, более квалифицированными.

Ленин, хоть и не стремился к подобным результатам, не предвидел их. А к ним неотвратимо вел примат воли над объективной социальной реальностью. Оттого и советы, формально сосредоточивавшие у себя власть, на деле лишь декорировавшие власть партии, не смогли стать эффективными представительными органами и, конечно, нуждаются в реформировании. Порой в сокращении числа депутатов, порой в объединении и даже упразднении там, где эти советы дублируют друг друга. Но все это лишь затем, чтобы усилить влияние народных представителей, чтобы прежде всего выборы депутатов

во все представительные органы снизу доверху были прямыми, позволяющими воле каждого гражданина сказаться на управлении государством. Само собой желательно, чтобы народ предпочел депутатов, имеющих подходящее для государственной деятельности профессиональное образование, но гражданская ответственность депутатам еще нужней профессиональных знаний.

Власть руководителей советских органов становится все более похожей на недавнюю власть руководителей партийных органов, разом исполнительную и законодательную, то есть произвольную, ограниченную только вышестоящими инстанциями, а когда таковых нет, то неограниченную. Уже и в новом союзном договоре заложены структурные несовершенства высшей власти, сулящие дальнейшие конфликты.

Конфуз на российском съезде показал, что наш порядок все еще ориентирован на пренебрежение реальной волей народа. Лишь четверо из чуть не 1000 народных избранников поддержали депутата Аржанникова, предложившего хотя бы упростить порядок, свести функции председателя Верховного совета к председательствованию на заседаниях.

Что ж, если у депутатов не хватает духу признать безотлагательным избрание прямым народным голосованием рабочего двухпалатного Верховного совета и упразднить дорогостоящие и многолюдные съезды, может быть, и этот вопрос, пусть с запозданием, надлежит задать на всенародном референдуме?

Но порядок, фактически сводящий на нет прямое представительство граждан и разделение властей, не стоит именовать демократическим.

УРОК ИСТОРИИ ДЛЯ ТРИНАДЦАТИЛЕТНЕЙ ДЕВОЧКИ

Не будь под письмом Ливии Ермаковой в 31-м номере журнала поставлено «13 лет», я бы, конечно, не стал на него откликаться. Но не хочу отговариваться тем, что именем девочки подписался папа. При нынешнем уровне преподавания 13-летняя девочка может и впрямь не знать азбучных фактов и впрямь думать, что историю делают не люди, а исключительно обстоятельства, и впрямь верить, что свобода и независимость, необходимые своему народу, необязательны для прочих. О нашей стране девочка пишет: «Да, часть земель была завоевана, но такова история». Такова история: Грузия вошла в состав нашей страны 190 лет назад, Армения — около 160 лет, Кыргызстан — около 130, Литва — 50 лет назад. Но Дмитрий Донской, хоть со времени подчинения Руси Золотой Орде до Куликовской битвы, прошло тоже 150 лет, не посчитался с тем, что «такова история». Можно, конечно, уверять, что не хватило ему политической мудрости Александра Невского, сообразившего, что выгоднее покоряться азиатским басурманам, чем европейским христианам, — уже через два года после Куликовской битвы Тохтамыш и впрямь совершил еще одно нашествие, захватив Москву и устроив там чудовищный погром. До стояния на Угре, когда на деле созрели силы для независимости, было еще сто лет. А все равно, суверенность Руси более всего предопределена Дмитрием Донским, и вечная ему за это слава!

Но, завершив вскоре после освободительного стояния на Угре свое объединение, Русская земля за счет завоевания чужих земель понемногу перерастала в Российскую **империю**. Это не русофобы ее переименовали — это официальное название. И, подобно Дмитрию Донскому, за свободу и независимость своих народов ратовали позднее и Салават Юлаев, и Тадеуш Костюшко, и Шамиль, и Тарас Шевченко, и многие другие.

Большевики не придумали, как внушили девочке, резать единую якобы страну на республики и автономии, они лишь пошли навстречу реальным национально-освободительным движениям, чтобы их успокоить. Причем пошли им навстречу явно недостаточно, больше на словах, сохранив непомерную власть центра, отчего и

льется поныне кровь. Нынче на политическую арену открыто вышли люди, которым этой крови не жалко, которые жаждут упразднить даже нынешние национальные республики и учредить губернии. Но 13-летней девочке стоит знать наперед, что ради этого мальчикам из ее класса, как нынешним солдатам, придется быть либо убитыми, либо убийцами в Грузии, в Узбекистане, в Литве и еще неведомо где. Неужто девочке их не жалко?

Учителя и родители скрыли от нее, что Англия ушла из Индии, а Франция из Алжира из-за того, что за возможность и дальше решать их судьбы приходилось платить своей кровью. При всей нашей гласности девочка нигде не услышала и не прочла, что те, кто все-таки брался решать за другие народы — за венгерский, за чешский и словацкий, за афганский, — наносили непоправимый ущерб собственному народу. А ведь вся надежда на спасение нашей родины в том, что хотя бы дети смогут осознать ее печальный опыт.

ОСКОРБЛЕНИЕ СВЯТОСТЬЮ

Почему Красная площадь обратилась в привилегированное кладбище и долгие годы торжества и парады, даже физкультурные, совершались в обществе дорогих покойников?

Под занавес последнего съезда народных депутатов СССР Анатолий Александрович Собчак предложил захоронить Владимира Ильича Ульянова (Ленина) «в соответствии с религиозными и национальными обычаями нашего народа и в соответствии с его собственным завещанием». Протесты не заставили себя ждать, и у мавзолея появились пикетчики с плакатами, а в газетах стали писать, что никакого завещания на сей счет Ленин не оставил.

Опять затевается шумный спор о важной проблеме, которую норовят разрешить, не входя в ее суть. Если соответствие религиозным обычаям состоит в том, чтобы Ленина отпели, так это как раз можно наладить, не вынося его из мавзолея. Святейший патриарх, принявший президентскую присягу, едва ли откажет. А можно заказать и заочную заупокойную службу, каких немало совершено по сгинувшим на Лубянке или в Сибири. И будет у нас Ильич не хуже Серафима Саровского!

Но в том-то все и дело, что для пикетчиков у мавзолея, для всех, кто просматривается за ними, он и так не хуже. С его безвременной кончиной они связывают позднейшие беды, с верой в его вечную жизнь — «Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить!» — надежды. Поньше есть верующие, что все образуется, если «вернуться к ленинским нормам», «идти ленинским курсом». Оттого и жаждут поклониться его как бы нетленным мощам, оттого и противятся желающим эти мощи отнять, как отняли некогда мощи Серафима Саровского.

Некоторое различие между Собчаком и пикетчиками, конечно, есть. Просвещенный петербургский мэр говорит о религии, имея в виду православие. А пикетчики — коммунистические язычники. Но их мировоззрение — тоже религия, а не плод чисто умственных занятий, пусть в ней другие боги, другие обычаи, пусть церковно-канонической формы она до конца не обрела. Умственные занятия обходятся без мощей. В том и загвоздка, что пожелание похоронить Ленина «в соответствии с религиозными и

национальными обычаями» в 1924 году как раз было выполнено.

Пренебрегли, напротив, соответствием с обычаями самого покойника, с тем, что он был безбожником, никакой религии — ни православной, ни языческой — не исповедовал и хоть письменного завещания, видимо, и впрямь не оставил, но, право же, и вообразить не мог, что выставят напоказ его мощи, заботами профессоров Воробьева и Збарского обретшие нетленность.

Стоит задуматься, чем явился свершившийся тогда переход от воззрений рациональных (не важно, «правильных» или «неправильных») к религиозным, и почему Красная площадь, главная площадь столицы и страны, обратилась в привилегированное кладбище и долгие годы торжества и парады, даже физкультурные, совершались в обществе дорогих покойников. Пока не разберемся, ничего в нашей страшной истории не поймем.

В автобиографии Троцкий признался: «Отношение к Ленину как к революционному вождю было подменено отношением к нему как к главе церковной иерархии. На Красной площади воздвигнут был, при моих протестах, недостойный и оскорбительный для революционного сознания мавзолей» (из книги Троцкого «Моя жизнь»). Но Троцкий не признался, почему его протесты не были тогда публичными, хотя, казалось бы, само шло в руки верное оружие против главного противника, священника-недоучки, все это устраивавшего, которого тут бы и изобличить! Ан нет, не только Сталин, но всей душой пошедшее в этом за ним большинство партии и значительная часть народа своим великим надругательством над покойным вождем придали ему могучий, отвечающий массовому религиозному сознанию атрибут святости, против которого не мог возразить уже ни Троцкий, ни тем более рядовой партиец с дореволюционным стажем.

Мавзолей стал ответом партии и народа Ленину на провозглашенную им революцию. Когда вожди подымались потом на трибуну мавзолея, они, сознательно или бессознательно, демонстрировали свою причастность к святине, поверх которой ступали их сапоги и штиблеты. Мавзолей стал купелью идеологизации государства.

Покуда Ленин слыл дерзким мыслителем, покуда убеждал рациональными доводами, можно было его

доводы опровергать, пусть даже делать это вслух мешали цензоры и чекисты. Это считалось уже преступлением, но еще не кощунством. Когда же, скончавшись, он из мыслителя окончательно превратился в Спасителя, логические доводы и сама очевидность вещей утратили значение. Как во всякой религии, верить, а не понимать надлежало потому, что символом веры стал абсурд — нетленное тело материалиста. В это мгновение советское государство, сперва претендовавшее на разумность, противостоящую неразумию самодержавия, само обратилось в государство идеологическое, религиозное, иррациональное. Оно уже не просто тут или там поступало неразумно, но принципиально противостояло реальности, уверяя, что нет таких крепостей, которых большевики не могли бы взять. Другие научные теории и учения что-то могли, а чего-то не могли, но учение стоящих на мавзолее, учение так называемого марксизма-ленинизма, величавшее себя научным, могло все, и его претензия на всемогущество позже обрела иррационально-священный характер. Не случайно и нынче, когда святых коммунизма скудеют, их укрепляют не возвращением к разуму, а внешне противоположными им святынями по другую сторону кремлевской стены, готовы отдать церкви в собственность кремлевские соборы, даже и при царе ей не принадлежавшие. Идеологию опять готовы изменить коренным образом, только бы государство не перестало быть идеологическим, не стало светским.

Владимир Ульянов умер. Его искреннее стремление загнать людей расстрелами в рай еще долго будет обсуждаться. Но его земная жизнь давно окончилась, дух он испустил, и с его останками надлежит поступить так, как он сам бы того хотел. Он не раз участвовал в гражданских похоронах, предавая товарищей земле. Вот и поступим с ним так же, сознавая необратимость смерти.

Пусть беспрепятственно почитают свои святых и соблюдают обряды православные, католики, мусульмане, баптисты, иудеи, кришнаиты, коммунистические язычники и люди любой другой веры, если она не зовет к насилию. Пусть почитают святые мощи, если веруют в их благодать. Никому не возбраняется воображать, что его вера, его идеология — единственно правильная. Никому не возбраняется переменить веру, принять православие, вступить в КПСС, пойти в кришнаиты или, напротив, стать

свободомыслящим. Но ни в коем случае ни одну веру, ни одну идеологию, вполне терпимую и даже симпатичную, в качестве личной, частной, групповой, партийной, церковной не следует отождествлять с государством как целым. Кто это делает, тот и есть необольшевик, а какую именно веру он навязывает — это уже детали. Не приходится удивляться, что, выскочив из партии, некоторые особенно усердствуют в замене вчерашних идейных нормативов на совсем иные, но столь же обязательные, а мы, и прежде ни в партию, ни в комсомол не спешившие, и другой предписанной веры не хотим. Не было бы беды, останься КПСС после революции отделенной от государства и храни она ныне святые мощи Ильича в часовне партийного просвещения. Но партия и сама неотрывно воплотилась в государство и святые мощи вынесла на площадь с почетным государственным караулом.

Добровольно входя в храм, пусть лишь из любопытства, надлежит вести себя почтительно. Совсем другое дело, если идеологический храм сам вбирает в себя, расплывается над городом и страной, над армией и школой и требует к себе почтительности от всех граждан поголовно. Добром такое не кончается, даже если верующих большинство. Стало быть, чтобы в стране жить и думать по-человечески, надо сперва по-человечески похоронить Владимира Ильича.

БОЛЬШЕВИСТСКИЙ БОЙ С ЗАКОНАМИ ПРИРОДЫ

«Неужи солнце ихим декретам подчиняется?» — с тоской думал про лагерное начальство солженицынский Иван Денисович. Подчиняется!

23 октября Верховный совет РСФСР принял решение вернуться к старому декретному времени, введенному постановлением Совнаркома СССР от 16 июня 1930 года и отмененному весной нынешнего года.

Декрет предписал передвинуть время на час вперед против поясного, чтобы жизнь начиналась как бы на час раньше, захватывая ранние светлые часы и соответственно позволяя меньше тратить на освещение.

Нынешнее возвращение к декретному времени, опять же совершенное декретом, без совета с людьми, мотивировано тоже просьбой министерства энергетики, израсходовавшего с начала осени больше топлива, чем за тот же период в предыдущем году. Наши парламентарии, справедливо считая, что топливо, особенно в нынешних условиях, надо беречь, не задумались, как это можно сделать, не вступая в традиционный большевистский бой с законами природы.

Топливо, особенно после нефтяного кризиса, экономить приходится не только нам. В цивилизованных странах каждый платит за его перерасход, оттого и не тратит без толку. Вот почему люди там раньше встают, раньше начинают работать без всякого общегосударственного приказа, используя светлые утренние часы, и раньше ложатся спать. А Верховный совет, вместо того чтобы реформировать наше внеэкономическое хозяйство и сделать каждого заинтересованным, в том числе и в экономии топлива, по-прежнему исходит из священного права власти поступать по своему усмотрению.

Нынче в моде астрологи и колдуны. Просвещенные ученые — совсем недавно член-корреспондент Академии наук СССР Михаил Волькенштейн в «Литературной газет» — пытаются втолковать людям ту бесспорную истину, что хотя бы Академии наук не стоит покровительствовать шаманству и чтению затылком. Но втолковать не удастся, поскольку наша социальная система несовместима с признанием объективных закономерностей природы и общества, объективных фактов.

Декретное время не зря утвердилось тотчас за «великим переломом», за утверждением всевластия Сталина, и не зря вскоре за этим последовало столь же декретное утверждение великих открытий Трофима Лысенко, избранного в Академию наук, а потом и Ольги Лепешинской, и Бошьяна, которого уже забыли. А я еще помню, как активисты физфака МГУ требовали, чтобы партия открыто разоблачила, подобно Менделю и Моргану, лжеученых Эйнштейна и Планка. Но тут сам Сталин дрогнул — очень уж нужно было ядерное оружие, которого прогрессивные мыслители с физфака обеспечить не могли, а то бы и физику поставили на место, как биологию.

О политэкономии и говорить не приходится. Спорили только, вообще ли закон стоимости, то есть обмен товаров по эквивалентным затратам общественно необходимого труда, не играет при социализме роли или какую-то весьма ограниченную, «преображенную», которую сочтет нужным государство, все же играет. А чтобы независимо от партии и правительства, да еще в полной мере, так это ни в коем случае! Вот мы и доперли с постоянно не эквивалентными затратами до нынешнего развала, а спохватиться, видеть открытыми глазами доступное современной науке и здравому уму все не хотим. И уповаем уже на колдунов, астрологов и Жириновских.

Можно понять растерянность граждан, по сей день не имеющих объективной информации о том, как ведется наше хозяйство. Можно понять даже Академию наук, — ей бы первой встать на защиту объективных истин. А раз дала маху и пошла грешить, трудно потом из министерства науки превращаться в независимое от государства научное общество. Но понять парламентариев, да еще именующих себя демократами, поступающих подобным образом, все-таки невозможно.

Щедрин запечатлел градоначальника, провозглашавшего: «Мы тот закон переменяем», и другого, который сжег гимназию и упразднил науки. Но эти наши славные предшественники орудовали все же до научно-технической революции. А нынче, внушая своими действиями гражданам, что любую природную закономерность власти под силу (на то она и власть!) пересмотреть или подправить, наша страна теряет на

деформациях сознания куда больше, чем экономит на топливе.

Топливо беречь надо. Вот бы Верховный совет и призвал нас вставать на час раньше, а предприятия и учреждения — на час раньше открываться. Но нельзя ради экономии топлива нарушать международный порядок установления времени, внушая населению, будто солнце встает у нас на три часа раньше, чем, скажем, в Лондоне, а вовсе не на два, как на самом деле. Кстати, и Лондон при этом оказывается подальше от Москвы и Петербурга, а он ведь куда ближе к ним, чем Омск, не говоря уже о Колыме. Эту и другие очевидности надо сознавать, а не переворачивать декретами, если уж мы хотим что-то реально улучшить в нашей жизни. Надо все-таки считаться с временем. Тем более что оно считается новым.

ОТКУДА СТРАСТЬ К РАЗРЫВАМ?

Более полутора столетия лет назад, после подавления очередного польского восстания, Пушкин вспоминал, как он с друзьями жадно слушали польского поэта, который «говорил о временах грядущих, Когда народы, распри позабыв, В великую семью соединятся». Желать того же нынче побуждают и нужды хозяйственного развития. Между тем наш век отмечен небывалым обострением национально-освободительных движений. Великие империи рушатся. Испанская скончалась еще в прошлом веке. С начала нынешнего активизировались центробежные силы в Британской, Французской, Австрийской, Российской. От Австрии после первой мировой войны отпали Венгрия, Чехословакия, Хорватия, Словения, Босния, Воеводина. От Британской и Французской к середине века отделились почти все доминионы и колонии. Российская не распалась лишь благодаря Ленину, прокламировавшему замену «тюрьмы народов» их равноправным Союзом. По мере обнаружения в нем неравенства, дошедшего до массовых депортаций, и у нас национальное самосознание обострялось.

Между тем, особенно в Европе, надобность в хозяйственном единстве все росла. Первой в новое время попыткой объединения Европы парадоксальным образом стало фашистское завоевание, позволившее новой имперской канцелярии какое-то время распорядиться ресурсами от Атлантики до Волги. Но у кого повернется язык назвать героическое сопротивление покоренных народов фашистскому диктату — сепаратизмом? Именно победа над фашизмом побудила думать о подлинном объединении Западной Европы, подтвердив объективную надобность в нем, но только на противоположных началах — место команды заступила взаимовыгодная координация интересов.

Центральное место в объединенной Европе вроде бы опять у Германии, но уже у другой, дорожащей не столько давней славой своих солдат, сколько столь же давней доброй репутацией банкиров и предпринимателей рейнской долины и вольных ганзейских городов. Сопоставление сменивших друг друга единых Европ — Третьей империи и Европейского сообщества —

проясняет почву национальных конфликтов. Это недобровольность, неравноправие, желание одних решать за других, что тем лучше, и силой навязывать свою волю. Кто понял это, должен понять, что объективно необходимому единению народов способствует их самостоятельность, а разобщению — насилие.

Такое понимание нередко запаздывает, приходит, когда ожесточённая национальная самозащита обретает черты, схожие с вызвавшим ее угнетением. Тут забывают о беспощадном великодержавном национализме и в национализме винят лишь тех, кто защищается от имперского насилия. А ведь отшатываясь от авторитарных порывов былого диссидента Звиада Гамсахурдиа, надо держать в памяти тех, кто вынудил свободолюбивый народ отвечать на бескомпромиссность бескомпромиссностью. Не будь преступного кровопролития в Тбилиси 9 апреля 1989 года или будь руководивший им генерал Родионов хотя бы разжалован и уволен из армии, как опозоривший честь русского офицера, Грузия жила бы сегодня иначе и, может быть, не стремилась бы к столь резкому разрыву с другими республиками.

Там, где у людей нет права объединяться с другими людьми, страдающими от такого же национального или социального угнетения, у них нет и остальных прав, человек одинок перед лицом тотального государства, и его права, красиво записанные в сталинской конституции, силы не имеют.

Равноправие людей, независимо от их национальности или мировоззрения, — первый признак и первое условие демократии. Но простое опрокидывание границ, «чтобы в мире, без России, без Латвии, жить единым человеческим общежитием», ведет не к желанной цели, а к обратной. Более многочисленный народ у нас невольно ущемляет язык и культуру малочисленного, не оберегаемые специально, уже хотя бы потому, что латыш в Москве сознает необходимость говорить по-русски, но русский, постоянно живущий в Риге, нередко и не думает говорить по-латышски, вынуждая и тут латыша говорить по-русски.

Многонациональные содружества жизнеспособны лишь там, где базируются на добровольности и демократическом порядке. Имперские амбиции

порождают страсть к разрывам. Югославская федерация еще служила бы сотрудничеству своих народов, преобрази они ее, как хотели некоторые, в конфедерацию. Но защищавшие свой гегемонизм сбрасывали бомбы на республики, мечтавшие о большей самостоятельности, и подорвали возможность сотрудничества. Между тем добровольно сложившийся некогда швейцарский союз потому и не распадается, что демократический порядок позволяет тамошним народам и без специальных усилий жить, как они хотят.

Не придется радоваться, если связи между народами нашей страны оборвутся или сменятся открытой враждой. Но единственная возможность их сберечь в современном мире состоит в том, чтобы позволить на месте империи Ивана Грозного и Иосифа Сталина сложиться, по примеру Европы, добровольному и равноправному сообществу демократических государств, держащемуся взаимной координацией интересов, а не послушностью возвышающемуся над ним центру. Лишь когда для выхода из такого содружества довольно будет своего желания, а для вступления в него, напротив, потребуется согласие всех, народы без понуканий захотят соединиться в великую семью.

МЫ НЕ СОВКИ, СОВКИ НЕ МЫ

То и дело слышишь, что Россия может выжить, только будучи самой великой и самой могучей, сильнее, чем весь остальной мир. Ей вновь предлагается роль «старшего брата», хотя именно эта роль и привела ее к нынешнему состоянию. А почему бы нам не жить, как люди живут? Земля у нас богатая, народу много и народ образованный. Счесть, что мы хуже других, так же странно, как счесть, что мы лучше других.

Эти вроде бы противоположные позиции отлично уживаются и значат, в сущности, одно и то же: мы одинаковы, каждый подобен остальным, и не так уж важно, кто он при этом — «советский человек», который на голову выше любого высокопоставленного буржуазного чинуши, как учил товарищ Сталин, или «совок», «хомо советикус».

Оба мифа мешают видеть, что на деле наше общество социально дифференцировано, мешают понять реальные, не извращенные идеологией интересы разных слоев и нужды именно разных людей друг в друге. Будь люди одинаковы, злодеяния Гитлера, Сталина и Пол-Пота не поражали бы так глубоко, не наносили бы народам такого чудовищного ущерба. Различие меж людьми не сводится к социальному разделению труда, с которым тираны тоже не хотели считаться; всякий человек, даже самый что ни на есть «простой», незаменим, хотя бы для своих близких, а значит, и для общества.

Наш кризис нарастает оттого, что страна и мы вместе с ней уперлись в пределы восточного хозяйствования. Чтобы с ним покончить, надо преодолеть феодальный социализм. А вместо этого мы занимаемся переименованиями, ждем, что все образуется, если не будем больше поминать Маркса. Но прежние порядки и нравы живут под другими именами. Разве уже Батый не был отчасти большевиком? А Иван Грозный, творец империи и крепостного права, разве лучше Сталина? А Петра Алексеевича разве зря так часто сравнивали с Лениным? Мы твердим, что возвращаемся в Европу, но Россия со времен Киевской Руси была страной европейской, и при большевиках она оставалась в Европе совершенно так же, как Германия и при Гитлере принадлежала Европе. Россия, Польша, Германия к востоку от Эльбы пережили то, что Энгельс называл

вторым изданием крепостного права и что было на деле торжеством феодальной реакции, зашедшей во внеэкономическом гнете много дальше, чем отступавший тем временем традиционный феодализм в Англии или Франции. Феодальная реакция тормозила развитие стоимостного хозяйства и переход к буржуазным нормам. Даже Александр II, понимавший, что порядки надо менять, не рискнул сделать это до конца. Если Октябрь сводится к захвату власти кучкой злоумышленников, как нас уверяют сегодня, невозможно понять, почему за злоумышленниками пошла половина страны, в то время как другая им упорно сопротивлялась. Почему вообще это приняло такие масштабы? Когда Ленин узнал, что декрет о земле поддерживает не только беднота, а широкие массы крестьянства, он был потрясен: он этого никак не ожидал. В Октябре прозвучали великие декларации, но еще до того, как они стали реальностью, матрос Железняк объявил, что «караул устал». На деле караулу нашлись другие занятия, вместо прежней внеэкономической системы стали строить новую. В 1929 году Сталин покончил с наследием революции и реставрировал феодальный порядок нового типа — коллективный феодализм, названный социализмом. При Брежневэ этот феодализм стал клониться к традиционным формам. На этой почве и возникли мифы коммунистической идеологии и культ «нового человека».

Но это вовсе не значит, что реальные люди были под стать мифам. Они по-прежнему были разными. Конечно, кто-то после пламенных речей на партсобраниях судачил на кухне о другом. Но я не думаю, чтобы так поступал, скажем, В.Крючков, — он, пожалуй, был искренне убежден в добродетели своего ведомства и своей. Были и «шестидесятники», наивно верившие, что феодальный социализм можно усовершенствовать. Были и довольные порядком, но тяготившиеся его идеологическим оформлением, жаждавшие убрать портрет еврея с бородой и прямо сказать, что это все наше, русское, православное, как говорят сегодня «патриоты».

Нас уверяют, что в нынешних бедах виноват Михаил Горбачев, но представим себе на месте генсека в 1985 году Григория Васильевича Романова. Вот уж кто не потерпел бы вольности и гласности. И уже к 1988-1989

годам все бы рухнуло с треском. И помощи ждать было бы неоткуда.

Трагедия в том, что мы все не хотим признаться, что и для нас действуют законы жизни, мы все настаиваем на своей исключительности, то классовой, то расовой, и соответственно, когда мифы обнаруживают свою несостоятельность, бросаемся в противоположную крайность, повторяя теории о «хомо советикус» и уродливое словцо «совок». Человека отождествляют с обстоятельствами, связавшими его по рукам и ногам, подчас делающими его таким, а не иным. Конечно, за долгие годы мы привыкли не слишком верить власти, привыкли к ее обманам, но ведь миллионы поверили сперва Горбачеву, а после Ельцину, а раз никакие реформы так и не начались, а жить становилось все труднее, властям доверяют еще меньше. Рухнувшие надежды дорого обходятся. Разве у других народов иначе? Конечно, в душах семьдесят лет жил страх. Но можно ли осуждать боявшихся, когда каждый десятый был в зоне? Уверяют, что вековые и семидесятилетние беды осели в генах. Но ведь это чистая лысенковщина, державшаяся на вере в наследственность приобретенных признаков. Страх не наследуется, измените обстоятельства, дайте людям нормально жить, и снова будут рождаться Ломоносовы. На наших глазах уже выросло поколение, которое не только само не боится, но и не понимает страха своих родителей.

А манипулирование умами продолжается, обретая все более хитроумные формы. Недавно руководитель петербургского телевидения Югин объявил о временном прекращении передачи «600 секунд». В развернувшемся вслед за тем бурном отстаивании «нашими» своей передачи потонула реальная коллизия, состоявшая в том, что Невзоров — единственный на петербургском телевидении журналист, имеющий возможность регулярно внушать телезрителям свои «нашистские» взгляды. Беда тут не в том, что эти взгляды высказываются — хотя при этом зачастую преступается закон, а прокурор Веревкин словно бы и не замечает коричневой пропаганды. Беда в том, что Невзоров — монополист, что никакие другие воззрения не получают на петербургском телевидении регулярного канала в удобное время. И люди подымаются за «свободу слова» для

сацистических подробностей убийств. Но разве получили мы «свободу слова»? Мы так и остались при «гласности».

Там, где нет свободы слова, сознание всегда тускнеет и самые простые вещи становятся непонятны «простому человеку». Как символ освобождения стране даруется возрожденный двуглавый орел... И валят вину за все происходящее на народ, который для демократии якобы недостаточно хорош, не готов. Чего в самом деле от «совков» ждать!

А есть простой способ выяснить истину. Вам кажется, что русский крестьянин не способен управиться с землей? Так вы ему ее дайте, и на деле обнаружится, что и крестьяне разные: кто неспособен, а кто и способен, и этих способных хватит, чтобы накормить страну. Не надо только им мешать. Но потому и мешают, потому и унижают, что положение решающего за других в феодальном мире доходно и престижно. А скорее можно бы восхититься тем, что в очередной раз обманутый народ сохраняет самообладание и, стоя в бесконечных очередях, люди лишь изредка схватываются друг с другом, а чаще поддерживают друг друга и сообщают, что на соседней улице можно занять очередь еще за чем-то.

Мы не лучше других, но и не хуже других и тоже могли бы жить нормальной жизнью, обрести каждый возможность проявить себя и определить, что стране нужней в честном соревновании, а не указующим наперед перстом. Давно известно: чтобы люди изменились, надо изменить условия, в которых они живут.

Возьмите Германию. Вот там, да, социализм. Хотя сами немцы и обижаются на это. Социализм — это социальное государство, то есть государство, которое заботится о людях, которое помогает бедным и оступившимся. Не люди имеют обязанности перед государством, а государство имеет обязанности перед людьми. Это называется социализмом. Советское государство не может называться социалистическим, потому что оно никогда не имело перед живущими в нем людьми никаких обязанностей. А потому нам сегодня и нужно думать о нормальном развитии буржуазного общества, понимая, что людям нужны социальные гарантии. Расцвет Запада — это успех политики социальных гарантий.

Революция имеет только тот смысл, что она освобождает людей, иначе никакая революция не имеет никакого смысла. Когда же, ничего всерьез, кроме названий, не меняя, мы требуем, чтобы лидеры стали ангелами, этим непониманием элементарных нужд их толкают становиться дьяволами. Вот и пора перестать бранить людей и оглянуться на государство, на наше чудовищное, всем распоряжающееся государство, и признать, что не люди постоянно обязаны служить ему, а оно обязано служить людям, охранять свободу и имущество того, кто способен позаботиться о себе сам, и помогать тому, кто попал в беду, часто к тому же не по своей вине.

В начале 1918 года начавшееся было развитие страны прервали разгоном Учредительного собрания. Не пора ли его созвать, чтобы каждый стал, наконец, тем, кто он есть, не «совком», не «советским человеком», а просто человеком. Может быть, тогда мы и уразумеем, кому были выгодны унифицирующие людей обожествляющие или оскорбительные клички.

ОКОНЧИЛАСЬ ЛИ ИСТОРИЯ?

Почти два года назад американец Фрэнсис Фукуяма объявил, что история человечества подошла к концу. Нет, он не вселенского Чернобыля ожидал, а, напротив, благоприятных событий. Решив, что либеральному западному обществу нет альтернативы, доказательством чему он счел крушение марксизма-ленинизма, Фукуяма настаивал, что хоть не все еще перешли к либеральной демократии, но, поскольку стало очевидно, что всякий иной путь неразумен, история, как арена идеологического противостояния, завершилась — и начинается просто жизнь.

О подобном конце истории не Фукуяма первым заговорил. Это ведь Марксу в середине прошлого века показалось, что с концом капитализма придет конец истории, поскольку при коммунизме люди смогут видеть вещи как они есть, не оглядываясь на идеологические стандарты, и уже поэтому смогут жить разумно. Скажи кто Марксу, что его собственная теория станет канвой идеологии нового общества, что там вообще будет идеология, он сильно бы дивился. Конец истории предрекал еще Гегель.

И про Маркса, и про Гегеля Фукуяма помнит и сам их поминает. Но коммунизм для него — лишь альтернатива либерализму, а суть ведь не в том, какой именно порядок станет окончательным, а в том, возможен ли вообще окончательный порядок. У Маркса, пожалуй, было больше оснований уверять в окончательности, связанной с освобождением человечества от идеологических пелен. Как проповедник материалистического понимания истории, он немало сделал для демистификации людских представлений. Казалось, когда общество и впрямь будет откровенно в своих материальных делах, станет называть кошку кошкой, идеологии места не останется. Ан вышло наоборот, и приходится радоваться, когда кошку дозволено называть не крокодилом, а хотя бы собакой, — все-таки тоже домашнее животное.

Прежде чем класть в основу своих пророчеств крушение коммунизма, прежде чем именовать крушением нынешний кризис в СССР, открывший возможность высвобождения восточноевропейских стран, Фукуяме стоило призадуматься, почему не сбылись надежды на

деидеологизацию, манившие Маркса. Сам Фукуяма исходит из противоположного — отрицает материальные предпосылки идейной жизни и зовет вернуться к Гегелю, повторяя, что «согласно Гегелю противоречия, движущие человеческой историей, существуют прежде всего в сфере человеческого сознания, то есть на уровне идей». Но этому противоречит тут же приводимое в качестве примера провозглашение Гегелем конца истории в 1806 году: «Уже тогда в разгроме Наполеоном прусской монархии в битве при Иене Гегель усмотрел победу идеалов Французской революции и неизбежное повсеместное распространение государственности, воплощающей собой принципы свободы и равенства». Сбудутся ли предположения Фукуямы, еще можно гадать, но предположения Гегеля явно не сбылись. Ни Бисмарк, ни тем более Гитлера не сочтешь воплощением свободы и равенства, если, конечно, сообразовываться с объективной реальностью, что и составляет главное преимущество либерального общества.

Беда подобных пророчеств — и у Гегеля, и у Маркса, и у Фукуямы, — в их избирательной одномерности. Ход истории сведен в них к единому, хоть у каждого своему, стимулу, к единой первопричине, к некоему богу, лишенному религиозных атрибутов, а вместе с ними и оправдания, поскольку в любой религии бог в качестве неопровержимого для верующих аргумента творит чудеса, а наука остается наукой лишь в пределах естества, в пределах объективной реальности, и постижения этого естества и этой реальности в меру доступной достоверности.

Но в том-то и дело, что характер постижения лишь относительно адекватен постигаемому, и соотношение наших представлений и объективной реальности в ее развитии меняет меру своей адекватности и тем затрудняет понимание вещей. Гегель в гносеологические проблемы не слишком входил, практически отождествляя субъекта с объектом, а теорию познания с онтологией. Для Гегеля, да и для Маркса, выработка общественных знаний — это процесс общественного самопознания, и участие человека в общественном самопознании, его приобщенность к бытующим формам общественного сознания, важнейшее проявление его причастности к обществу. В этом, конечно, большая доля правды.

Общество долго живет установившейся системой представлений, где светской, где религиозной, и не только не тяготеет к ней, но держит ее за достоверную, а попытки независимого, стороннего анализа принимает за ересь. Но в критические эпохи в идеологических системах нарастают трудности с объяснениями новых поворотов событий, что и побуждает осознавать привычное восприятие как идеологизированное, мифологизированное, и творить новые мифы, новые идеологии, или воскрешать былые.

Неизбежность подобных ломок предопределена самим гегелевским отношением к познанию, но Фукуяма, всецело доверяясь Гегелю, не хочет различать корни идеологизированности, которая не выдумка и не порок, а естественный плод недостаточного гносеологического самоконтроля и сведения происходящего в сознании либо к его духовному источнику, либо — как в марксизме — к отражению текущего бытия. Есть тут и нежелание вдаваться в происходящее в сознании за порогом доступного ему познания, а там-то и деформируются и абсолютизируются наши относительные знания.

Лишь потом выясняется, что одно — сами по себе идеи Маркса, по ходу его жизни обновлявшиеся, нередко противореча сами себе, другое — сложившееся на их основе марксистское мировоззрение, повлиявшее на социалистическое движение, и совсем уже третье — марксистско-ленинская идеология, возникшая в советском государстве. Ощутимые перемены при переходе от первого ко второму и, в особенности, от второго к третьему, давно известны. Идеи Маркса не были изначально утопией, обманом, прельстившим человечество, как часто уверяют сегодня, но, как многие крупные идейные явления, были воплощением частичной правды, — иначе не понять, как сумели они привлечь не кучку, а десятки миллионов последователей.

История велит признать, что экономическая теория Маркса подметила и впрямь существеннейшее для целого столетия противоречие буржуазного мира. Серьезные упущения этой теории, роковым образом проявившиеся потом, различали уже современники, однако в XIX веке это имело в основном теоретическое значение: роль физического труда в промышленном производстве была решающей, и, соответственно, всеобъемлющей казалась роль рабочего класса, под знаменем Маркса не столько,

впрочем, мечтавшего о светлом царстве коммунизма, сколько отстаивавшего свои конкретные права. Аналогичную борьбу рабочий класс вел и на базе других теорий и без всяких теорий, объединяясь в профессиональные союзы. Все это, вопреки распространенному мнению, не разрушало либеральное общество, а, напротив, укрепляло его либеральность, как раз и позволившую прийти в развитых странах к довольно успешным методам экономического самосознания и саморегулирования.

Экономическая теория Маркса радикально разошлась с реальностью лишь в ходе научно-технической революции, которую не могла принять, поскольку та на практике показала, что плоды умственного труда — не бесплатный дар божий, как получалось по Марксу, и умственный труд тоже создает ценность (стоимость), а стало быть, рабочий класс хоть и безусловно важный, но отнюдь не единственный вершитель судеб современного производства и общества. Более того, оказалось, что и собственные его интересы несовместимы с мессианским назначением, которое отвел ему Маркс, и без, эффективного сотрудничества рабочего класса с другими участниками производства оно отбрасывается к прежним грубым формам, а сам рабочий класс к обнищанию, предсказанному Марксом, но преодоленному развитием, которого Маркс не предвидел, поскольку пренебрегал значением умственного труда. Можно бы добавить, что аграрное производство в западных странах еще раньше и резче разошлось с идеями Маркса, изначально, не содержащими в себе столь большой доли объективности, как его представления о промышленном производстве.

Вроде бы теория Маркса уже в середине нашего века потерпела наглядное поражение, а либеральное общество не только выжило, но заново расцвело. Не стоит, однако, упускать из вида, что оно при этом усвоило едва ли не важнейшую из идей Маркса, признало, что развивающееся производство не может довольствоваться одним лишь либерализмом, одной лишь экономической (и соответственно политической) свободой, и — вот она, ирония истории! — отчасти осуществило на практике важнейший призыв Коммунистического манифеста: свободное развитие каждого есть условие свободного развития всех. Сила современного западного общества не

в последнюю очередь заключена в предоставлении человеку не только свобод, как требует классический либерализм, но и некоторых материальных гарантий. Политические соображения мешают либеральному обществу признать, сколь глубоко проросло оно социалистическими идеями. Современная Германия, широко практикующая социальную защиту своих граждан, именуется не социалистическим, но социальным государством. И это верно в том смысле, что осуществление важнейшего из принципов Маркса, как продемонстрировала его родина, отнюдь не требует новой общественной формации, но возможно в рамках буржуазного общества, не довольствующегося, однако, одним либерализмом.

Подобные перемены внутри либерального общества тоже составляют исторический процесс, и сама социализация этого общества временами подрывает его либеральность. В то время как социалистические идеи в Германии трансформировались под влиянием либеральных, способствуя развитию национального хозяйства и на его базе социальной защите, в Англии они проявились более архаически, предприятия и целые отрасли промышленности, отчасти по нашему примеру, хоть и несколько иначе, огосударствлялись, что, в конечном счете, ослабляло хозяйство, снижало уровень жизни людей и порождало сочувствие к контрнаступлению либерализма, хоть и сокращавшего социальную защиту, но поднимавшего уровень жизни большинства. Наивно считать такую яркую носительницу либеральных идей, как Маргарет Тэтчер, фигурой внеисторической! А ведь она сражалась против практики государственного социализма не в восточноевропейской стране с марксистско-ленинской идеологией, а в цитадели классического либерализма, в Британии, и уже одно это побуждает усомниться в предсказаниях Фукуямы, будто повсеместное торжество либерального общества покончит с историей на вечные времена и освободит экономическое развитие от социальных и политических преломлений.

Да и предполагать повсеместное торжество либерализма серьезных оснований покамест нет. Отнюдь не идеализируя либеральное общество, я тоже думаю, что оно предпочтительнее других и для современного

производства, и ради благополучия большинства людей. Но наивно думать, что дело лишь за тем, чтобы людям это понять. На примере развития марксистской мысли в России видно, что не столько восприятие общественных идей зависит от их понимания, сколько, напротив, само их понимание зависит от восприятия, диктуемого обстоятельствами.

Марксистское мировоззрение, пропагандировавшееся в России Н.Зибером, Г.Лопатиным, Н.Даниельсоном, а затем П.Струве, М.Туган-Барановским, Н.Бердяевым, С.Булгаковым, даже в социал-демократической трактовке Г.Плеханова, П.Аксельрода, Н.Ленина, Ю.Мартова и их младших современников, при всех различиях, долго не теряло единства с западными единомышленниками. Конечно, в России, не пережившей еще и буржуазной революции, многие проблемы стояли острее, и большевики, вступая в противоречие с основоположниками, клонились к упреждающему захвату власти, не дожидаясь необходимой по Марксу для революции экономической зрелости, но и они в согласии с Марксом представляли себе революцию происходящей во всей Европе и даже во всем мире одновременно. Ни о каком, национальном социализме, ни о каком построении социализма в одной отдельно взятой стране до Октября 1917 года большевики и не заговаривали. Единственным существенным прибавлением традиционному марксизму, какое выдвинул Ленин, было его учение о партии, призванной как бы вместо пролетариата, составляющего в отсталой стране явное меньшинство, осуществить революционный переворот, чтобы примкнуть к более развитым странам.

Отдаленность такой цели и зависимость ее от происходящего в других странах уже тогда, конечно, придавала большевизму известную утопичность, однако на практике и большевики до поры стремились прежде всего к общедемократическим переменам и даже буржуазному преобразованию самодержавного государства — не зря они получали солидные субсидии от крупных капиталистов вроде Саввы Морозова. Да и вообще преобладала в русском революционном движении крестьянская партия эсеров, что подтвердили поздней и выборы в Учредительное собрание. Своеобразие русского марксизма, названного ленинизмом, по существу,

проявилось, когда силы, победившие в феврале 1917 года, не затянули важнейшие буржуазные преобразования, не разрешили аграрный и национальный вопросы, что и привело к Октябрьской буржуазной революции, в ходе которой большевики захватили власть в надежде на скорую социалистическую революцию в Европе.

Не только большевики, да и не только в России, предавались подобным иллюзиям, но буржуазное общество сумело переступить свои противоречия и остановить революцию даже в Германии, на которую большевики надеялись больше всего. Между тем, провозгласив «Декрет о земле» и «Декларацию прав народов России», большевики, не довольствуясь славой русских якобинцев, чтобы продержаться до европейской социалистической революции, разогнали Учредительное собрание и остановили буржуазное развитие, которому они-то как раз и расчистили дорогу. Этот национальный социалистический выбор, обернувшийся военным коммунизмом, разорил страну гражданской войной и повернул против большевиков сперва пошедшее за ними крестьянство.

Трудно сказать, сознавал ли Ленин уже тогда тщетность надежд на революцию в Европе, но он понял, что она, во всяком случае, не близка, и предпринял отступление к капитализму, которое ему еще казалось временным. Лишь после его смерти до конца обозначилась жесткая альтернатива: продолжать ли это отступление, способное привести к какому-то типу либерального правового общества со стоимостными отношениями, либо, как и произошло, повернуть к обществу неофеодального типа. Поскольку капитализм, вопреки распространенному мнению, в России далеко еще не возобладали, то и реставрация означала возврат не к капитализму, а к новому феодализму, новому самодержавию.

Тут-то, в соответствии с природой феодального общества, и возникла нужда в новой идеологии. Идеи Маркса в ней причудливо сплелись с крайними взглядами русского революционного народничества, одновременно вбирая в себя нормативы военного коммунизма, государственной хозяйственной монополии, нового закрепощения крестьянства и внеэкономических

отношений. Новая идеология, названная марксистско-ленинской, объявила сложившееся в тридцатые годы государство социалистическим, хотя для Маркса и даже для Ленина социализм был противоположностью государства, а теперь оно объявлялось высшим его воплощением.

Конечно, нынешний кризис — кризис не только внеэкономического хозяйствования, но и сопутствовавшей ему идеологии, мешающей ныне адекватному пониманию накопившихся трудностей хозяйства и социальных противоречий. Но, чтобы объявить этот кризис общим концом коммунизма, надо бы показать, что внеэкономическое хозяйство настолько себя исчерпало, что ни при каких обстоятельствах уже не в состоянии будет состязаться с либеральным даже по одним только жизненно важным, и в частности, военным, показателям. И еще бы показать, что такое хозяйство не может существовать под знаменем иной идеологии. Ни того, ни другого Фукуяма не сделал. Тем временем Саддам Хусейн продемонстрировал возможность создать под флагом исламского социализма в небольшой стране четвертую армию мира.

Фукуяма говорит, что люди «способны сносить самые крайние материальные невзгоды во имя идей, существующих исключительно в сфере духа, — будь то священные коровы или природа святой Троицы», — это, конечно, правда. Но из преданности идеям никак еще не следует, что объективное содержание этих идей в конкретной жизни исчерпывается самосознанием их приверженцев, что за священными коровами или спором о единосущности или подобосущности Христа своему отцу нет человеческого и общественного содержания. Из того, что мы часто не сознаем происходящее, отнюдь не следует, что ничего не происходит, а ведь этот не всегда сознаваемый нами процесс и есть история, и понять, длится она или окончилась, как раз и значит понять, имеют ли место некие, пусть не сразу замечаемые нами, социальные процессы.

Ход этих процессов, ход истории, понятно, оставляет на своем пути величайшие сокровища человеческого самопостижения, подъемы духа, научные открытия и художественные шедевры. Ценность многих из них непреходяща, но всякое стремление объявить ее

окончательно установленной неизбежно приходит в противоречие с реальностью, поскольку процесс так или иначе продолжается. Не случайно и отношение людей к прежним духовным ценностям порой разительно меняется: то их оплеывают, то воскрешают, оплеывая другие, то оттесняют и те и эти, созидавая новые. При всем почтении к духу, человек все же смертное существо, индивидуальные возможности которого ограничены, и разум постоянно предостерегает его от слепой веры в силу внеэкономического порыва, раз и навсегда исправляющего общество и насаждающего абсолютную справедливость. Мы не знаем, в каком состоянии либеральное общество способно предаться подобным порывам, и тем более не знаем, способно ли оно им разумно противостоять. Уверения Фукуямы, что социальный процесс окончен и неожиданностей не будет, рождают благодушие и толкают либеральное общество к кризису и, вопреки его предсказаниям, к продолжению истории. Нынешние уверения, будто коммунизму пришел конец, столь же малоосновательны, сколь и былые уверения, что пришел конец капитализму, в пору великого кризиса 1929 года. Разумеется, неофеодальная российская держава уперлась в тупик, из которого в сложившихся формах ей без колоссальных потерь не выбраться. Вот ее лидеры и стремятся эти формы перестроить. Но делать отсюда вывод, будто происходящее является революционным наступлением на самые фундаментальные институты и принципы сталинизма с заменой их принципами, хоть и не равнозначными либеральным, но ведущими к таковым, да еще ссылаясь в доказательство на то, что Николай Шмелев не имеет ничего против того, чтобы его сравнивали с Милтоном Фридманом, все-таки смешно. И если говорить о сегодняшнем дне истории, то статья Фукуямы — ярчайший пример того, как плохо мы понимаем этот сегодняшний день, как плохо поняли современники — и дома, и в особенности, за рубежом — намерения Михаила Горбачева и его незаурядную, конечно, общественную роль.

Горбачева на Западе часто изображают чуть ли не врагом коммунистического порядка и коммунистической идеологии, тогда как на деле он стремится их спасти и сохранить. Горбачев не первым понял, что тотальное

общество с вневещной хозяйством обречено на отставание. Это ощутил еще в 1921 году Ленин; потом Хрущев, интересовавшийся экономическими проектами харьковчанина Е.Либермана, потом Косыгин, доведший свою реформу до утверждения ее пленумом ЦК КПСС. Горбачев, однако, совершил следующий и важнейший шаг: он признал, что компромисс с реальностью не может быть стабильным без политических перемен. Фукуяма согласен, что усилия Горбачева направлены на то, чтобы узаконить и тем упрочить власть КПСС, и все же он верит, что санкционированная Горбачевым «критика советской системы явилась столь основательной и решительной, что почти не оставила возможности возврата как к сталинизму, так и к брежневщине каким-либо простым путем». Но главное даже не в том, что возможности такого возврата отлично сохранились.

Прежде всего, покамест нет оснований утверждать, что в стране вообще вводится стоимостное, рыночное хозяйство, о котором столько говорят. В течение шести лет перестройки шли как раз обратные процессы — неограниченная эмиссия, прямые конфискации, драконовские налоги, директивные повышения цен, при том, что монопольная хозяйственная структура не только не претерпела сколько-нибудь серьезных, существенных изменений, но, располагая государственной властью, могла успешно тормозить возникновение независимых от нее хозяйственных единиц.

Меняются лишь формы, в которых элита КПСС управляет хозяйством и обществом. Ее правление являлось, по существу, нелегальным с конца двадцатых годов, с тех пор как его осуществляли непосредственно партийные органы при содействии карательных, а так называемые советские, то есть государственные органы только проводили в жизнь предначертания партийных. Горбачев стремился передвинуть властные полномочия в государственные органы высшего этажа, приняв на себя и возложив на своих помощников руководство ими. Это шаг навстречу реальности, не умаляющий, однако, значения партийной элиты, — съезд народных депутатов на треть составлен из депутатов, назначенных общественными организациями, то есть самой КПСС и руководимым ею комсомолом, профсоюзами и т.п., а Верховные советы СССР и РСФСР образованы не прямыми, но

двухступенчатыми выборами. И все же и на съезды и в Верховные советы попали инакомыслящие, что прежде практически исключалось. Настаивая на избрании председателями советов всех уровней руководителей соответствующих партийных комитетов, Горбачев также шел на определенный компромисс, поскольку депутаты советов обретали возможность отвергнуть наиболее бесчестных и бесчеловечных партийных деятелей, прежде назначавшихся центром без оглядки на рядовых партийцев, не говоря уже о беспартийных. Компромиссом с реальностью явилось и допущение публичной критики и вообще некоторой гласности.

Эти уступки реальности не столь, конечно, значительны, чтобы лишить партийную элиту власти. К тому же законодательная власть выборных органов была сразу почти целиком официально передана президенту с его безмерными полномочиями. Изменения, правда, покамест завершились лишь на всесоюзном уровне; республиканские и тем более местные советы, служившие некогда лишь для декорирования партийных директив, так и не обрели подлинных рычагов власти, и то и дело раздаются призывы к назначению президентом для руководства на местах губернаторов и префектов, располагающих объемом полномочий, равным тому, каким обладали прежде секретари соответствующих территориальных партийных комитетов.

Перенос правящих, функций от партии к государству, принятый миром за переход к либеральному обществу, мог осуществиться лишь в виде отказа от неограниченной партийной диктатуры, в виде демократизации. Резонно спросить, в чем смысл этого переноса, разве прежде генеральный секретарь ЦК КПСС не обладал всей той властью, которую обрел президент, разве власть обкомов не была более широкой, чем власть советов? Так-то оно так, да только все падавшая эффективность команд побуждала менять рычаги воздействия на хозяйство и общество.

Речь шла не об отказе от внеэкономического хозяйствования, но все же о чуть более объективном учете критериев хозяйствования, о создании хоть какой-то обратной связи, которая при прямом партийном руководстве могла быть лишь идеологической. а порой и вовсе номинальной. Единство и всеобщность прежнего

хозяйства позволяли не считаться с реальными результатами хозяйственной деятельности, кроме, может быть, военных ее областей, поскольку предполагаемый противник задавал ориентиры, и гонка вооружений, разорявшая страну, была вместе с тем единственной областью, где страна участвовала в конкуренции за достижение мировых стандартов. Однако достижение этих стандартов «любой ценой» привело при Сталине и Брежневе к колоссальной растрате национальных богатств — и сырьевых, и людских, -- равно как к разорению других областей хозяйства и культуры, что, в свою очередь, привело к нынешнему кризису, но одновременно и к некоторому осознанию наиболее дальновидными коммунистами необходимости как-то соотносываться с экономическими законами. И поскольку прямое партийное управление совладать с этой задачей не может в силу самой неограниченности своей власти и веры в ее неограниченные возможности, возникла нужда переориентироваться на государство, которому доступна большая гибкость.

Гибкость эта предполагает, однако, отказ от внеэкономического управления, осуществление его в квазиэкономических формах. Характерно, что чуть ли не тройное увеличение количества денег в обороте и резкое повышение цен осуществляются при сохранении государственной хозяйственной монополии, даже без большой косметики. Между тем движение к либеральному обществу, требующее, конечно, и другой финансовой системы и другой системы ценообразования, должно бы, прежде всего, разорвать тотальную государственную монополию.

Нынче нет недостатка в рассуждениях о «разгосударствлении» и даже «приватизации» хозяйства, но стоит вспомнить, что и форма колхоза, коллективного хозяйства (разумеется, при подлинной его добровольности и независимости), могла быть эффективной, однако прямое внеэкономическое подчинение колхозов райкомам партии и райземотделам лишило колхозы экономической эффективности, обратило их в феодальные хозяйства со сменяющимися помещиками-председателями. Точно так же рекламируемое «разгосударствление» предполагает не подлинную самостоятельность предприятий, но их

круговую зависимость от директив государства. Поддерживается такая зависимость многообразно — тут и преимущества кооперативам и малым предприятиям, открывающимся при больших, подчиненных министерствам заводах, тут и создание подобных предприятий самой КПСС, тут и акционирование, при котором контрольный пакет остается в руках государства, КПСС или ее влиятельных функционеров, тут и преобразование министерств в якобы независимые концерны и компании, тут и право милиции вторгаться без санкции прокурора в любые служебные помещения, тут и создание территориальных объединений промышленных производств, способных сообща оказывать неодолимое давление на местную власть, от которой они практически не зависят. Весь разрыхленный на первый взгляд комплекс предприятий по-прежнему так или иначе управляется из единого центра. Лишь с гражданами, являющимися и рабочими этих предприятий и покупателями их продукции, могут возникать более свободные, вроде бы рыночные отношения, но частичный рынок товаров и рабочей силы без рынков капитала и идей остается, в сущности, монопольным и может повышать цены, не соотносясь с реальной стоимостью, — ведь возникновение конкурирующих независимых производителей и продавцов, способных цены сбить, по-прежнему не предполагается.

И все же переход от чисто партийного, при котором народу отведена роль быдла, к государственному управлению позволил бы лучше ощущать народное мнение, передавать исполнение определенных функций людям, пользующимся народным доверием, а не посаженным сверху, позволил бы даже как-то стимулировать производство. Понятно, переход от партийного управления к государственному лишь создает для всего этого возможности, а использование их зависит уже от воли народа; от его активности, от избрания им депутатов, выражающих его волю, от стойкости и проницательности этих депутатов в борьбе за демократию. Горбачев, конечно, надеялся, что затеянное им частичное отступление к реальности, совмещающееся с народным стремлением вырваться из нарастающей бедности, будет казаться совершенствованием системы, которую в действительности коренным образом

усовершенствовать невозможно. И так бы, должно быть, и оказалось, начнись такое сразу после смерти Сталина или хотя бы падения Хрущева, не обломись иллюзии шестидесятников о броню танков, кативших по Праге. Но, когда приступили к политическим реформам, хозяйственный кризис был слишком глубок, чтобы его быстро преодолеть; судорожные действия нового правительства, прежде всего безудержная эмиссия, его лишь усугубляли. А новые органы высшей государственной власти продолжали издавать законы и указы, кодифицировавшие намерения реформаторов. Лучшей надежды еще какое-то время выстоять в состязании с либеральным обществом, чем, по ленинскому примеру 1921 года, частичное отступление к реальности, у обнажившей свою природу системы и впрямь не существовало. Но с каждым днем отчетливее было расхождение интересов правящего слоя и человека с улицы, влачившегося от одного пустого прилавка к другому.

Разумеется, новая политика требовала идеологических поправок, и на смену догматизации идей Маркса или Ленина выдвинулась канонизация великодержавности и государственности как высших народных благ. Для укрепления идеологии, утратившей сообразность с происходящим, вместо беспощадной рациональности все больше требовалась нерассуждающая вера, и началось прямое сближение с религией, прежде противостоявшей марксизму-ленинизму, и особые возможности получило православие. Оно не хуже ислама способно срастись с идеологией государственного социализма. Не случайно врастают в эту идеологию и великодержавно-шовинистические мотивы. Уже провал европейской революции и переход к социализму в одной стране привел при Сталине к трактовке социализма как национального явления и даже национального преимущества, неизбежно сближавшегося с другими шовинистическими идеями. Не случайно интернационалистами теперь именуют солдат, погибающих ради присоединения к национальной социалистической державе других народов, которыми она призвана руководить. Но перемены в идеологии и ослабление ее повсеместной непеременимости не упразднили идеологический характер государства. Все это

показало, что перестройку нельзя считать отказом от основополагающих принципов феодально-социалистического порядка, что она призвана лишь его упрочить.

Понятно, реальный ее ход не вполне идентичен намерениям реформаторов. Перестройку поддержали прежде всего демократические круги, не задумывавшиеся о пределах возможных перемен внутри сложившегося порядка. Если даже они желали либерального общества, то чаще всего связывали переход к нему с лидером перестройки и, закрывая глаза на то, что его цели куда умереннее, порой даже ратовали за предоставление ему чрезвычайных полномочий, в полной уверенности, что пользоваться ими он станет лишь для расширения демократии, для революции сверху. Одновременно значительная часть партийного аппарата и руководства промышленностью и колхозами опасалась даже умеренных реформ и саботировала их, не позволяя государственным структурам стать эффективнее, чем были партийные. Демократическое движение оказалось слишком слабым, чтобы такому саботажу противостоять, и в итоге не то что переход к либеральному обществу, но даже задуманный компромисс с реальностью так и не осуществился.

Есть, конечно, парадокс в том, что реформатор Горбачев ограничивал, главным образом, демократов, которые, сопротивляясь реакции, только и могли помочь хотя бы умеренной перестройке, и не давал в обиду реакционеров, не желавших и самого скромного компромисса и грезивших брежневскими и даже сталинскими идеалами. Но и этим подтверждается, что даже удача перестройки не привела бы к либеральному обществу. Не будем уж напоминать, что вполне сохраняется возможность восстановить правление сталинского типа, поскольку создание коммунистической партией без официальной санкции законных властей комитетов общественного спасения, использующих армию для подавления демократических движений, является, как выяснилось, ненаказуемым, то есть высшая власть принадлежит фактически по-прежнему коммунистической партии, независимо не только от исхода выборов, но и несмотря на то, что провозглашавшая такую власть статья шестая конституции СССР формально отменена.

Ни одна партия, пользующаяся сколько-нибудь широким влиянием, покамест не выдвинула у нас либеральную программу ни буржуазного, ни социалистического толка. Лишь в национальных движениях, да и то не во всех республиках, подобные тенденции просматриваются, хотя смысл всех национальных движений прежде всего в противостоянии государственной хозяйственной монополии. Но спасение от нее нередко ищут не в либеральном хозяйствовании, но в национальном внеэкономическом правлении, пусть и не достигающем сталинской или брежневской жестокости, хоть и ее не исключающей. Словом, коммунистическое государство, которое Фукуяма поторопился вытолкнуть со сцены, никуда в обозримое время уходить не собирается. Другое дело, каким оно станет, не сумев перестроиться.

Фукуяма пишет: «Непонимание того, что корни экономического поведения лежат в сфере сознания и культуры, ведет к часто совершаемой ошибке, когда явления, по природе своей идеальные, пытаются объяснить материальными причинами», — и продолжает: «Глубинные изъяны социалистических экономических систем были очевидны и тридцать-сорок лет назад любому, кто готов был не закрывать на них глаза. Почему же эти страны отошли от централизованного планирования только в 80-х годах? Ответ следует искать в сознании элит и руководящих ими вождей...» Но, во-первых, и в восьмидесятые годы Советский Союз не отошел от директивного хозяйствования, напрасно именуемого плановым, да и не может от него отойти, покуда существует единая государственная хозяйственная монополия, покуда не существует реальной конкуренции в экономике и, соответственно, в политике. А главное, ложно само по себе чрезмерное противопоставление материального и идеального, заимствованное с перевернутыми оценками из официальной марксистско-ленинской идеологии. Там оно хотя бы прагматически оправдано: государственная идеология внушает людям, что их дело — гнуть спину, трудиться, а не разговаривать, не размышлять, как их труд организован и на что направлен. Эту идеологию выражают и повсеместные упреки депутатам, которые «только разговаривают», а не сеют хлеб и не стоят у станка.

После Макса Вебера нелепо отрицать роль сознания, характера ментальности или этики в экономическом поведении. Но это не значит, что, как в советской философии, все зависит от решения «основного вопроса»: что первично — материя или дух? Что бы ни было исторически первично, экономическая жизнь непрерывно демонстрирует сложнейшее взаимодействие материального и идеального. Тут пагубна абсолютизация как материи, так и сознания. Заявляя, что изъяны социалистических систем были очевидны уже тридцать-сорок лет назад, и тут же утверждая, что причину отказа от них в наши дни следует искать в сознании элиты, Фукуяма побуждает думать, что все кругом эти изъяны видели, только элита не замечала, чем ставит под сомнение умственные способности элиты и самую ее элитарность. Не верней ли признать, что элита, обращая эти «изъяны» себе на пользу, лишь в восьмидесятые годы начала сознавать, что чудесным для нее возможностям приходит конец.

Невозможно отрицать, что материальные факторы играли важнейшую роль в продлении жизни советской директивной системы. Ее укрепляло, к примеру, вовлечение в ее орбиту Восточной Европы: батовские ботинки и польские швейные изделия помогли смягчить напряжение в разоренной войной стране. Еще существеннее была роль огромных запасов нефти и газа, брошенных Брежневым на мировой рынок. Не будь подобного, за перестройку, видимо, принялись бы раньше. И ведь принимались, — и Хрущев, и позднее Косыгин, — но выяснялось, что есть еще порох в пороховницах, есть материальные возможности погодить с реформами. Вот и годили дальше, усугубляя хозяйственную нескладицу, и ныне страна расплачивается за желание элиты продлевать прежний порядок.

Уже в XIX веке у Российской империи были причины переходить к либеральному обществу, и она совершала шаги к нему: это были и проекты Сперанского, и восстание декабристов, и реформы Александра II, и предложения Витте, и революция 1905 года и Февральская, и даже Октябрьская, после которой, что ни говори, были проведены выборы в Учредительное собрание. И всякий раз власть останавливала перемены или проводила их

половинчато и с опозданием, что вело ко всё более резким социальным взрывам.

На любимый русский, вопрос: «Кто виноват?» — история дает ответы. В революции 1905 года виноват Николай II, отклонивший в 1903 году предложения Витте с коренной аграрной реформе, — дело не только в расстреле 9 января, послужившем детонатором всеобщего недовольства. В Февральской революции виноват все тот же Николай II, так и не облегчивший народную участь, да еще обременивший ее войной. В Октябрьской революции виноваты князь Львов, Милюков, Гучков, Керенский и другие деятели Временного правительства, за 8 месяцев у власти не созвавшие Учредительное собрание и слишком мало сделавшие для разрешения аграрного и национального вопросов. В революциях виноваты те, кто до них довели, а не те, кто их совершали. А Ленин, которого ныне изображают виновником всех бед, виноват в том, что разогнал Учредительное собрание и, не назначив новые выборы, заводил социализм в стране, и феодализма-то еще не преодолевшей.

Нынешние сторонники принципов, которыми нельзя поступиться, крайние реакционеры, подобно прежним упрямам, сами подрывают существующую систему. Но это не значит, что они способны к созданию либерального общества, а не еще одной внеэкономической системы с другой идеологией. Горбачёв, как разумный консерватор, не хотел этим довольствоваться, и ради преодоления отсталости страны взялся за перестройку. Но верность убеждениям побуждала, а народная мученическая пассивность позволяла, все больше оберегать от перемен своих единомышленников, и все меньше искать компромиссов со своими идейными противниками — демократами, а в реалистическом компромиссе только и заключалась возможность выхода из кризиса.

Большая и влиятельнейшая часть нашей элиты, вопреки Фукуяме, предпочла не «протестантский» жизненный стиль — стиль богатства и риска, но «католический» путь — путь бедности и безопасности. А безопасность внеэкономической элите в XX веке гарантирует лишь единая монопольная система, в руках которой всеобщее распределение, непосредственно не

зависящее от производства. Да и кто отнимет у такой элиты питающую ее упрямство надежду, что вдруг обнаружатся новые неслыханные запасы нефти или золота, или либеральные общества сочтут, что в их интересах помочь рушащемуся внеэкономическому порядку укрепиться, как это уже не раз бывало? Так что не стоит спешить с провозглашением конца истории.

Летописец у Щедрина ставит роковые слова: «История прекратила течение свое...» — лишь после того, как глуповцев поразило нечто неслыханное: «Хотя оно было еще не близко, но воздух в городе заколебался, колокола сами собой загудели, деревья взъерошились, животные обезумели и метались по полю, не находя дороги в город. Оно близилось, и, по мере того как близилось, время останавливало бег свой. Наконец земля затряслась, солнце померкло... глуповцы пали ниц. Неисповедимый ужас выступил на всех лицах, охватил все сердца».

Щедрин писал о городе Глупове более ста двадцати лет назад, когда еще и предположить было нельзя, что возникнет катастрофическое оружие. И все же он понимал, что даже история Глупова не может окончиться, пока не грянет подобная катастрофа. Вот и не стоит вслед за Фукуямой впадать в эйфорию. Ведь свобода не устанавливается раз навсегда, и даже славные имена вчерашних борцов за свободу порой уже на следующий день служат поправанию свободы, — в этом трагедия коммунистического движения и попыток его усовершенствовать. История — это процесс повседневной борьбы за свободу, и только понимание этого, только каждодневная защита своей и чужой свободы позволит либеральному обществу избежать катастрофы конца истории, который может стать лишь концом свободы.

ПРОНЗИТЕЛЬНЫЙ ФЕДОТОВ

Георгий Петрович Федотов (1886-1951) безусловно — один из самых замечательных русских мыслителей XX века. Увлеченный социал-демократическими идеями, он в 1904 году поступил в Петербургский технологический институт, чтобы, став инженером, быть ближе к рабочему классу. В конце 1905 года его арестовали и приговорили к ссылке, замененной высылкой за границу. По окончании высылки он поступил в 1908 году на историко-филологический факультет Петербургского университета, где занимается историей европейского средневековья. Сохраняя хоть и ослабевшие связи с революционным подпольем, Федотов опять вынужден эмигрировать, жить в Петербурге по чужому паспорту, подвергнуться высылке в Ригу, но сдав по ее окончании государственные экзамены, он вскоре начал работать в Публичной библиотеке.

Со времени поступления в университет совершается постепенный переход Федотова от марксизма к христианству, к обновлению православной мысли, начатому Владимиром Соловьевым, и, выехав в 1925 из СССР, чтобы продолжить занятия европейским средневековьем, он вскоре стал преподавать в Богословском институте в Париже. В Париже, в журналах «Новый град», «Современные записки» и др., развернула и его научная и публицистическая деятельность. После поражения Франции Федотов в 1941 году с большим трудом перебирается в США, где до конца дней преподает в русской православной семинарии в Нью-Йорке, продолжая научную и публицистическую работу.

На всех этапах своего сложного пути Георгий Петрович сохранял свежесть и самобытность собственного ума, подымавшегося над догмами и догматами. Это сделало его во многом одинокой фигурой, ненавистной как правым кругам эмиграции, так и отечественным идеологам. Это предопределило и его меньшую, чем у других, даже не столь замечательных, деятелей серебряного века, известность в наши дни. Но этим же объясняется смелость и глубина его понимания современных исторических процессов и редкостная, часто пророческая, точность его анализов, примером которой служит статья «Сталинокрафия», опубликованная в

«Современных записках» №60 в 1936 году и впервые публикуемая в нашей стране. Сегодня, когда кругом пытаются то отстоять, то радикально пересмотреть канонизированные оценки Октябрьской революции и последующего развития страны, статья Федотова должна наконец вступить в круг чтения русского читателя.

Читатель увидит, почему эта встреча происходит с таким опозданием, и поймет, что в ее ускорении, в привлечении к статье, пусть даже с самой резкой, но публичной, критикой, общественного внимания, не было заинтересовано ни одно из пользующихся у нас реальными возможностями свободного выхода к публике умственных течений.

Преемники и последователи Сталина не могут и ныне, даже в качестве «спорных», допустить утверждения Федотова, что деятельность Сталина, в отличие от деятельности Ленина и Троцкого, «это настоящая контрреволюция, проводимая сверху», а «новый режим в России многими чертами переносит нас прямо в XVIII век».

Но и искренним сторонникам Ленина или Троцкого эта концепция враждебна, поскольку показывает неизбежную «эволюцию революции» и тщету их усилий достичь обещанных революцией целей. Федотов пишет: «Сталин с 1925 года работает над размалыванием ленинского гранита. К 1935 году он может считать свою задачу оконченной». Даже Троцкий до конца дней думал, что в сталинском государстве исходные намерения лишь извращены, хоть и очень значительно, но основа остается пролетарской, как казалось после революции и Ленину и ему самому.

Не устроит концепция Федотова и открытых противников коммунизма, тогда высказывавшихся преимущественно в эмиграции, а ныне и на родине. Федотов пишет: «Еще большинство эмиграции повторяет: в России царствуют коммунисты или большевики, еще мечтают об избавлении России от этих большевиков, не замечая того, что большевиков уже нет, что не они правят Россией», и говорит о пришедших к власти, что это «совершенно не коммунисты, а новые люди, к которым нужно приглядеться». Между тем у нас большевиков и сегодня либо в сталинских традициях обожают, либо разоблачают, но совершенно не стремятся выяснить, кто же эти «новые люди», пришедшие при Сталине им на

смену и поныне занимающие те же места, и чем отличны от них те, кто ныне, уже откровенно проповедуя монархизм или авторитаризм, претендуют на сталинское наследство и его незыблемость.

Серьезная критика российского коммунизма, равно как и сложившихся в стране порядков, требует, вслед за Федотовым, обозначить различие меж Лениным и Сталиным, но не для идеализации того или другого, а для прояснения реальных итогов Октября и, стало быть, смысла нынешних проблем. А ведь сегодняшний антикоммунизм часто держится на отождествлении Ленина и Сталина, поскольку, игнорируя суть начавшейся вслед за революцией трагедии, стремится лишь к смене одежд любезного ему в своей сущности сталинского порядка. Федотов, пятьдесят пять лет назад разглядевший эту суть под иными одеждами, тут, понятно, помеха.

Нелишне напомнить, что даже и в самых точных предсказаниях исследователя неизбежны упущения, вызванные неведением деталей. Федотов не мог предполагать, что убийца Кирова Николаев добился успеха не только по своему вдохновению, но и благодаря незримой сталинской поддержке, масштабы и характер которой известны все еще лишь приблизительно. Говоря, что Россия «не выдержит новой войны», Федотов, опять же, не мог в 1936 году предполагать, что тогдашнюю расстановку сил изменит агрессивное движение нацизма, по сговору со Сталиным на запад, в результате чего при нападении Гитлера на СССР Англия и США станут не противниками, а союзниками нашей страны. Но ход первых лет войны, даже при их материальной поддержке, не позволяет просто отбросить как неверное предположение Федотова о том, что было бы, окажись наша страна перед лицом агрессора одинокой, а агрессор, напротив, обрел поддержку сильнейших мировых держав.

Можно бы оговорить и другие частности, но и они не меняют значимости анализа, проделанного Георгием Петровичем Федотовым. Желаящему знать, что на самом деле произошло и происходит с нашей страной, прочесть «Сталинокрапию» необходимо, тем более что и сегодня сходные мысли у нас высказывают лишь редчайшие единицы. Согласится читатель с Федотовым полностью, или частично, или даже отвергнет его доводы, сочтя для себя, однако, обязательным как-то иначе ответить на

прямо поставленные им вопросы, вовлечение статьи в круг современных раздумий пойдет на пользу национальному самопознанию.

СОБЛАЗН ЕДИНСТВА

Сколько себя помню, идет борьба. Борьба с кулаками и подкулачниками. Борьба с троцкистскими и иными двурушниками. Борьба с безыдейностью и упадничеством в литературе и искусстве. Борьба с пженауками генетикой и кибернетикой. Борьба с космополитизмом. Борьба за мир. Борьба за достижение военного паритета. Понятно, статью Мариетты Чудаковой «Блуд борьбы» в «Литгазете» (№43 от 20.10.91) я схватил, воображая, что корень зла многотрудной жизни нашего отечества наконец-то выходит на свет.

Оказалось, речь совсем не о том, чтобы непрерывная борьба уступила место чему-то противоположному, а о том, что «мы все еще имеем дееспособного противника» и «нам придется еще общими усилиями сломить сопротивление тех, кто готовится похоже к повторному наступлению». Вот Чудакова и зовет к единству в нескончаемой борьбе. К единству демократов, к единству хороших людей. Но ведь борьба всегда у нас и шла под знаменем единства, морально-политического единства советских граждан, единства партии и народа, единства рабочего класса, крестьянства и трудовой интеллигенции. На противной стороне располагались отдельные отщепенцы. Различать за их враждебными голосами объективные социальные и национальные противоречия давно не принято. Тем более не принято допускать хоть какие-то разногласия среди «наших», тех, кто всегда прав. Люди привыкли быть заодно, идти верным курсом и помалкивать.

Свобода слова потому и стала насущной потребностью, что без нее ни обществу, ни гражданам не осознать самих себя. Ветер свободы вынес разную, порой неприглядную наличность, не только одинокие мечтания о всеобщем братстве, но и выходки «нашизма», отечественного фашизма. Ну, что ж, чтобы что-то изменить к лучшему, надо видеть вещи как они есть. Давно ли сама Мариетта Омаровна на Булгаковских чтениях в Ленинграде требовала свободы антисемитизма, стремясь оградить выдающегося писателя от упреков за неприязненные суждения о евреях в личном дневнике, опубликованном журналом «Театр». Признаться, меня тогда поразило, что сугубо личные записи,

запечатлевающие больше ход, чем плод, мыслей автора, относили к антисемитским, когда антисемитизм — явление общественное, проповедь ненависти, практика неравноправия, а питать личную любовь к целому народу, — к евреям ли, к неграм ли, к русским ли, — никто не обязан. Наивно строить земное общество на обязательности всеобщей любви, — любовь по самой своей природе избирательна и индивидуальна. Обществу надобно преодолеть ненависть. Но вот уже и публичная пропаганда ненависти, и антисемитской, и антирусской и всякой другой, у нас дозволена, и можно задуматься, что на деле стоит за нестихающими распрями. Однако наблюдательная исследовательница Булгакова и Зоценко без тени юмора сводит все к тому, что «микроб ссоры, недоброжелательства поселился в нашей публичности, в нашем печатном слове». Распри, выходит, от дурных нравов, от «стремления к власти», и лучше бы, как привыкли, помалкивать, не путаясь у добрых начальников под ногами.

Нынешнее размежевание с марксизмом побуждает многих торопливо размежеваться со всяким социальным мышлением и, в частности, с пониманием противоречивости человеческих интересов, возникшей задолго до Маркса. Вместо того, чтобы преодолеть навязшую в зубах абсолютизацию классовой борьбы и вспомнить о неизбежности одновременного классового сотрудничества, без которого общество просто разваливается, на социальные конфликты закрывают глаза, сводя их к личной вздорности. Между тем, демократия начинается с признания различия людских интересов и необходимости их сознательной координации. Демократия, в отличие от диктатуры, держащейся подчинением и борьбой, живет социальными компромиссами, взаимностью уступок. Демократия защищается, но не нападает.

Чудакова и ее сторонники как раз и выступают против взаимности. Из опубликованного газетой «Демократическая Россия» отчета о заседании «Московской трибуны», где обсуждался доклад Чудаковой, можно узнать, что соображения Юрия Карякина, заседающего в российском президентском совете, по его собственным словам, действуют там «как

горох об стенку». Но и Карякин убежден, что это не повод указывать власти на ее промахи публично.

Почему, однако, президент не слышит Карякина, им самим избранного в советники? Не оттого ли, что Карякин стал лишь советником, лишь членом команды? А когда он, не заседаая еще в высоких комитетах и советах, публиковал «Ждановскую жидкость», его звучным голосом говорил целый общественный слой, который желающему выглядеть демократом приходилось слушать.

Парадокс публичности не велит заноситься по поводу собственных дарований, у некоторых немалых. Лучшие слова, покуда говорятя втайне, — друзьям ли на кухне, президенту ли на ушко, — немного стоят. Они обретают вес, лишь обращаясь зернами кристаллизации страстей и раздумий тысяч людей, выстраиваясь для них лестницей самосознания. Поэтому ограничение свободы слова, уход общества от предварительного рассмотрения всех аргументов и контраргументов, порождает импульсивные взрывы, в вихре которых власть часто способствует вовсе не тому, к чему сама вроде стремится.

Даже Горбачев продолжал попустительствовать спецназам и омонам в Грузии и Прибалтике. А ведь он уже признавал, что сохранение связей между советскими республиками возможно лишь при сугубой добровольности. Но это жило где-то в его уме, а практически он не посчитался сперва с Бразаускасом, а после с Прунскене, ощущавшими, что без независимости дружба с Россией для Литвы невозможна. Голоса, проясняющие сущность выбора, помогали бы понять, что дружба с независимым соседом лучше, чем разрыв, но для них часто не было места в русской печати. Винить в результатах надо не Ландсбергиса, а Бурокаявичуса и Шведа с Комитетом национального спасения и тех, кто захватывал вильнюсский телецентр. Но одновременно и свою печать, именно ради углубления реформ остерегавшуюся резко возражать президенту-реформатору.

Чудакова защищает Горбачева от подозрений в причастности к ГКЧП, напоминая, что в роковой час он совершил мужественный выбор. Но кто, как не Горбачев, создал эту альтернативную ситуацию, кто расставил кадры ГКЧП в государственных органах? И ведь на пост вице-президента он выдвинул не А.Яковлева, даже не

В.Бакатина, которые, по крайней мере, не совершили бы личного предательства, а годность компанейского Генки Янаева к высокой должности и самая его фигура в печати даже не обсуждались. Между тем, соверши Горбачев свой выбор вице-президента в условиях открытого обсуждения с учетом настроений всего социального спектра, он избавил бы себя от мучительного выбора, который пришлось совершать в Форосе, думая о безопасности жены, дочери и внуков. То, что верх в нем все же взял серьезный политик, оцененный миром, не причина забыть о былом требовании повторно голосовать за Янаева, которое могло бы уже и отрезать возвращение к здравому смыслу. А будь печать попридирчивей к избранию вице-президента, Горбачеву пришлось бы еще на свободе продумать все то, что он продумывал взаперти в Форосе.

То же и с Чечней. Слов нет, ее самоопределение не обошлось без юридических погрешностей, и желание российской власти их исправить было бы оправдано, не позабудь она памятные Кавказу куда более страшные «погрешности», совершенные по отношению к чеченцам и все еще совершающиеся по отношению к ингушам. Даже слабое шевеление спецназов и омонов тамошние народы не могли воспринять иначе как поступь нового Ермолова, хоть генерал Руцкой, вероятно, и не мечтал о подобной славе. Бог милостив, у российского парламента и президента покамест хватило ума дать задний ход, и обошлось без жертв. Но ведь и это могло быть наперед публично продумано, проговорено и выявлено не просто советниками, но демократической печатью, отражающей многообразие гласа народного.

Возобновляющиеся великодержавные рефлексy задевают слишком большую ткань, чтобы не оставить след, не нанести ущерб доверию к новой России, пробужденному дальновидным призывом Ельцина к автономиям брать столько самостоятельности, сколько по силам. Остается, впрочем, соблазн счесть формой сопротивления великодержавности преобразование автономных республик в союзные, и на этой почве укрепляется ни от кого не зависящий могущественный центр, позволяющий себе и дальше пренебрегать реальными нуждами миллионов во всех республиках. Вот печати стоило бы и российскому руководству напоминать, что за великодержавное рефлектирование оно платит

укреплением тех самых сил, из-под державной пяты которых резонно хочет высвободиться.

Лучшим тайным советникам не возместить соревновательное многоголосие печати в просветлении любых общественных конфликтов. Их неразрешенностью ожесточен и демон национализма, возводимый ныне к чему угодно, но только не к реальности. А ведь безжалостная война сербов и хорватов, говорящих на одном языке, вызвана не чем иным, как тем, что одна республика хочет наладить стоимостное хозяйство, а другая сохранить внеэкономическое, — вот на ее стороне и выступает общая, казалось бы, армия. У нас за национальными распрями стоит все тот же социальный спор о внеэкономическом порядке. А нам внушают, что качество жизни изменится, если освящать команды не марксизмом-ленинизмом, как при секретаре Иосифе Виссарионовиче, а православной верой, как при государе Алексее Михайловиче.

Нас уверяют, что переход от внеэкономического хозяйствования к стоимостному — дело неслыханное, никем не опробованное, хотя многие народы за четыре века благополучно перешли от феодальных отношений к буржуазным, и процесс этот почти всюду шел путем формирования национальных государств. Космополитизм куда симпатичнее национализма, но нелепо отрицать, пусть и не радующую, закономерность такого перехода. Надо лишь неукоснительно соблюдать в новых государствах права человека, тем более, что без них и стоимостные отношения ущербны. Как показывают западные примеры, национальное государство само по себе вовсе не обязательно ведет к шовинизму, от которого, как мы по своему опыту знаем, интернациональные декорации с показной дружбой народов тоже не спасают. Да и отношения между новыми национальными государствами скрепляются взаимной выгодой и доброжелательностью, а не диктатом.

Выбор меж внеэкономическим и стоимостным хозяйством это одновременно выбор меж авторитарной и представительной системой, между борьбой и компромиссом. Почему же люди, именующие себя демократами, велят воздерживаться от публичной критики властей и ратуют за укрепление президентов и мэров и

унижение парламентов и местных советов? Не в том ли дело, что вовсе они не демократы?

Кругом твердят, что демократы, придя к власти и не поделив ее, стали друг с другом враждовать. На деле демократы не только не пришли к власти, но не обрели даже статус полноправной оппозиции. Борьба идет не среди демократов, а между демократами и псевдо-либералами из бывших коммунистов, как раз и овладевшими властью, а нередко просто оставшимися у власти. Они объявили себя демократами, широкогласно внушая будто проводят реформы, а на деле не то что решительные перемены, но даже умеренный социальный компромисс, без которого стоимостное хозяйство невозможно, осуществить не спешат. Нельзя же всерьез утверждать, что само по себе освобождение цен способно сделать монопольное хозяйство стоимостным! В 1947 году Сталин, удешевив деньги в десять раз и подняв цены в четыре, проделал именно то, что проделывается сейчас, — ограбил граждан. Но он, по крайней мере, сделал это в один присест, а главное, укрепляя внеэкономическую систему, не изображал себя ее упразднителем.

Немногих проклюнувшихся демократов у нас винят в непомерном радикализме, отводя им край политического спектра, именуемый то правым, то левым. На деле демократия образует как раз центр, поскольку она открыто отражает объективную социальную реальность с ее многоголосием. По одну сторону от нее клонятся к авторитарности, как идеалу порядка, по другую — к анархии, издавна противопоставляющей всевластию феодально-абсолютистского государства власть свободных разбойников. Никому и не снилось, что эти крайности сойдутся, что государство станет разбойничьим, а банды — состоящими на государственной службе.

Именно такое государство, целиком подчинившее себе всех и все, подменившее своим произволом отвечающее природе вещей органическое развитие, мы называем тоталитарным. Его сторонники, — тут с Чудаковой спорить не приходится, — и впрямь готовятся к повторному наступлению. Но, чтобы это наступление остановить, нужно не «объединиться на любой... программе», а последовательно утверждать стоимостное хозяйство и базирующиеся на нем социальные гарантии.

Кто бы этому ни противился, республиканское или местное начальство, «наши» или «не наши». Обратный поворот опасен, пока люди не обрели жизни, в которой ощущают себя людьми и защищать которую готовы без понуканий, ради себя и детей. А если ограбление народа будет продолжаться, если расплату за просчеты прежнего государства будут по-прежнему валить на людей, словесное единство поворот не предотвратит.

Избавление от тоталитаризма состоит в одновременном преодолении авторитарной и анархической крайностей. Прежде всего, в отделении хозяйства от государства и, вообще, в сокращении непомерной роли государства. Охрана природы, правовой порядок и независимый суд, регулирование финансов, социальное обеспечение, здравоохранение, поощрение образования и культуры, — вот основное, что от государства требуется. Плюс, разумеется, в той мере, в какой существует внешняя опасность, защита отечества. Лишь тогда усилия отдельных людей станут приносить пользу обществу, а не только вознесшейся над ним власти. Когда же без усталости твердят о необходимости укрепить власть и в неколебимом единстве, держа языки за зубами, сплотиться в борьбе и следовать за харизматическим вождем, — не будем себя обманывать, — нас влекут не к преодолению прошлого, а к его возрождению в будущем, разве что чуть иначе расцвеченным.

СОГЛАСИЕ БЕЗ ПРИНУЖДЕНИЯ.

Более полутора столетия назад, после подавления очередного польского восстания, Пушкин вспоминал, как он с друзьями жадно слушали польского поэта, который "говорил о временах грядущих, Когда народы, распри позабыв, В великую семью соединятся". Желать того же нынче побуждают и нужды хозяйственного развития. Между тем наш век отмечен небывалым обострением национально-освободительных движений. Великие империи рушатся. Испанская скончалась еще в прошлом веке. С начала нынешнего активизировались центробежные силы в Британской, Французской, Австрийской, Российской. От Австрии после первой мировой войны отпали Венгрия, Чехословакия, Хорватия, Словения, Босния, Воеводина. От Британской и Французской к середине века отделились почти все доминионы и колонии. Российская не распалась лишь благодаря Ленину, прокламировавшему замену "тюрьмы народов" их равноправным Союзом. По мере обнаружения в нем неравенства, дошедшего до массовых депортаций, и у нас национальное самосознание обострялось.

Между тем, особенно в Европе, необходимость в хозяйственном единстве все росла. Первой в новое время попыткой объединения Европы парадоксальным образом стало фашистское завоевание, позволившее новой имперской канцелярии какое-то время распорядиться ресурсами от Атлантики до Волги. Но у кого повернется язык назвать героическое сопротивление покоренных народов фашистскому диктату - сепаратизмом? Именно победа над фашизмом побудила думать о подлинном объединении Западной Европы, подтвердив объективную необходимость в нем, но только на противоположных началах - место команды заступила взаимовыгодная координация интересов.

Центральное место в объединенной Европе вроде бы опять у Германии, но уже у другой, дорожащей не столько давней славой своих солдат, сколько столь же давней доброй репутацией банкиров и предпринимателей Рейнской долины и вольных ганзейских городов. Сопоставление сменивших друг друга единых Европ - Третьей империи и Европейского сообщества проясняет почву национальных конфликтов. Это недобровольность,

неравноправие, желание одних решать за других, что тем лучше, и силой навязывать свою волю. Кто понял это, должен понять, что объективно необходимому единению народов способствует их самостоятельность, а разобщению - насилие.

Такое понимание нередко запаздывает, приходит, когда ожесточенная национальная самозащита обретает черты, схожие с вызвавшим ее угнетением. Тут забывают о беспощадном великодержавном национализме и в национализме винят лишь тех, кто защищается от имперского насилия. А ведь отшатываясь от авторитарных порывов былого диссидента Звиада Гамсахурдиа, надо держать в памяти тех, кто вынудил свободолюбивый народ отвечать на бескомпромиссность бескомпромиссностью. Не будь преступного кровопролития в Тбилиси 9 апреля 1989 года или будь руководивший им генерал Родионов хотя бы разжалован и уволен из армии, как опозоривший честь русского офицера, Грузия жила бы сегодня иначе и, может быть, не стремилась бы к столь резкому разрыву с другими республиками.

Там, где у людей нет права объединяться с другими людьми, страдающими от такого же национального или социального угнетения, у них нет и остальных прав, человек одинок перед лицом тотального государства, и его права, красиво записанные в Сталинской конституции, силы не имеют.

Равноправие людей, независимо от их национальности или мировоззрения, - первый признак и первое условие демократии. Но простое опрокидывание границ, "чтобы в мире, без России, без Латвии, жить единым человеческим общежитием", ведет не к желанной цели, а к обратной. Более многочисленный народ у нас невольно ущемляет язык и культуру малочисленного, не оберегаемые специально, уже хотя бы потому, что латыш в Москве сознает необходимость говорить по-русски, но русский, постоянно живущий в Риге, нередко и не думает говорить по-латышски, вынуждая и тут латыша говорить по-русски.

Многонациональные содружества жизнеспособны лишь там, где базируются на добровольности и демократическом порядке* Имперские амбиции порождают страсть к разрывам. Югославская федерация

еще служила бы сотрудничеству своих народов, преобрази они ее, как хотели некоторые, в конфедерацию. Но защищавшие свой гегемонизм сбрасывали бомбы на республики, мечтавшие о большей самоспюательности, и подорвали возможность сотрудничества. Между тем добровольно сложившийся некогда Швейцарский союз потому и не распадается, что демократический порядок позволяет тамошним народам и без специальных усилий жить, как они хотят.

Не придется радоваться, если связи между народами нашей страны оборвутся или сменятся открытой враждой. Но единственная возможность их сберечь в современном мире состоит в том, чтобы позволить на месте империи Ивана Грозного и Иосифа Сталина сложиться, по примеру Европы, добровольному и равноправному сообществу демократических государств, держащемуся взаимной координацией интересов, а не послушностью возвышающемуся над ним центру. Лишь когда для выхода из такого содружества довольно будет своего желания, а для вступления в него, напротив, потребуется согласие всех, народы без понуканий захотят соединиться в великую семью.

БУЛАТ И ЗЛАТО

В городе, именуемом окном в Европу, мы мечтаем сегодня о едином европейском небе. Мечта не пустая, но не забудем, что над средневековой Европой небо, при всех контрверзах, было единым. Мы законно сопоставляем киевских князей с франкскими королями, или Новгород с Любеком, не говоря об общем для Европы христианстве. Древняя Русь была страной европейской. Никаким новым теориям не отменить историю.

Но под европейским небом сегодня горит Дубровник, и самое время вспомнить, что Европу разделяло и разделяет поныне. Ее относительное единообразие рухнуло, когда наряду с обществами традиционной внеэкономической силы возникли общества более плодотворных стоимостных отношений. Как великий Пушкин лучше всех обозначил различие их первооснов: «"Все куплю" — сказала злато, "Все возьму" — сказал булат». За двести, если не больше, лет до Петербурга началась Европа злата — Нидерланды, Англия, Франция, Северная Италия, Рейнская долина, но уцелела Европа булата — Австрия, Пруссия, Россия, и в стене между ними светилось петербургское окно. Сегодня эти две тенденции не ограничены Европой, это не географические особенности, и Америка, и Азия, и другие континенты знают обе разновидности общества.

Я не идеализирую общество злата, но вместе с водой его пороков из массового сознания выплеснута способность считать, что почем, понимать стоимость вещей, труда, таланта, денег, а теперь и природы. Потому там и удается бедным, по существу, странам жить, по нашим понятиям, богато. Достижения булата тоже у всех на памяти, но опять же забывают главное его свойство — готовность не стоять за ценой, и в итоге — нескончаемые растраты природных и людских сокровищ, отчего в богатейших, как наша, странах, люди нищенствуют.

Покуда к западу от Эльбы утверждалась власть денег, на востоке укреплялась феодальная реакция, ожесточавшая прежние порядки и, в частности, то, что непопулярный нынче Энгельс метко назвал вторым изданием крепостного права, которое у нас оказалось почище первого. И если в Европе в XIX веке испытывали страх перед Россией, зовя ее тогда жандармом Европы, то

этот страх коренился в наших крепостнических порядках, в торговле живыми крестьянскими душами. Именно тогда особенно часто противопоставляли плохой Европе, гнилому Западу хорошую Россию, немилосердной власти денег противопоставили, как идеал, совсем уже бесчеловечную власть чиновников и крепостников.

После первой мировой войны народное недовольство смело не только российскую — тут мы отнюдь не уникальны, — но и германскую и австро-венгерскую монархии, но перемены в хозяйствовании оказались слишком малы, а привычка к булату слишком велика, и под флагом социализма взял реванш новый абсолютизм. Этот феодально-социалистический абсолютизм именуется здесь коммунизмом, там — национал-социализмом, еще где-то — исламским социализмом. Происхождение и идеологические обертки — разные, но суть одна — приверженность к традициям булата. Европу спасло то, что неофеодальным державам, вопреки стремлению их лидеров действовать заодно, пришлось сражаться друг с другом, и гитлеровская Германия рухнула в 45 году, а сталинская Россия живет уже сорок лет без Сталина и по существу не переменялась, хоть испытывает тяжелейший кризис.

Говорят, что и она тоже, дескать, потерпела поражение в третьей мировой войне, и даже валят вину за это на предательство, якобы совершенное Горбачевым. Все это демагогический вздор. Наша армия и сегодня сильнее всех на свете, и в случае войны она в состоянии уничтожить весь мир. Но она не в состоянии защитить от уничтожения Россию. И не потому, что армия плоха — при всех ее сложностях армия и сегодня у нас один из самых конкурентоспособных организмов, — а потому, что обозначились пределы возможностей булата, ставшего ядерным, и ныне лишь разоряющего, а не обогащающего, как прежде, тех, кто на нем держится. Что и обозначило предел феодального абсолютизма.

Горбачев признал пагубность тоталитаризма для страны и этим навсегда вписал себя в историю. Но, не поддаваясь нашей обычной манере топтать поверженного, следует помнить, что сам он за шесть лет не сделал ничего, чтобы преодолеть военно-бюрократический булатный режим. Не продвинулись в этом и его преемники. Наша система, подобно ящерице, в

минуту опасности отбрасывающей хвост, лишь отбросила идеологию марксизма-ленинизма, но осталась тоталитарной. Тоталитарностью мы называем полный контроль государства над обществом. Высшая форма такого контроля — государственная собственность, при которой власть и владение сливаются. Наше государство остается и сегодня тоталитарным, поскольку монополия государственной собственности не только не слабеет, но укрепляется.

Анпиловы, Астафьевы и Аксютчицы, не способные предложить ничего, кроме возврата к откровенному сталинизму или национал-социализму, бранят за чрезмерный радикализм Гайдара, пытающегося построить сталинизм с человеческим лицом. Но на деле никакой он не радикал и даже не реформатор, поскольку государственную собственность не только не ограничивает, но своими мероприятиями еще укрепил ее всевластие.

Гайдару, личную честность которого я отнюдь не подвергаю сомнению, возможно, кажется, что, предоставив ценам свободно подниматься выше мирового уровня, наш циклопический государственный сверхконцерн войдет в мировую экономику и потом уже сможет заниматься внутренним самоусовершенствованием. Но это в лучшем случае самообман. Свобода цен осмысленна как свобода их установления конкурирующими производителями, а называть свободой неограниченный произвол вооруженного булатом монополиста — это насмешка.

Все это от веры в сильную власть, хотя именно сильная власть, власть Ивана Грозного, Николая Первого и Сталина разоряла эту страну. Когда мы говорим, о Российской империи, царской или советской, следует помнить, что она феодальная, а не буржуазная, как была Британская, и поэтому народ, именуемый в империи первым, пусть с добавлением «среди равных», русский народ, в большинстве своем не только не имел от империи выгод, но имел еще дополнительные тяготы по ее расширению и охране, а выгоды доставались привилегированным, правящим слоям. Потому-то освобождения от груза империи хотят, как мы видели в последние год, не только литовцы или азербайджанцы, но и верно понимающие национальные интересы русские. А

против них, как мы видели по телевидению, выступают другие русские, кормившиеся и желающие дальше кормиться от имперского стола. Вообще национальные проблемы у нас, как и в Югославии, прежде всего проблемы социальные, и отождествлять всех русских с империей так же нелепо, как всех евреев отождествлять с большевизмом. И то, и другое отождествление строится на грубейших фальсификациях и замалчивании фактов.

Одним словом, чтобы войти в Европу, надо строить хозяйство не на дальнейшем разорении народа, а на реальной передаче каждому собственности, которой люди номинально владеют сообща.

Здесь нет возможности обсуждать, как лучше провести эту передачу, но под именем приватизации уже очертились разные способы разворовывания общего добра: то начальниками с теневыми подручными, то привилегированными трудовыми коллективами, и прежде богатевшими за счет других. А ведь когда в Европе совершался переход от булата к золоту, собственниками становились не только лэндлорды и откупщики, но миллионы английских йоменов и французских вилланов.

Корень нашего зла — в единстве власти и владения. Даже толстякам Юрия Олеши, которых все нас учили ненавидеть, все же приходилось ради прибыли что-то продавать населению. А у владеющего всем государством нет к этому стимула. Все, что оно недополучает в своих магазинах с пустыми полками, оно умеет просто отобрать, и систематически это делает. У нас потому и распространено воровство, что государство, подавая пример, непрерывно ворует у граждан.

Я охотно верю в самые лучшие намерения впервые обретенной нашей страной законного президента. Но люди демократических убеждений не вправе уклоняться от анализа социального смысла реальной деятельности правительства, сколь бы искренни ни были его добрые намерения. Реформы ведь так и не начались, и рынка, если не считать торговлю разворованной гуманитарной помощью, по-прежнему нет. Нашу страну теперь часто называют пост-коммунистической, но называть её так можно, лишь закрыв глаза на различие между платьем и плотью. Нынешний период в лучшем случае можно назвать пост-идеологическим, да и то нам уже навязывают другую монопольную идеологию, и по радио вместо

Ленина славят Победоносцева. Конечно, они люди совсем разные, но оба более всего ненавидели парламентаризм и демократию, вот и выходит, что вывески меняются, а суть остается.

Профессор Витторио Страда, конечно, прав, когда говорит, что все эти семьдесят лет, время ссылки Бахтина, каторги Мандельштама, отлучения Зощенко и Ахматовой и многого другого, следует квалифицировать как время наступления антикультуры. Но, надеюсь, он согласится, что точно так же следует квалифицировать время ссылки Пушкина, каторги Достоевского, отлучения Толстого. И в давнее, и в недавнее время культура, нередко великая, рождалась и погибала под натиском обеих антикультур, борющихся между собой, но одинаково рьяно насаждавших собственные порядки булатом. Оттого и невозможно просто вычеркнуть ни триста лет дома Романовых, ни семьдесят с лишним лет большевизма, невозможно объявить: это -- абсолютное добро, а то -- зло. Плодотворней задуматься о природе единого зла во вроде противоположных явлениях.

Войдем ли мы в Европу — решится не на заседаниях Международного валютного фонда. Пока мы не станем европейцами дома, пока не отделим хозяйство от государства, пока будем надеяться на порядок, наводимый булатом, не стоит рассчитывать на место в европейском доме.

Великий русский писатель говорил: если на стене висит ружье, оно должно выстрелить. Это ружье стреляло в Тбилиси и Вильнюсе, оно стреляет в Дубосарах и Дубровнике, и, судя по сообщениям телевидения, готово стрелять дальше. И покуда сила и угроза силой, угроза висящего над нами булата остается обыденным бытом, даже и в самом, быть может, красивом городе Европы, о едином европейском небе приходится только мечтать. Впрочем, об этом уже сказал великий поэт:

О, небо, небо, ты мне будешь сниться!
Не может быть, чтоб ты совсем ослепло,
И день сгорел, как белая страница:
Немного дыма и немного пепла!

ЧТО ЗА СЛОВОМ?

С чего это Россия именует своих интеллектуалов иначе, чем остальные страны, обозначает их особым русским, хоть и от латинского корня, словом «интеллигенция», — говорят, его придумал либеральный бытописатель Боборыкин? Александр Иванов не задается этим вопросом, хоть упорно -- и совершенно справедливо -- утверждает, что «интеллигенция — чисто российский феномен». А за время, протекшее между первой и второй его статьями, можно бы углядеть, что особенный этот феномен — не проявление нашей российской глупости, как уверяет пародист, что интеллектуальный слой и складывался в России иначе. Одно дело его постепенный рост в странах стоимостного хозяйства, где и абсолютные монархии, английская или французская, возникали в ходе социального компромисса. Другое — насаждение его в абсолютной монархии восторжествовавшей феодальной реакции, желавшей не уступить в чисто техническом, как тогда казалось, состязании. Петра I за многое бранят, но именно он развел интеллектуальную рассаду в крепостническом царстве.

У основания российской науки стоят такие грандиозные фигуры, как Леонард Эйлер, Карл Бэр, Михаил Ломоносов, разом приобщившие ее к европейским вершинам, ставшие российскими университетами. Подобное происходило и в искусстве. Живопись и литература как бы рождались заново, не озираясь на гениальность Рублева или Аввакума. Не будем уж говорить о великом русском балете. Восемнадцатый век начинает новый отсчет. Эта вроде бы произвольная, а на деле предопределенная давней, еще киевской и новгородской принадлежностью к Европе, реевропеизация никак не ущемляет национальное достоинство. Можно, напротив, лишь подивиться столь быстро занятому месту рядом с вчерашними учителями. А если равняться с Соединенными Штатами, проступают даже наши преимущества. Лишь в XX веке Америка начала обгонять Россию, причем во многом потому, что Америка принимала беженцев, а Россия понуждала бежать и ликвидировала замешкавшихся.

Интеллектуальный слой, который властям приходилось создавать, не слишком уживался с

отведенными социальными рамками. Но его редко рассматривали как социальное целое. Задолго до А.Иванова иные сочли, что Софья Перовская — интеллигентка, а Софья Ковалевская — нет, Что Николай Кибальчич — интеллигент, а Николай Жуковский — нет. А всерьез-то невозможно даже сказать, что Андрей Желябов был интеллигентом, а Александр Романов не был. То-то и оно, что был. Не зря при нынешней любви к монархии и лично к Николаю II, вина которого перед Россией не стала меньше оттого, что его расстреляли без суда, а семью и челядь погубили и вовсе безвинно, об Александре II, тоже убитом без суда, но, сверх того все же давшем людям волю, законный суд и многое другое, нынешние монархисты и словечка доброго не говорят. А все ведь потому, что был интеллигент, воспитанник великого поэта. То, что царь казнил революционеров, а революционеры бросали бомбы в царя-реформатора, заслоняет от нас то, что и царь, и его убийцы, пусть совершенно по-разному, считали необходимым расстаться, наконец, с феодально-абсолютистскими порядками.

Жизнь интеллигенции была глубоко противоречива. И в Российской империи, и потом в Советском Союзе, даже при Сталине, создававшем циклопический ВПК, власти открывали школы и университеты, способствуя умножению интеллектуалов. По Иванову, им надлежало не отвлекаться от работы по специальности, трудиться «засучив рукава». Но так именно и трудились земские врачи, учителя, русские инженеры. Так трудились многие и после революции, часто за мизерную плату, куда меньшую, чем зарплата рабочего. Однако плоды труда зависят не только от прилежания труженика, но и от условий, в которых труд совершается, а труд российских интеллектуалов и до и после революции во многом оставался невостребованным и даже тормозился, отнюдь не только в гуманитарных сферах. Радио изобрел в Петрограде А.С.Попов, а телевидение — там же Б.Л.Розинг, но радиоприемники и телевизоры стали выпускать не у нас. В то время как в странах с буржуазными отношениями интеллектуалы, особенно после научно-технической революции, фактически составили особый общественный класс, класс пролетариев умственного труда, с которым общество считается, у нас они оставались подсобной, прикладной

силой империй. Отсюда и невнятное обозначение «прослойка». Отсюда и пестрота российской интеллигенции.

Вспомнив, что двоюродными братьями Петра Никитича Ткачева, одного из самых страшных персонажей русской революции, предвосхитившего аморализм большевиков, были Николай Федорович Анненский, виднейший либеральный народник, ближайший сподвижник В.Г.Короленко, и Иннокентий Федорович Анненский, великий поэт, оказавший могучее влияние на поколение Ахматовой и Пастернака, мы поймем, что даже в кругу одной интеллигентной семьи нелепо говорить о единых действиях и общей вине. А если еще вспомнить, что от последователей Ткачева резко отличались последователи Лаврова, говорившего: «Мы не хотим новой насильственной власти на смену старой, каков бы ни был источник этой власти», — и последователи Льва Толстого, боровшиеся против зла всеми средствами, кроме насилия, мы убедимся, что речи о коллективной вине интеллигенции, и даже одной ее неконформистской части, не отличаются от обычного прокламирования коллективных вин. Сколько уже раз мы слышали, что в чем-то ужасном виноваты все дворяне, все кулаки, все казаки, все немцы, все евреи, все русские, все лица «кавказской национальности»! Но вина — понятие индивидуальное, и групповая ответственность наступает лишь там, где налицо признаваемая причастность к организованной группе. Объяснение социальных процессов коллективными винами как раз и прячет действительные причины трагического оборота вещей.

Можно понять, что для Екатерины не было разницы меж Радищевым и Пугачевым — оба бунтовщики! Но даже не входя в то, что вину за бессмысленный и беспощадный бунт не свалить на одних бунтовщиков, обеляя тех, кто упорно противился мирным социальным переменам, не стоит забывать, что антифеодальные крестьянские восстания, покуда не прорезались буржуазные отношения, еще не содержали в себе коренной альтернативы феодальным порядкам. Тем более не могла она возникнуть в России, где феодально-абсолютистская реакция довела расцветшее только к востоку от Эльбы «вторичное» крепостничество до продажи людей с торгов. Восставшие крестьяне мечтали лишь о другой, доброй

царской власти, и Пугачев выступал как ускользнувший от злой жены добрый царь, но именно царь. Совсем другое дело Радищев, последователь французских просветителей, мечтавший о реальной альтернативе феодализму, о «вольности частной». Не нового Пугачева он жаждал и уж, конечно, не ГУЛАГ, а, напротив, разумных преобразований, способных снять угрозу новой пугачевщины, совершенно так же, как потом, декабристы не за одно лишь освобождение крестьян ратовали, но, тем самым, и за спасение дворянства от плодов многолетнего крепостничества, поздней воспоследовавших. Особенно не стоит это забывать и потому, что после Октября, на смену феодальным самодержцам, к власти пришли новые Пугачевы, подобно Емельяну Пугачеву, верившие, что несут народу свободу и благоденствие, хоть заводили они лишь неофеодальный порядок, выступавший под социалистическими знаменами с портретами Маркса.

Портрет Маркса тут не просто прикрытие, и сожительство марксизма с российской феодальной традицией было не случайным. Хоть мысли Маркса отнюдь не «бред», как выражается А.Иванов, и многие из них, в частности, материалистическое понимание истории, сохраняют свое значение и ныне, а в XIX веке они, конечно, пусть и односторонне, способствовали развитию социальной мысли и общественного сознания, нельзя не считать с тем, что его теории складывались в атмосфере потерпевшей поражение буржуазной революции и несут на себе печать феодального мышления. Из-за этого в экономической теории Маркса лишь физический труд почитается истинным трудом, создающим стоимость, а умственный фактически лишен такой роли в общественном производстве.

Понимая, что именно машина позволяет рабочему повысить производительность труда, Маркс пренебрег интеллектуальным вкладом создателя машины в каждый производимый с ее помощью предмет, поскольку этот авторский вклад как бы компенсирован раз и навсегда за счет постоянного капитала. Но по мере возрастания технической вооруженности и темпов ее обновления такое отношение к умственному труду и интеллектуальной собственности все больше деформировало понимание социальных процессов и, в частности, установление реальных создателей прибавочной стоимости и

установление тех, кому она на деле достается, что, в конечном счете, и привело страны, пытавшиеся сообразовывать современное производство с экономической теорией Маркса, к нынешнему кризису.

Она и была теоретической опорой подсобной, чисто исполнительской роли интеллектуалов в советском обществе, с которой далеко не все они мирились. Когда Сахарова, открыто осудившего вторжение в Афганистан, не бросили, как велел тогдашний обычай, за решетку, а «всего лишь» выслали в Горький, можно было подумать, что начальники все же сообразили, что этот беспартийный интеллигент умножает мощь их государства куда больше, чем все члены ЦК и маршалы вместе взятые. Но то был еще особый, чрезвычайный случай. Признать, что партия систематически подрывает ту силу, которой держится, у руководителей КПСС так и не хватило духа. Между тем деятельность Сахарова была не просто проявлением гуманизма, как объясняют нынче, но одновременно и практическим призывом к отказу интеллигенции от отведенных ей прикладных, обслуживающих функций и утверждению, ради спасения России, своих социальных прав. Понятно, какие чувства это вызывало у другого «нового класса», обозначенного М.Джиласом и потом описанного М.Восленским, привыкшего, что людей образованных учат те, кто «гимназиев не кончали».

Во второй статье А.Иванов говорит: «Человеку надо дать свободу — экономическую, политическую, интеллектуальную. Он во всем разберется сам и выберет оптимальный для себя вариант». Я думаю совершенно так же, и спорить приходится лишь потому, что свободу, к сожалению, не дают. Не говоря уже о революциях, даже к реформам правителей России побуждали лишь катастрофы. Освобождение крестьян совершилось после поражения в Крымской войне, а гласность и перестройку провозгласили, когда безумная гонка вооружений ценой растраты и распродажи национальных богатств подорвала хозяйство страны. Сахаров и десятки других интеллигентов, рискуя собой, как раз и пытались утвердить мысль, которую ныне бесстрашно высказывает А.Иванов. Но, как известно, она не дошла и поныне не доходит до власти имущих.

«Хватит бороться, работать пора», — учит Иванов. Но не Чернышевский или Нечаев, а Иоганн Вольфганг Гете,

поэт и министр, полагал, что «лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день идет за них на бой». Иванов, как некогда советские пропагандисты, уверяет, что нужды в этом уже нет, что «сегодня открыта дорога труженикам-профессионалам всех областей». Но это и сегодня не так, и чтобы успешно работать по специальности, интеллеktуал вынужден отстаивать, как общественную норму, условия своей продуктивной деятельности и, в частности, интеллектуальную свободу и права личности. В демократических странах многие свободы были уже отвоеваны буржуазией и рабочими. В России, где социальные перемены тормозились, интеллектуалам и прежде приходилось ратовать даже за элементарные буржуазные нормы. Вот откуда общественные устремления российской интеллигенции!

Это не значит, что Маркс обозначил, и мессианская роль, приписанная пролетариату, принадлежит интеллигенции, и решать за всех надлежит ей. Ничего подобного. Рациональное социальное мышление ведет к отказу от всякого мессианства вообще. А.Иванов утверждает, что «лишь путь Лопахиных верен», и выговаривает Чехову за то, что тот «с явной неодобрительностью отнесся к Лопахину». Но Чехов не столь примитивен. Это ведь Лопахину Петя говорит: «У тебя тонкие нежные пальцы, как у артиста, у тебя тонкая, нежная душа». Это ведь Лопахин, единственный, спрашивает, не остался ли кто в доме, который запирают, но ответа не получает, поскольку никто больше этим не интересуется. Это ведь Лопахин то и дело подсказывает, и весьма настойчиво, как спасти имение, и предостерегает, что на торги придет богач Дериганов. И отнимает он имение не у Раневской и Гаева, а у Дериганова, который «сразу сверх долга надавал сорок». Чехов не коллизию ставит под сомнение, а демонстрирует, что она проделывает с душами.

Конечно, в экономическом смысле путь Лопахина верен. Но вопреки Иванову, не только Лопахин «обеспечивает благоденствие трех четвертей населения». То-то и оно, что не только, не сам по себе любой предприниматель, но взаимодействующий в демократическом обществе со свободным, а не прикованным к государственной монополии, рабочим, со свободным, а не батрачащим на помещика или

председателя крестьянином и все больше и больше со свободным интеллигентом, не исчерпывающимся «образом Пети Трофимова»! Я тоже убежден в необходимости частной собственности, но не потому, что она сама по себе все и всех «обеспечивает», а потому, что, в отличие от монопольной государственной собственности, приводящей к всеобщему рабству, она оставляет место для активной самостоятельной деятельности всех слоев общества и подвижного социального компромисса, поддерживаемого подлинно представительной системой, которой в России не было и нет.

Иванов пишет: «Общество, в котором счастливы все, — утопия», — и вроде бы опять прав. Но опять он не хочет задаться вопросом, почему эта утопия манила в XX веке не только горстки интеллигентов, но и миллионы простых тружеников. Когда слова другого Иванова, Вячеслава, о том, что в Канаде и Швеции построен социализм, Александр Иванов называет вздором, он лишь демонстрирует, что свое представление о социализме как непременно государственном хозяйстве, российском или китайском, он заимствовал из советской пропаганды. Между тем все не так просто.

Развитие производства уже во второй половине XIX и особенно в XX веке сопряжено со столь резкими колебаниями и поворотами, что отдельному человеку то и дело грозит утрата его статуса, а одними собственными силами застраховаться невозможно. А.Иванов согласен помочь детям, старикам и инвалидам. Но в том-то и дело, что в положении и тех, кто, как он выражается, «хочет, но не может», в силу объективного хода вещей сплошь и рядом оказываются здоровые, квалифицированные и жаждущие работать люди. Не только милосердие, но и чувство социального самосохранения удерживает западное общество от того, чтобы, по призыву А.Иванова, бросить миллионы нуждающихся на произвол судьбы из-за того, что в их ряды проникают десятки дармоедов. Не говорю уж о нужде в просвещении и здравоохранении, не сводящейся к личным интересам учащихся или больных.

Система социальных гарантий, не идентичная полицейскому государству, да еще государству — монопольному производителю, а прямо противоположная ему, как раз и представала европейцам как

социалистический идеал. Не случайно в странах, где такая система складывается, не остается места для массового большевизма. Не случайно главным врагом коммунизма советского образца в Европе были не консервативные и даже не фашистские партии, а социал-демократические и либеральные, да и в России большевики не случайно ополчались прежде всего на меньшевиков. Конечно, на Западе возобладали не утопическая общественная формация, примысленная Марксом, но там уже и не тот капитализм, против которого боролся Маркс.

Интеллигенция не по глупости стоит за общество социальной защиты, а потому, что сама природа интеллектуального труда предполагает правовое равенство, в нем нет ни царских троп, ни избранных народов, ни избранных классов. Он невозможен без признания правомерности отличного от себя — другого человека, другого сословия, другого народа, другой религии. Он невозможен без терпимости, без либерализма, и не только с единомышленниками, но именно с инакомыслящими, с идейными противниками, не хватающимися, понятно, за дубинку, то есть невозможен без того, что в России принято называть интеллигентностью.

Конечно, примера тут не подадут, ни, с одной стороны, Победоносцев или Леонтьев, ни, с другой стороны, Нечаев или Ленин. Но, вспоминая Владимира Соловьева, Владимира Короленко, Георгия Федотова и многих других, мы видим в них не просто интеллектуалов, людей прикладного умственного труда, но именно интеллигентов, и связываем их деятельность с либеральными, если не демократическими идеалами общественного бытия.

Попытка партократической верхушки взять в августе 1991-го реванш за перестройку была чревата новой революцией. Мы не знаем, состава участников обороны Белого дома, но уже то, что из трех погибших двое были интеллигенты, позволяет догадываться, сколь высок там был их процент. Увы, надежды этих людей не сбылись. Президент СССР и не подумал тотчас провести прямые выборы в новое Учредительное собрание, распустив двухступенчатый парламент. Президент России тоже не сделал этого и не предложил сразу принять закон о земле, который стал бы залогом реальных экономических реформ. Была лишь приостановлена деятельность КПСС

и обязательность коммунистической идеологии, что побудило слепцов в России и за рубежом радостно вопить о конце коммунизма. Однако абсолютистская хозяйственная монополия, переодевшись, в основе своей осталась прежней, а интеллектуалы возвращены к прикладному назначению.

Можно, конечно, снова «с гордостью считать себя обывателем». Обыватель — это и есть обыкновенный человек, живущий простой жизнью, и, слава Богу, если можно так жить. Но если, возгордясь своей простотой, обыватель хочет так же просто объяснить и устроить все в мире и весь мир, он приходит к голосованию за Жириновского с его простыми рецептами. Вот воротит господин Жириновский Финляндию в лоно Российской империи да, может, еще восстановит бани с женской прислугой, и будет хорошо как при царе-батюшке! Так рассуждают нынче многие, не видя, к чему это ведет. Но пусть даже А.Иванов вычеркнул Жириновского самой жирной чертой, он остается, сколько ни отрекался, в одной компании со вторым из братьев Ульяновых, самые слова «интеллигентский», «интеллигентщина» обратившим в бранные и порочившим интеллигенцию с той же страстью, что и наш одаренный пародист. Аргументы, конечно, были другие, но именно Ленин, разогнав Учредительное собрание, оборвал в январе 1918 года либеральную традицию, начатую Новиковым и Радищевым. Так стоит ли снова её подрывать? Она ведь еще и не воскресла. Ещё не произошло ничего необратимого, и спасение России все еще зависит от того, будут ли наши интеллектуалы интеллигентами.

ИЗМЕНА РОДИНЕ

События 19 августа трактуются у нас по преимуществу как криминальные. Их называют путчем, заговором. Иногда, пытаясь объяснить криминалистические загадки, называют инсценировкой. Гадают, какую роль играл Горбачев, какую Ельцин, и выясняют, сознавали ли заговорщики, что их подбили устроить заговор, чтобы, подавляя его, погубить вернейших людей партии и государства. Но как-то плохо верится, что Крючков с Лукьяновым столь наивны, чтобы угодить в расставленную ловушку. Версия инсценировки была бы правдоподобна, сводись дело к бедняге Янаеву, проштрафившемуся по пьяному делу, а так она даже чисто психологически невероятна. К тому времени, когда читатель получит журнал, быть может, начнется и, возможно, окончится суд, но, покуда иное не доказано, будем исходить из официальной версии событий, хоть есть в ней загадочные пробелы и странности. О них и будем думать.

Главная странность в самой этой криминальности, в том, что вице-президент, премьер-министр, председатель парламента, не говоря уж о главах военного и полицейского ведомств, разом обвиняются в измене родине. Нам, правда, не привыкать. Задним числом мы всегда узнавали, что нашу советскую родину от победы к победе вели ее злейшие враги, позднее разоблаченные, начиная с того, что революция и гражданская война выиграны под водительством первого ненавистника социализма Троцкого. Да и сама партия большевиков тогда состояла, как после выяснилось, из врагов революции и предателей социализма, и в большинстве своем дожившие до тридцатых годов ее члены были уничтожены в сталинских лагерях. Никакие индивидуальные реабилитации и признания отдельных "ошибок", сколько бы их ни было, это общественное явление — ликвидацию советским государством своих создателей — уже не отменят.

Да и Сталин, хоть связи его с охранкой остались на уровне пусть авторитетных свидетельств, но не бесспорных доказательств, тоже, как обнаружилось на практике, был врагом родины и революции, нанеся и той и другой неизмеримый ущерб. Хрущев, разоблачивший

Сталина, оказался хоть и не врагом народа, но безответственным волюнтаристом, Брежнев, как выяснилось, даже и уголовно не безгрешен. Всю эту информацию, сперва, конечно, "клеветническую", потом подтверждали официально, и не удивительно, что противники режима часто объявляют все советское руководство с Октября 1917 года просто бандой уголовников, мафией.

Скажем сразу, это неверно. Но понять, что это неверно, можно лишь осознав подвижное разнообразие социальных сил, влиявших на судьбу советского государства еще до Октября и до Февраля. Силы, победившие в Октябре, наводя тень на плетень, любили демонстрировать свое нерушимое единство даже тогда, когда одни казнили других, отсюда и вера в то, что стоящие у власти — исполнители воли народной, а низвергнутые или к власти не допущенные — враги народа, изменники родины. Как сказано, "Мятеж не может кончиться удачей, — В противном случае его зовут иначе". "За" и "против", "красные" и "белые", "наши" и "вражеские" — в эти антитезы с давних пор у нас втискивали все и всех.

Раскручивая августовские события, стоит для начала задуматься, почему вчерашним руководителям страны опять предъявили обвинение в измене родине. Не потому ли, что государство как было, так и осталось тоталитарным и боится самоанализа?

Слов нет, изоляция президента и ввод танков на столичные магистрали — преступны, виновных следует привлечь к ответственности, тем более что погибли люди. Можно даже поговорить о моральной измене гэкачепистов Михаилу Сергеевичу, которому все они лично обязаны своими должностями. Однако персональные обвинения в измене родине, предъявляемые широкому кругу лиц, еще вчера стоявших у власти и ее олицетворявших, нуждаются в объяснении. Можно, опять же, перевалить вину на тех, кто их к власти привел, и этим еще больше расширить круг изменников. Но верней осознать, что бесчисленные обвинения такого рода вызваны неправомерным отождествлением родины и государства.

Естественное чувство привязанности к родной земле, к ее ландшафтам, к людям, ее населяющим, к ее культурным, в том числе трудовым традициям, у нас искусственно переносится на государство, на

политический институт, своими органами и установками осуществляющий на ландшафтах родины власть. Немецкие поэты-романтики писали о красоте своей родины, когда она еще была разделена на тридцать шесть государств. Русь обрела единство в борьбе против иноземного ига при Василии III, отце Ивана Грозного, но это наше преимущество стерло в сознании людей различие между страной и правящими ею политическими институтами. Феодално-абсолютистское государство отождествляло с родиной себя, лишая угнетенные сословия права говорить от ее имени. То же самое делало и советское тоталитарное государство. Изменниками родины объявляли и Андрея Курбского, и Федора Раскольникова.

На деле, однако, и за Грозным, и за Курбским, и за Сталиным, и за Раскольниковым в родном краю были сочувствующие, и еще немало было сочувствующих совсем другим людям, другим общественным тенденциям. Но абсолютистское государство, в отличие от демократического, и прежде, и потом, не соотнобразывалось с многоголосием родины и насилием заглушало неугодные голоса. А когда новые узурпаторы интригами или силой занимали места предыдущих, они тоже пуце всего держались за свое монопольное право говорить от имени родины, а говоривших и делавших другое предшественников неизбежно провозглашали отступниками, изменниками.

Гэкачеписты явно нарушили установленные порядки, они лгали, что президент болен, когда он был здоровехонек, да еще использовали армию не по назначению, — состав преступления налицо, но квалификация этого преступления как измена родине, совершенная отдельными людьми, в ней обвиняемыми, означает, что наша страна не переменялась, что и после 21 августа она, вопреки уверениям, не стала другой, а все та же самая.

К тому же 19 августа не просто кучка заговорщиков пыталась захватить власть — они и так стояли у власти, — но исчерпала себя политика, именовавшаяся перестройкой. Потому гэкачеписты повернули вспять. Еще ведь за год до них попятное движение начал зачинатель перестройки Горбачев. Весной 1991 года, когда гэкачеписты атаковали его в Верховном совете, он сам

предлагал ограничить свободу печати, главное детище перестройки. Невозможно понять, почему силы попятного тяготения сели на танки, если не разобраться в расхождениях, которые могли вдруг разделить их с Горбачевым, уже год их поощрявшим.

I

Надежда на перестройку исходила из предположения, что кризис советского хозяйства, разразившийся в конце семидесятых — начале восьмидесятых годов, можно преодолеть сверху. Горбачев олицетворил эту надежду. Но что надлежало преодолевать, что породило кризис? Ведь наше хозяйство и в кризисные годы достигало фантастических результатов в создании новейшей военной техники. Зло коренилось в том, как, учитывая к тому же нашу более низкую, чем у конкурентов, производительность труда, эти успехи достигались. А достигались они непомерной растратой природных ресурсов богатейшей страны и чудовищной растратой ее людских ресурсов. Нескончаемая растрата и привела в конечном счете к кризису всего хозяйственного механизма. Результатом могущества стала нищета, и выйти из кризиса можно было лишь радикально изменив общественные отношения.

Однако правящий слой и после Сталина, по сей день сопротивляется изменениям. Он отверг принятую было в середине шестидесятых "косыгинскую" экономическую реформу и растоптал пражский "социализм с человеческим лицом" стремившийся к сообразности не только с волей партии, но и со стоимостью производства. Первые шаги Горбачева преимущественно вели еще только к облегчению груза, лежавшего на стране, к отказу от силового удержания внешнего имперского пояса из так называемых социалистических стран, к прекращению афганской войны и международным соглашениям, позволявшим не так быстро наращивать военные расходы. Успех был несомненен, однако не затрагивал внутренние первопричины кризиса, продолжавшие действовать.

Надо было кончать с монопольным характером хозяйства, отделить его от государства и установить сугубо экономические отношения между хозяйственными

единицами. "Революция сверху" позволяла сделать это путем социального компромисса, не переворачивая все хозяйство на противоположное разом, а так, как это было при переходе западных стран от феодализма к капитализму, так, как это намечалось у нас в 1921 году или происходило в Венгрии, где вскоре после подавления восстания 1956 года Янош Кадар начал внедрять стоимостные отношения.

Теоретически задача состояла в том, чтобы на достаточно длительный срок наладить компромисс — параллельное существование двух хозяйственных систем, советской, внеэкономической, и другой, стоимостной, состоящих между собой в эффективности. Этому, однако, препятствовала нигде и никогда прежде не виданная абсолютизация у нас внеэкономической системы, в 1985 году настолько всеобъемлющей, что всякая попытка независимого хозяйствования при ней, если это хозяйствование не являлось лишь проявлением теневых тенденций системы, была обречена.

Для проведения необходимых реформ требовалась поддержка правящего слоя. Но, вопреки широковещательным заявлениям, что перестройку начала партия, Горбачев ее поддержки не получил и стал искать выход в демократизации партийной жизни. Внутрипартийная демократия могла бы поставить партийных руководителей среднего звена, как раз наиболее консервативных, в зависимость от рядовых партийцев и тем ослабить торможение реформ. Но рядовые коммунисты в большинстве оказались сторонниками прежней системы, разве что без фундаменталистских излишеств. Низовые ячейки в массе пошли не за генсеком, а за секретарями райкомов. Удивляться не приходится. Не говоря покамест о прочем, как раз райкомы всегда и владели рычагами коммунистического послушания и могли воспользоваться ими против генсека, вынужденного видеть вещи более близкими к реальности, чем секретари райкомов.

И тогда Горбачев совершил исторический шаг, впервые после разгона Учредительного собрания пойдя в 1988 году на то, чтобы отдать пусть скромную, пусть ограниченную, пусть подконтрольную, но все же какую-то роль в решении судеб страны народу, избирателям. После XIX партконференции оформилась политическая цель

перестройки — переход от произвольного, волевого партийного управления к управлению хоть по-прежнему внеэкономическому, но государственному, кодифицированному правилами, оформленными как законы. Открывая в конце мая 1989 года первый съезд народных депутатов, Горбачев признался, что "перестройка идет тяжело", но то был ее звездный час.

Уже в этот час ощущался предел, которого инициаторы перестройки переступить не хотели, — оттого и отвергли предложение Сахарова принять декрет о власти, то есть фактически преобразовать съезд в новое Учредительное собрание. Господствовали шестидесятнические иллюзии, будто разумная политика верхов способна подменить самодвижение низов и всего общества. Реформы активно обсуждались, но не осуществлялись. Между тем, чтобы наладить параллельное существование двух хозяйственных систем, государственной и частной, в том числе и групповой, нужно было учитывать, что первая из них, господствующая, держалась на искусственной сбалансированности произвольно декретированных цен и произвольно декретированных зарплат. Чтобы она могла соревноваться со стоимостной системой, требовалось восстановить в самом государственном секторе стоимостные отношения и, пусть даже с помощью открытых субсидий на какое-то время, практиковать адекватные цены и зарплаты, что было бы, конечно, не просто. Но чем дальше реформы откладывались, чем дальше заходила инфляционная политика правительства Рыжкова, тем сложнее становилось реформирование государственного хозяйства, поскольку его разрыв с реальностью все увеличивался, и это делало неотвратимым обвал — то ли взрыв, то ли шоковую реформу, а если тянуть слишком долго, и то и другое разом.

Однако правящий слой, точь-в-точь как до 1917 года, закрывал на это глаза, не желая даже компромисса, чтобы не поступиться ничем. Переход к стоимостным отношениям грозил не только покончить с конкретным партийным руководством, от которого Горбачев готов был отказаться, но, считаясь с реальностью в перспективе пришлось бы сокращать общее руководство государства хозяйством, которую Горбачев отдать не хотел.

А главное, при переходе к стоимостным отношениям с их объективными критериями стало бы невозможно гарантировать участие в правящем слое. Позиция в "номенклатуре" потеряла бы значение, как потеряло его аристократическое происхождение в буржуазном мире. И при самых диких формах приватизации и присвоения номенклатурой в частную собственность общественного имущества, за счет которого она и так дотоле жила, этим людям пришлось бы сохранять и приумножать награбленное уже на легальных путях, на что далеко не все они способны.

Упрямство правящего слоя, его нежелание признать объективную необходимость перемен, стремление избежать стоимостных отношений даже при открывающейся возможности социальной переориентации, сводили на нет постепенный "кадаровский" путь. Поэтому от реформ требовалось все больше и больше радикальности, но именно это делало их все более неприемлемыми для правящего слоя. Горбачев, как его лидер, не рискнул порвать с партией, под водительством которой страна уперлась в тупик, и обратиться за поддержкой в проведении реформ к народу, как потом на словах сделал Ельцин. Нет другого убедительного объяснения тому, что Горбачев отверг проект Явлинского-Шаталина, который, по его собственным словам, нравился ему больше, и предпочел гнавший зайца дальше проект Рыжкова, а вскоре еще заменил хотя бы внешне мягкого, пусть и упрямого, Рыжкова грубым и лживым Павловым.

Не стоит, однако, сводить неудачу перестройки к личным просчетам или слабостям Горбачева, который пытался строить новое, опираясь исключительно на старые партийные кадры, перемещая партийных функционеров в государственный аппарат и депутатский корпус, в результате чего привычные методы партийной работы продолжали применяться и тормозить перемены.

Ведь коммунисты заняли руководящие позиции не только рядом с Горбачевым, но и в новых, начавших возникать партиях. Не только лидер "Демократической России" Афанасьев или лидер Демократической партии Травкин, но и лидер Христианско-демократической партии Аксютин в прошлом был коммунистом. А покровительство

так называемых правоохранительных органов национально-патриотическому фронту "Память" — тоже не тайна. Если прежде в КПСС бесшумно уживались сторонники национал-социализма, госкапитализма и социал-демократии, то теперь внутренние разногласия вышли на свет. Получили право на гласное изъяснение схожие позиции, прикрытые иными идеологическими знаменами. Но для подлинно демократических взглядов публичность осталась ограниченной. Примечательно, что среди лидеров новой волны фактически, кроме Сахарова, диссидентов не было, никого из них к власти не допускали. Не допускали даже людей, просто сочувствовавших демократическому движению, прежде чем оно стало официальным.

Наша демократизация, разумеется, предоставила некоторый выбор, но из весьма ограниченного набора политических фигур, среди которых подлинных демократов, проявивших себя таковыми еще до перестройки, фактически не оказалось. Улюлюканье Сахарову отражало не только личную неприязнь или партийный сигнал, но преобладающее среди депутатов желание не допустить независимую оппозицию. Связанность нынешней власти с прежней и само по себе коммунистическое происхождение новых политических деятелей, не исключая ярых антикоммунистов и даже православных монархистов, сдерживали реальную дифференциацию политических партий.

Реформы понимались как предмет не столько даже социальной, сколько хозяйственной инженерии, и совсем не как способ гармонизации социальных интересов разных слоев общества. Сущностные проблемы преобразования хозяйства и создания социальных гарантий не стали предметом общественной борьбы. Власть решала их по своему усмотрению, и тем упорней, не желая, конечно, того, толкала как к единственной надежде к национальному самоопределению. Социальный кризис, который не торопились решать как общий кризис государства даже по сугубо унитарной, имперской программе Явлинского, неминуемо перерастал в кризисы национальные уже потому, что упрямство центральной власти перед лицом обвала побуждало каждого преодолевать кризис самостоятельно. Каждого человека и каждый народ.

II

Становление стоимостного хозяйства и развитие регулирующего его рынка обычно базируется на национальном хозяйстве и национальных лозунгах. Так было в первых буржуазных государствах, начиная с Нидерландов, возникших в ходе национально-освободительной борьбы против испанского владычества. Так было и в западных абсолютистских государствах, в Англии и Франции, складывавшихся в ходе компромисса феодальных и буржуазных начал.

А государства, держащиеся преимущественно на внеэкономических опорах, сплачивались не национально-хозяйственными, а идеологически-административными скрепами. Так бывало и в древних империях, вбиравших в себя самые разные народы. Так было в абсолютистских государствах, созданных феодальной реакцией. Такой же примат идеологии ныне присущ государствам феодального социализма..

Начавшийся у нас переход к стоимостным отношениям уже сам по себе стимулировал национальный подъем и национальные противоречия там, где внеэкономическая власть их прежде вроде бы глушила.. Под сомнение были поставлены не только "социалистические принципы", но и дальнейшее существование многонациональной державы, продлившей под социалистическим флагом жизнь феодально-абсолютистской Российской империи. Отказ от экономического реформирования унитарного государства лишь усугубил национальные противоречия.

Центр страшился их больше, чем даже хозяйственного кризиса, поскольку они угрожали самому существованию внеэкономического наднационального центра. Положение обострилось, когда суверенности захотели не только бывшие колонии, но и собственно русская земля, ущемленная имперским правлением не менее колониальных.

Парадоксальность Российской феодальной империи, ее отличие от империй буржуазных, вроде Британской, издавна проявлялась в том, что она не только не слишком подкармливала народ метрополии за счет колониальных приобретений, достававшихся правящему слою, но часто

еще накладывала на этот народ дополнительный груз по расширению и охране империи. Никуда не уйти от того, что параллельно расширению Российской империи до северных и южных морей и Тихого океана в ней нарастал феодальный гнет, возникло и ожесточалось крепостничество, то есть рука об руку шли покорение чужих земель и нарастание в русских землях феодальной реакции. И на русский народ под знаменем имперского патриотизма вваливались особые тяготы, чтобы феодально-социалистическое государство "не поступалось принципами" и "строило социализм". Русских солдат посылали умирать и в Финляндии, и в Венгрии, и в Афганистане. И на русский народ ложилась вина за бедствия других народов, хоть он нищенствовал не менее других.

Народное сопротивление нарастало, однако, поразному. Одни русские, следуя феодально-имперским идеалам, стремились обрести преимущества, подобных тем, какие народы метрополий имели в буржуазных империях. Этот имперский идеал в технотронном мире уже недостижим, не зря буржуазные империи распались. Да и откуда феодальной империи обрести иную опору, кроме насилия? Имперский идеал оправдывал привилегии правящего слоя, отождествлявшего себя на словах с народом, и ради этого любившего рассуждать о патриотизме, в котором любовь к родине фальшиво отождествлялась с любовью к империи. Эта имперская шовинистическая тенденция изъясняла себя при Сталине публично, хоть и не во всем откровенно, от лица КПСС.

Иной была демократическая тенденции к самозащите русского народа, лишь с перестройкой и гласностью обретшая публичное выражение, хоть в народном сознании антиимперские настроения пробивались всегда. Демократический идеал — это, прежде всего, освобождение русского народа от имперской ноши и создание на русских землях русского демократического государства, не ищущего имперского величия, которое, как жизнь показала дважды — при самодержавии и при советской власти — несовместимо с народным благодеянием, с тем, чтобы каждый на Руси обрел свободу, права и возможность достигать благополучия своим трудом. Понятно, такой идеал предполагает за другими исторически сложившимися национально-

территориальными образованиями право на выход из империи, то есть, отделение от Союза и от России. Но признание этого права давалось не только союзным, но и российским властям не просто. Обозначившееся в противостоянии наднационального союзного центра и России противоборство двух тенденций русского национализма, шовинистической и демократической, не прошло. Если сторонники первой жаждут любой ценой, даже насильем, удержать автономии, то сторонники второй больше опасаются повторения в РСФСР трагической ситуации, которая обрекала "первый среди равных" народ на бесправие и нищету в Союзе. К тому же, стремление российских властей к собственной державности, к "неделимости" России, и территориальные претензии к другим союзным республикам, вынуждают тех опасаться России и вспоминать о союзном центре как об опекуне более слабых республик. Но в том и парадокс, что Союз с годами всё меньше был их опекуном и все чаще лишь "тащил и не пуцал". Его привыкли звать страной, единой страной, не желая считать, сколько разных стран он в себя вобрал, и удивляются, что получив возможность выказать свои стремления, эти страны, стремясь к независимости, ощущают там, где на их права поныне посягают в традициях Российской империи и Советского Союза, враждебность к России.

Советский Союз, вопреки своему названию, всегда был унитарным устройством, от этого не отказались и новейшие проекты с единым президентом, единым, парламентом и единым судом. Претензия России на некоторый, еще далеко не полный, суверенитет создала ощущение двоевластия. А.Ципко утверждал: "Противоречие двух властей в центре, двух русских властей, так и не разрешено до сих пор". Теоретически можно спорить, считать ли союзную власть русской, хоть практически оно, конечно, так. Но и российской власти, коль скоро Россия федеративна, надлежит быть не только русской, с чем тоже не сообразуется практика.

Есть, конечно, различия в мере теоретической "нерускости" обоих. Если унитарный Союз предполагает русскую власть над страной, где русские составляют лишь половину, то русская власть над Россией, где они составляют четыре пятых, более правомерна, хотя и здесь автономии с преобладающим нерусским населением тоже

хотят самостоятельности. Но спор между двумя русскими властями лишь на первый взгляд шел о мере таких претензий, в России легче разрешимых и меньше мешающих удержать ее целостность, особенно если образовать в составе федерации, наряду с другими, и самостоятельную русскую республику. Однако и подлинный Союз был бы полезен всем республикам, не исключая, пожалуй, и прибалтийских, будь он добровольным, без наднациональной русской власти центра, без единого президента, единого парламента и единого суда, лишь с координационными экономическими органами и взаимно сбалансированной внешней политикой.

После провозглашения Украиной независимости Ельцин, Кравчук и Шушкевич договорились о создании содружества своих республик, открытого для присоединения остальных, и официально объявили, что СССР более не существует, и его законы на территории трех славянских республик уже не действуют. Местопребыванием учреждений нового содружества независимых государств они провозгласили Минск, сразу обозначая, что оно не будет связано с московской централизаторской бюрократией. Соглашение позволяет республикам, обретя независимость, не рвать сложившиеся за десятилетия, а порой и за века, разнообразные связи, полезные всем. Республики смогут не отдавать решение своих проблем на усмотрение наднационального центра, а затрагивающие всех решать *сообща*.

Однако и сегодня нет уверенности, что исторические решения трех будут без сопротивления приняты сторонниками прежнего централизма. Летом и Ельцин еще не возражал против центральной союзной власти, Горбачев же готов был к учету воли республик, не претендуя на полную унитарность. Даже если к трем присоединятся остальные и СНГ охватит всю или почти всю территорию прежнего СССР, спор о централизме не снимется, а продлится в новых формах. Во всяком случае, позиции президентов СССР и РСФСР не сосредоточивали вокруг себя всех русских, что и не позволяло установить единую русскую власть, о которой пекся А.Ципко. Избрание Ельцина президентом России предопределило ее двойственность, ненавистную консерваторам.

Горбачев, реальный политик, не мог не считаться, хотя бы временно, с объективностью двоевластия. Это и привело его в Ново-Огареве к новому союзному договору с уступками республикам, которые договор позволял в будущем отыграть по очкам. Можно предположить, что альтернатива событиям 19 августа могла состоять в том, что, подписав 20 августа ново-огаревское соглашение, Горбачев, целый год собиравший вокруг себя будущих гэкачепистов, в конце той же недели на собравшемся уже Верховном совете законным порядком провозгласил бы чрезвычайное положение, не выводя войска на улицы Москвы, и едва ли его указ, утвержденный парламентом, вызвал бы столь бурный протест, чтобы чрезвычайное положение отменить, как бы оно ни возмущало.

Так можно ли думать, что Горбачев добровольно предпочёл такому варианту предложение гэкачепистов? Конечно, расследование способно изменить наши представления о происходившем в Форосе, способно, быть может, точнее очертить средства воздействия, применявшиеся ГКЧП, и даже показать, что президент хоть и не согласился поддержать своего вице-президента и министров, но и не воспользовался своей властью, чтоб им противодействовать. Все это важно для суда, для определения виновных и виновности. Однако вряд ли кому-либо удастся показать, что инициатором преждевременного объявления чрезвычайного положения был Горбачев. А ведь именно этой преждевременностью предопределена противозаконность, именно из-за нее вывели на улицы войска, призванные придать подписи вице-президента авторитетность подписи президента.

Таким образом, ключ к объяснению происшедшего 19 августа в постижении того, зачем нужна была такая поспешность? Да затем, что в понедельник ново-огаревский союзный договор стал бы свершившимся фактом. Отказаться от договора Горбачев не хотел, а сразу восстановить прежнюю безграничную власть центра над республиками не мог, вот гэкачеписты и взяли это на себя, отодвинув президента не без надежды, быть может, напрасной, что, когда дело будет сделано и страна вернется к беспрекословному повиновению, вернется на свое место и президент Горбачев, столь же талантливо, как прежде, отстаивая в стране и мире интересы своего общественного слоя, но став покладистее.

Заговор не был направлен лично против Горбачева, я верю Крючкову и Язову. Эти посредственные люди не могли не ощущать, что имели дело с человеком более одаренным. Даже когда этот человек стал, на их взгляд, мешать делу, которому они служили вместе, они лишь оттеснили его на время, отнюдь не желая его физически устранить, да это было бы и политически не в их пользу. Если Раиса Максимовна в Форосе опасалась худшего, это свидетельствует лишь о том, что она, как всякий советский человек, сознает опасность, постоянно висящую над каждым из нас.

Итак, корень событий в том, что Горбачев, по понятиям гэкачепистов, слишком отступил от абсолютного всевластия и готов был, пусть временно, отдать, пусть ничтожную, часть власти Ельцину, Назарбаеву, Кравчуку и прочим. Конечно, трудно утверждать, что разлад произошел по сугубо идейным причинам, и возможно, единство сломалось на том, что Горбачев — выдающийся тактик, а они — лишь столпы государства и не мыслят его иным как абсолютным, тотальным. Но так или иначе танки вышли на улицы потому, что люди, ездящие по этим улицам в черных "чайках", не желали и в малости зависеть от мнений и чувств людей, живущих на этих и других улицах, ездящих в метро и троллейбусах и ходящих пешком.

III

События 19 августа сопоставляют то с низвержением Хрущева, то даже с Октябрьской революцией. Никто, однако, не сопоставил их с неудачей "антипартийной группировки Молотова, Маленкова, Кагановича", а напрасно. Октябрь, как к нему ни относиться, все-таки был выступлением антигосударственным, не без анархистского порыва, который потом укрощали. Солдаты и матросы нарушали приказы своих командиров, арестовывали их. Большевики арестовали законное правительство. Между тем и в августе 1991 года и в 1957 году заговорщики сами были правительством и отстраняли хотя и первую, но оставшуюся в явном меньшинстве среди верховных правителей фигуру, готовую пойти на уступки идейным противникам, на отступление от "принципов". О заговоре 1957 года мы знаем мало, не исключено, что он вообще не замышлялся

предварительно и был лишь общим выступлением против Хрущева на заседании политбюро большинства его членов.

Молотов с Маленковым, Нина Андреева с Кургиняном и Невзоровым или Лукьянов с Павловым и Баклановым в одном были правы: абсолютная власть остается абсолютной лишь пока не поступится хоть мельчайшей своей частью. Она может помиловать, может на миг подобреть, но она не может никому отдать право хоть что-то решать по своему усмотрению, даже на время, даже для вида. Другое дело, что абсолютная власть государства пожирает родину, уничтожает ее богатства, губит ее прошлое и будущее. Но ведь помянутые лица и не скрывали, что не вся родина, не все ее народы, не все общественные слои, не все люди их занимают, а именно и только "наши", свои. Признаки для определения "наших" могут меняться, вчера это были пролетарии с трудовыми мозолями, сегодня — чистокровные русаки, до седьмого колена не замаранные примесями чужой крови, завтра — еще кто-нибудь, это не важно. Важно, что, как объявил французский король: "Государство — это я" — так и "нашисты" изначально объявили: "Государство — это мы", — и указывали места остальным, Мольеру ли, Сахарову ли. Места для "ненаших" аппарат определял четко: кому прописка в Москве, кому за сто километров, кто выездной, кто невыездной, кому учиться в московском университете, а кому, будь он семи пядей во лбу, это не положено. Пока кризис не напирал, "нашистская" государственная машина работала безотказно, да и страх перед ГУЛАГом срабатывал. Но изредка, как в Новочеркасске, все же стреляли в народ. В наши бурные дни войска входили в Тбилиси, в Баку, в Вильнюс, в небольшие города, это изображали исключением. ГКЧП был вполне откровенен, вывел войска на улицы столицы, обнажив "нашистскую" природу своей государственности.

Но именно танки в городе, еще до обращения Ельцина к народу, побудили тысячи москвичей двинуться к Белому дому, а это, в свою очередь, как предвещание массового кровопролития в столице, советской площади Тяньаньмынь, делало неизбежным проигрыш заговорщиков в глазах мирового общественного мнения и предопределило их капитуляцию. Они надеялись взять на испуг, а оказалось, что войска на улицах Москвы

производят противоположный эффект, демонстрируя противозаконность действий власти и тем побуждая граждан, за шесть лет изменившихся, чего Крючков и впрямь не учел, выступить в защиту законности, а не просто в защиту Горбачева или Ельцина.

Действия ГКЧП также показали, что в августе 1991 года сторонников возвращения страны к 1985 или даже 1982 году в городе немного, на улицы они не вышли даже под защитой танков. Вернувшись из Крыма, Горбачев говорил на пресс-конференции еще так, словно происшедшее не имело политического содержания, однако на следующий день в Верховном совете РСФСР он уже искусно отстаивал свои наднациональные стремления и закреплявший их роспуск съезда народных депутатов СССР провел с присущим ему блеском. А вскоре выяснилось, что за ново-огаревские соглашения, конечно весьма расширенные, выступает не только проигравший, казалось, Горбачев, но и победивший Ельцин. После событий 19 августа к независимости всерьез продвигались лишь прибалтийские республики, а Россия до 8 декабря шла на соглашение с наднациональным центром и, пусть на лучших условиях, признала его власть, видимо, опасаясь, что иначе рухнули бы имперские структуры не только Союза, но и России.

Иначе не объяснить, почему после победы, после демонстративного отстранения фундаменталистских сил от власти, оформленного как запрет КПСС, так ничего и не делалось для немедленных хозяйственных реформ, а кризис все углублялся. Центральное руководство с поразительной стойкостью продолжало бездействовать. Но не только прибалтийским республикам пришлось думать о спасении населения. Ельцин тоже был вынужден заговорить о реформах, однако лишь через два месяца после событий. И заговорил он точь-в-точь как некогда Горбачев с Рыжковым, расплывчато, половинчато и, главное, тоже сваливая тяжесть перемен на плечи населения. Вопреки всем декларациям о конце коммунизма и распаде КПСС и после августа в высшем руководстве СССР и РСФСР так и не появились люди, прежде не причастные ни к КПСС, ни к инспирируемым ею организациям. Между тем военные, проявившие в час неизвестности мужество, порой оказывались

вытесненными со своих должностей, а сторонники ГКЧП по-прежнему занимали свои.

Правящий слой продолжает саботировать реформы. Все еще не сокращено военное производство, убыточные колхозы удерживают землю, отнятую у крестьян, не гарантирована от произвола властей свободная инициатива. Феодальное наследство разве что передвигают с союзного уровня на республиканский. Помимо продолжающейся растраты материальных и людских ресурсов власть держится на неограниченной эмиссии и зарубежной помощи. Видные лица то и дело объясняют, сколь пагубен для планеты распад нашей страны, и открыто шантажируют мир угрозой выхода ядерного оружия из-под контроля.

Но иностранная помощь не изменит типологию нашего хозяйства, не говоря уже о тяжести позднейших долгов, и способна лишь продлевать агонию. Эту незавидную роль играет даже благотворительность, если она не обращена непосредственно, минуя советские органы, к нуждающимся людям. На деле зарубежная поддержка принесет пользу лишь внося в наше хозяйство стоимостные начала, когда конкурирующие зарубежные фирмы будут продавать на нашем рынке товары за рубли по свободным ценам, а эти рубли потом, с государственными гарантиями, будут инвестироваться в наше хозяйство. Такая помощь сыграет роль параллели нашей феодальной структуре, которую перестройка так и не создала. Ее возникновение побудит и наше хозяйство развиваться на конкурентных, стоимостных началах, то есть, борясь за рынок, повышать качество и снижать цены.

Мы и после 21 августа живем все с теми же проблемами, лишь усугубляющимися, и только их разрешение, а не очередная смена лиц из прежней политической элиты, снимет угрозу новых переворотов. Надо не идеальные модели подбирать, а исходить из объективных надобностей наличных социальных сил, чтобы в результате реформы возникла опора для социальной защиты граждан. А от государства такой защиты ждать напрасно. Ни сохранение феодально-социалистического хозяйства, находящегося в коллективном распоряжении правящего слоя, ни дикая капитализация этого хозяйства, то есть разграбление его

членами правящего слоя по отдельности, добра стране не обещают.

Распределение государственного имущества среди всех граждан путем выдачи им инвестиционных чеков, фиксирующих долю каждого во владении прежде номинально общей собственностью, хоть и не самая простая форма перехода от внеэкономических отношений к стоимостным, все же единственная, позволяющая совершить его народу в целом, не разделенному наперед на будущих господ и будущих рабов. Опорой стоимостных отношений был и остается принцип равных возможностей для всех, а это предполагает разрушение феодальных пут, — идет ли речь об ограничениях, налагаемых крестьянской общиной, цеховым производством или привилегиями правящего класса. Инвестиционные чеки, стоимость которых будет не устанавливаться наперед, а выясняться по мере вхождения общества в стоимостное хозяйство, позволят каждому выкупать на них недвижимость, оборудование, акции и т.п. по своему усмотрению и в той или иной форме стать участником стоимостного хозяйства или по крайней мере иметь гарантию на переходное время. В этом заинтересована родина, но не заинтересовано государство, поныне пребывающее монопольным собственником всего.

Оно, как исстари велось, имеет собственные интересы, в основном совпадающие с интересами правящего слоя, а с интересами других лишь в той мере, в какой правящий слой заинтересован в этих других и сознает эту свою заинтересованность. Западное общество, тоже не свободное от противоречий, имеет перед нами то несомненное преимущество, что видит свои противоречия, что его социальная структура открыта, и каждый общественный слой, каждая социальная группа публично выражает свои интересы и борется за их удовлетворение законным путем. Главный миф нашей страны — миф о морально-политическом единстве советского народа, миф о единообразии его интересов, и под флагом этого мифа государство, не обладающее структурами для постоянного ощущения многообразных интересов общества, эти интересы игнорирует, в результате чего и развивается кризис, наступает катастрофа.

Ныне мы ощущаем катастрофу и по пустым прилавкам, и по готовности лиц, стоящих у власти, к новым переворотам. Примечательно, что и то и другое нам часто выдают за инсценировки, объясняя, что и товары на самом деле намеренно уничтожают, хотя, будь они в избытке, это было бы невозможно, и события 19 августа — тоже спектакль. Конечно, мы — страна великих режиссеров, но уверения, что все происходящее — лишь показуха, лишь чей-то умысел,— не худший способ отвлечь от реальности, чтобы люди не вглядывались в нее, не понимали ее, а там и вовсе стали чьим-то слепым орудием. А спасение в понимании, и в частности в понимании того, что не просто Лукьянов или Павлов, не просто Язов или Крючков или кто-то еще, остающийся при власти, а государство как таковое, изменило родине. Они же изменяли, служа этому государству, безоглядно утверждая его тотальную власть, которая была для них превыше власти их собственного президента.

Говорят, что наше государство стеной стоит против изменников родины, а жизнь показывает, что государством все время правят изменники. Говорят, что безопасность родины защищают славные чекисты, и забывают, что предшественниками Крючкова были Ягода, Ежов, Берия. Народ надеется на приход к власти хорошего человека. Но, как видим, и высокостоящего человека легко отстранить от принятия решений, и три дня на Черном море — не худший способ. Признаем же, что дело не в людях, а в природе государственных институтов, в том, тоталитарны они, то есть служат "нашим", или демократичны, то есть считаются со всеми. Наивно воображать, что, усадив в тоталитарные кресла людей с добрыми намерениями, можно что-то исправить. Менять надо кресла, тогда люди с дурными намерениями в них не усидят.

После 21 августа надлежало уйти от абсолютизма, отделить хозяйство от государства, рассредоточить власть, чтобы она не оказывалась бесконтрольной, не становилась орудием "нашистов", а вынуждена была оглядываться на общество. Но даже робкие шаги навстречу демократии вызывают вопли о бессилии власти, о безвластии, словно это безвластие, а точнее, сказать, произвол на местах, внизу, не есть следствие

абсолютизма наверху. В пору всеобщего молчания это замалчивалось, а при гласности бросается в глаза.

Тех, кто сознавал гибельность восстановления тоталитарной власти в полном объеме, три роковых дня поставили перед отчаянными решениями, и эти люди, безрассудно бросаясь под гусеницы танков, в тот час спасли страну. Но, спасенная, она не переменялась, и, отправив в "Матросскую тишину" кучку недавних начальников, не предъявила пока обвинения тоталитарному государству, не преодолела его. И это в гораздо большей мере, чем даже фантастические цены, рождает сегодня у наших сограждан чувство безысходности.

СВОБОДА И ЕВРЕЙ

В мае 1992 года в Праге состоялся международный семинар на тему: «Антисемитизм в посттоталитарной Европе», в работе которого приняли участие петербуржцы Н. Катерли, М. Рольникайте и П. Карп, статья которого излагает его выступление.

Если уж уточнять слова в наименовании нашего конгресса, начинать бы надо не со слова «антисемитизм», достаточно ясного, и даже не со слова «Европа», но со слова «посттоталитарный». Не знаю, в какой мере перемены в Чехословакии позволяют прилагать его к ней, но у нас по-прежнему господствует государственная собственность, а она и есть самая полная форма контроля государства над обществом, каковой и называется тоталитаризмом. Конечно, наш тоталитаризм испытывает глубокий кризис, но, отбросив, как ящерица хвост, марксистско-ленинскую идеологию, он не менял свою природу. Президент России сказал, что ему в затылок дышат красно-коричневые. Но переход красного в коричневое начался не сегодня. Мы помним и «борьбу с космополитами», и «дело врачей», и статьи «Правды» об англо-французских поджигателях войны и жаждущей мира нацистской Германии, с которой мы делили Польшу.

Я отнюдь не думаю, что красное и коричневое изначально идентичны, что всякий протест против реакции, против самодержавия обречен обернуться фашизмом. Напротив, я с ужасом наблюдаю, как, вернув городу, где я живу, имя Петербург, стали переименовывать улицы, носившие имена Герцена или Лаврова. В той мере, в какой европейские социал-демократы считались с объективностью стоимостного хозяйства и демократическими нормами, они сыграли важную роль в формировании социальных гарантий и, тем самым, в процветании либеральной Европы. Однако там, где во имя каких-то идеалов одни люди брали себе право решать за других, удерживая тех в повиновении насилеием, красное тотчас коричневело, хоть и не все сразу различали нараставший оттенок.

Говорят, что нынешний антисемитизм — воздаяние за любовь евреев к красным. Так говорит «Память»,

повторяющая нравы КПСС, но уже без марксистской обертки, которая, как и самый портрет еврея с бородой, пришла в очевидное противоречие с возвращенными под портретом плодами. Конечно, евреи, подобно латышам, армянам, полякам и другим угнетенным народам царской России, сочувствовали либеральным переменам. Однако ассимиляция евреев, начавшаяся задолго до революции, не имела политической окраски и была вызвана буржуазными реформами Александра II, побудившими народы России к более тесным взаимоотношениям.

Пейзажи Левитана запечатлевают не только красоты русских ландшафтов, но и самосознание русского еврея, ощущающего эти красоты родственными, ощущающего страну, в которой он бесправен, своим отечеством. Участие множества ассимилированных (и евреев, и немцев, и грузин, и поляков) в русской жизни, хоть и не обязательно выражалось любовью к пейзажам, было не менее полным. Царская власть чертой оседлости и процентной нормой отчуждала евреев от культурной общности со страной, где они жили, а религиозное отречение в качестве входного билета даже и неверующему представлялось не слишком нравственным. Но уже Февраль снял искусственные ограничения, и множество евреев приобщилось к русской культуре, а для их детей она была уже единственной и, тем самым, родной.

Как ни расценивать ассимиляционный процесс XX века, он не ориентировался на красный цвет, и сочувствие евреев либеральным переменам отнюдь не толкало большинство их сочувствовать большевикам, Октябрю и разгону Учредительного собрания, не меньшее их число симпатизировало эсерам, еще большее меньшевикам и кадетам. Жертвами Октября евреи соответственных сословий были не в меньшей мере, чем люди других национальностей, а сверх того оказывались и жертвами погромов, которые учиняли не только белые, но порой и красные. Ликвидация НЭПа была не только антикрестьянской в деревне, но во многом антисемитской в городе. Именно после нее антисемитские настроения среди бравшей верх части большевиков выходят на поверхность, и любители подсчитывать процент евреев могли бы убедиться, что среди павших в годы большого террора он непропорционально высок и не только за счет

старых большевиков. Приверженностью евреев к красному цвету антисемитизм объяснить невозможно, — у большинства не было этой приверженности, а приверженность либерализму красному цвету скорее враждебна.

Не убедительнее и уверения, что антисемитизм вызван якобы биологическими отличиями евреев от всех других народов. Ведь различия между евреями разных стран адекватны различиям между коренным населением этих стран, и у китайских евреев наличествует эпикантус, третье веко, признак желтой расы. Старый традиционный антисемитизм, конечно, был обращен против иного человека, но человека иной религии, иной социальной жизни, а не иной крови, что подтверждалось и открытой тогда возможностью выйти из еврейства, приняв крещение. В старину антисемитизм опирался не на биологические отличия, но, при всех его специфических ужасах, вписывался в общую картину религиозных и социальных распрей древности и средневековья. Уже в XIX и особенно XX веке возник новый антисемитизм. И надо понять природу этой новизны.

Крушение феодального абсолютизма с его внеэкономическими нормами и переход к стоимостным отношениям, особенно после промышленного переворота, вели к возрастающей интернационализации хозяйства. Оттого и вращались в жизнь преобладающего населения издавна жившие рядом евреи. Для них выход из замкнутого мира средневекового гетто, не сопряженный притом с моральными жертвами, означал, как и для крестьян и для цеховых мастеров средневековья, обретение свободы. В новом мире еврей тоже мог проявить себя как индивидуальность, а не только как член определенного сословия, каким еврейство фактически было в мире феодальном.

Стоимостное общество, начиная с первой революции, нидерландской, поднявшейся против Испанской феодальной империи, утверждало себя как общество национальное. Но национальное тогда понималось прежде всего как территориальное. При объединении Германии Бисмарк не выдвигал лозунга «Германия для немцев», и евреи, как известно, активно поддерживали объединение, видя в углублении буржуазного развития упрочение своего равноправия.

Уже в ту пору их сочувствие переменам служило поводом к отождествлению евреев как народа с буржуазией. Маркс, утверждавший, что в буржуазном обществе еврей становится буржуем, полагал, что обретение евреями равноправия возможно лишь при освобождении общества от буржуазии, с которой он, играя двусмысленностью немецкого слова *Judentum*, отождествлял еврейство. Не зря его ранняя работа «К еврейскому вопросу» вошла в число обязательных при изучении марксизма-ленинизма в СССР как раз при развертывании антисемитских кампаний. Между тем в стоимостном мире евреи становятся не столько предпринимателями, сколько работниками наемного труда — ремесленниками, рабочими, техниками, инженерами, врачами, адвокатами, музыкантами, научными работниками. А если их мало среди крестьян, то потому, что во многих странах, и в частности в России, им запрещалось владеть землей, что и вынудило большинство их жить в городах и городках. Вопреки Марксу, евреи в большинстве сочувствовали либеральным переменам потому, что в буржуазном обществе они, как пролетарии, могли свободно продавать свой труд. В этом и был залог их равноправия.

Однако и в новом мире уцелевшие феодальные силы стремились внеэкономическим путем отстоять свои привилегии, и знаменитое дело Дрейфуса не случайно направлено именно против офицера. Антисемитизм и в буржуазном обществе остался способом защиты сословных привилегий. Однако если прежде это было сообразно с общим сословным делением, то теперь противоречило правовой структуре, а главное, стоимостному обществу дано терпеть внеэкономические привилегии, ущемляющие к тому же не одних евреев, лишь до известного предела, пока они не извращают характер общества.

Гораздо существеннее такие привилегии при феодальной реакции и, особенно, при сменяющем ее феодально-социалистическом абсолютизме. Антисемитизм перерастает там в способ общего наступления на стоимостные отношения, задевающего, опять же, не одних евреев, но их наиболее резко, поскольку, в отличие от других народов, они не сосредоточены на особой территории, а внешних отличий

в силу их глубокой ассимилированности, да еще при изобилии смешанных браков, практически не остается, — вот и приходится фиксировать эти отличия в пятом пункте анкеты. И этот пункт становится важней таких показателей, как стоимость, производительность труда и его качество, на которых держится буржуазный мир.

Это прояснилось не вдруг. Лишь немецкий национал-социализм сразу выдвинул расовую программу. В итальянский фашизм или русский большевизм, возникшие раньше, евреи поначалу охотно допускались, но по мере самоопределения и самопознания этих движений, достигших власти, ими тоже отторгались. Антисемитизм — не свойство немцев, арабов или русских, но свойство неофеодальных систем, и, наблюдая их, мы можем, даже если сперва они не таковы, безошибочно предвидеть их грядущий крен к антисемитизму. Великий русский поэт Александр Блок еще до революции писал о своей стране:

И однозвучны стали в ней
Слова «свобода» и «еврей».

Написал вроде бы даже сетуя, что оно так, поскольку и сам не вполне был свободен от антисемитских влияний, и все же признавая, что слова эти в России неразлучны.

В центре Петербурга, на Невском у Гостиного двора, можно видеть призывы к изгнанию и убийствам евреев и купить сочинения гитлеровских идеологов Розенберга и Геббельса и самого Гитлера. Все эти действия, явно выходящие за пределы закона, не пресекаются властью. И ведь эта же власть уклоняется от реальных стоимостных реформ, громогласно провозглашаемых, но подменяемых ограблением граждан в пользу государства, осуществляемым сперва Рыжковым, затем Павловым, а ныне Гайдаром. Новый антисемитизм, непосредственную опасность представляющий, разумеется, прежде всего для евреев, метит гораздо дальше. Его цель — отвержение стоимостных реформ и сохранение государственного диктата.

Ненависть к еврею на деле вызвана не весьма условными расовыми особенностями и не рассказами об еврейском заговоре, лживость которых очевидна, а тем, что еврей, «человек воздуха», по своему социальному положению, особенно после наглядной неудачи

обольщенных большевистским путем в номенклатуру, являет собой образ свободного человека, готового к стоимостным отношениям. Замученный дискриминацией, он особенно дорожит свободой, надобной всем без исключения народам страны, начиная с русского, который к ней ничуть не менее способен, — еще Петр I заметил, что один русский четырех евреев обойдет, — но который по-прежнему ввергают в соблазн внеэкономических решений, уже не раз народ обманывавших и выгодных лишь стоящим в раздаточной. Еврея сегодня преследуют, чтобы другим не повадно было на свободу претендовать. Не зря русским, хоть слово молвившим в пользу демократии, не исключая Ельцина («Эльцина!»), тут же отыскивают еврейское происхождение или связь с евреями.

Понятно, что реальным евреям от этого не легче, и они толпами покидают родину. От потока экономических эмигрантов их надлежит отличать не только потому, что они бросают нажитое за жизнь жилье и имущество и, как правило, теряют профессию, но, прежде всего, потому, что их, в отличие от экономических эмигрантов, на родине окружает открыто выплескивающаяся ненависть и прямые угрозы на улицах, в газетах, по телевидению, в письмах по домашним адресам. Эта ненависть движет, конечно, явным меньшинством русского народа, но ведь и не большинство немецкого народа желало Освенцима.

Возможность выезда — несомненное благо. Участь беженца, сколь она ни трагична, несопоставимо лучше газовых камер или массовой депортации в Сибирь. Но следует видеть, что нарастание угрозы, подталкивающей к бегству, при благодушии властей фактически означает решение еврейского вопроса по польскому образцу, то есть изгнание. Никакие показательные мероприятия, вроде празднования Хануки в Кремле, или даже улучшение внешнеполитических отношений России с Израилем, заслонить совершающееся изгнание не могут. И ведь совершают его, так сказать, умеренные, а заядлые антисемиты еще этих умеренных осуждают за предоставление евреям возможности ускользнуть от «народного суда» по известным образцам.

Но для множества ассимилированных евреев трагична уже сама необходимость покидать страну родного языка и «отеческих гробов». Когда я получаю

письмо: «Грязная жидовская морда, убывай быстрее в свой поганый Израиль или мы изготовим из твоей вонючей шкуры прекрасный абажур. Жидам не место в России, место жидов в крематории. Россия для русских! Русские», а представив его в прокуратуру, получаю невнятные ответы от пересылающих его друг другу прокуроров и, наконец, когда письмо пересылают в КГБ, не получаю никакого ответа, я не могу воспринять все это иначе, как сознательное стремление государства лишить меня отечества и возможности заниматься своей работой. Всю жизнь я сопротивлялся такому давлению, но с каждым годом это трудней, и меня охватывает отчаяние, поскольку я сознаю, что при моих занятиях русской поэзией, переводами из германских литератур и интернациональным искусством балета отказ от космополитического восприятия мира, которым я жил, вопреки господствовавшей идеологии, для меня невозможен. Я сознаю, что для Израиля я с моим образом мыслей — только обуза, только иждивенец, а по отношению к стране, живущей так сложно, это как-то даже и неловко.

К тому же я сознаю, что изгнание евреев — лишь авангардный бой против перемен в России, что вытеснение евреев из культурной жизни Москвы и Петербурга, как некогда Вены и Берлина, точно так же направлено на то, чтобы умалить их значение как культурных центров, противостоящих тоталитарному государству. Но цивилизованный мир, так много сделавший для обретения права на выезд в Израиль и справедливо выступающий в защиту религиозных прав ортодоксального еврейства, глух к судьбе ассимилированного еврейства, быть может, еще более показательной для оценки перспектив нашей страны.

Примечательно, что российский антисемитизм объявил своим главным врагом сионизм, который, в отличие от других национальных движений, не вмешивается в российские порядки, лишь бы они не препятствовали выезду в Израиль. Однако сионизм, как ни относиться к нему по существу и хотел он того или не хотел, показал пример практической борьбы за спасение обреченных фашизмом на гибель, а такой пример внушает надежду не одним евреям и подрывает не только имперскую, но всю вообще внеэкономическую сущность

тоталитарного государства. Даже в сугубо национальной и чисто оборонительной форме стремление избавиться от антисемитизма обретает социальный смысл. Поэтому, сколько ни кричат крайние израильские шовинисты о правоте русских шовинистов, те лобызаться с ними все равно не хотят. Антисионизм и антисемитизм продолжают даже там, где евреев-то не осталось, как в Польше, но продолжается спор о том, как стране жить дальше, спор тоталитаризма и демократии, внеэкономических и стоимостных отношений. Если старый антисемитизм был опасен лишь евреям, то антисемитизм хрустальной ночи и дела врачей, опасен человечеству, ибо стал знаменем феодально-социалистического абсолютизма.

Еще в прошлом веке ощущение, что участь евреев сказывается на судьбе страны, где их преследуют, возникало даже у людей, которых не заподозришь в сострадании. После варшавского погрома Александр III выговаривал генерал-губернатору Гурко: «Сердце мое радуется, когда бьют евреев, но позволять этого ни в коем случае не следует». Наш век многократно подтверждал царские опасения, но исторические уроки не идут впрок. Вот антисемитизм у нас и процветает.

ВОЛЯ ИЛИ ПРОИЗВОЛ?

Даже «усатым» Сталина называли с опаской. Над Хрущевым уже посмеивались. Брежнев стал героем анекдотов. Горбачева поносили без стеснения. Нынче на заборах пишут: «Ельцин — глава оккупационного режима», «Ельцин — сионист». Говорят, настала свобода с присущими ей поначалу беспардонными перехлестами. Ну какой, в самом деле, Ельцин сионист? Мы ликуем: свобода! Но при всем том остаются вещи, о которых не говорят, даже вопросов не задают.

Никто, к примеру, вслух не спрашивает, почему русские националисты, беснующиеся по поводу четырёх островов, России не принадлежавших никогда, оставляют без внимания оскорбительное официальное унижение русского народа, начатое при Горбачеве и продолжающееся поныне. А факт налицо: в Казахстане, в Беларуси, в Грузии, во всех республиках бывшего Союза Верховный совет избирается прямым голосованием населения, а в России — двухступенчатым. Народу России не доверяют. Явно опасаются, что без специального попечения он выберет «не тех». Недельки на две собираются начальники с мест и на съезде определяют, кому представлять нас в постоянном Верховном совете. Наше унижение прикрыто иностранным словом «ротация». И все молчат. А ведь народ России не менее прочих способен к прямым выборам и даже из плохих кандидатов старается выбрать не самого плохого. Но разговорчивые патриоты по этому поводу в рот воды набрали. Видимо, если они и любят Россию, то любят ее униженной, подмятой властным сапогом.

Любопытно также, что съезд, избравшийся и по территориальным и по национально-территориальным округам, ни разу не заседал по палатам, и даже сконструированный им Верховный совет проводит преимущественно совместные заседания с общим голосованием. А ведь законность держится не только разделением власти на законодательную, исполнительную и судебную, мешающим каждой подчинить себе страну полностью, но и строгим структурированием каждой власти в соответствии с ее конкретными задачами. Когда такое структурирование

упраздняется, высокое собрание обращается в толпу, где завязывается драка, какую мы уже наблюдали.

К тому же над российским двухпалатным парламентом, по примеру союзного, горбачевско-лукьяновского, вознеслась фигура единого председателя. А можно ли себе представить единого председателя палаты общин и палаты лордов в Англии или палаты представителей и сената в США? Там бы спохватились, что такая фигура сведет на нет различия в отправных пунктах палат и самую их возможность поправлять друг друга, ради чего они учреждены. Бедного Руслана Имрановича бранят за вправду странные пассажи, а я удивляюсь, что иногда он все же признает, что есть и другие сопоставимые с ним должностные лица. Командирские повадки председателя проистекают не столько из личных его свойств, сколь из непомерной мощи его должности, совершенно ненужной, тем более, что у каждой палаты есть председатель. Но мы и про Сталина до сих пор не поняли, что «чудесный грузин» превратился в обезумевшего палача потому прежде всего, что в его руках сосредоточили власть и над государством, и над хозяйством, и над духовной жизнью разом. А нам все объясняют: мол, он был плохой человек... Как будто с хорошим человеком такое могло обернуться иначе.

Странны и наши способы навести порядок. Кругом сетуют, что нет стабильности, а толпа депутатов по-прежнему вправе в любую минуту изменить конституцию, то есть в законной форме совершить государственный переворот. В США поправку к конституции должны утвердить две трети штатов. Наша федеральная структура еще не оформлена, и такое нам не по силам, но ведь можно, скажем, покамест установить, что поправка становится действующей лишь с согласия всех трех властей — и двух третей каждой палаты порознь, и двух третей Конституционного суда, и президента! А радикальные перемены должно бы производить лишь специально для этого созываемое Учредительное собрание. Все-таки это ограничило бы всевластие, а ведь именно на его ограничении держится доверие к власти.

Вековая привычка к государственному дирижированию, сперва самодержавному, потом советскому, мешает нам понять, что такое свобода. Ее сводят к снятию запретов. Давно подмечено, что в России

ценят не свободу, волю. К тому же волю не индивидуальную, а коллективную, волю нации или класса, доверенную власти. Нас поныне уверяют, что прояви власть волю, все тотчас образуется, словно объективной реальности, приведшей к нынешнему положению, и не было.

А ведь свобода не в том, что мудрая власть выдаст каждому по бутылке, да по буханке, да по палке колбасы. Она в возможности каждого осуществлять свои стремления по правилам, гарантирующим эту возможность и другим.

Покуда власть не научится первой соблюдать правила, под именем новой свободы будет процветать прежний произвол.

ПОКА ЕСТЬ ВЫБОР

Уважаемая редакция! Я ваш старый читатель, благодарный за то, что помогли разобраться в неоднозначных ситуациях. И вот очередная — референдум. И президент, и съезд, и печать столько разного о нем наговорили, что ничего уже не понять. И стоит ли вообще голосовать? А, может, пора себе сказать: «Зуев, от тебя опять ничего не зависит?» С уважением, В.ЗУЕВ (Новосибирск)

Признаться, и у меня, как у читателя Зуева, опускаются руки. На что надеяться, если высший законодательный орган не признает, что власть вправе вмешиваться в деятельность средств массовой информации лишь в пределах закона, то есть публично провозглашено, что власти закон не писан? Еще в XIX веке наш бывший соотечественник Адам Мицкевич писал про «объявленный законом произвол и произволом ставшие законы». Не только в Октябре 1917-го, но и в Августе 1991-го это главное свойство российской жизни осталось неизблемо. Может ли рядовой человек, вроде нас с Зуевым, его преодолеть своим голосованием? Да еще и неизвестно, кто будет подсчитывать голоса, да и порядок подсчета предписан вопреки здравому смыслу: выбирали президента большинством от голосовавших, а подтверждать ему доверие надо большинством от всех избирателей, то есть, у большинства, голосовавшего «за» и подтверждающего свой выбор, отнимают решающее слово и отдают меньшинству, голосовавшему «против». Что говорить, надежд на референдум немного. И все-таки, если его не отменяют, я пойду 25-го голосовать, хоть оно непросто. Первый вопрос — недобросовестный. Спрашивают не о том, согласен ли я с существованием президентской власти как отдельной и независимой от парламентской, а о доверии конкретному Борису Николаевичу. Но ведь об этом третий вопрос: «Считаете ли вы необходимым проведение досрочных выборов президента Российской Федерации?» Там я и отвечу про Бориса Николаевича. А прежде надо о другом. Это ведь новость для нас, наряду с парламентом всенародно избирать главу государства, вторую власть. Такого в России отродясь не было. А было всегда самодержавие,

сосредоточение всей власти в одних руках, в одном месте. Сперва самодержцем был царь, помазанник Божий, потом его место занял ленинский ЦК, тоже власть ни с кем не деливший, — коллективный царь. Даже к Сталину, самому яркому реставратору самодержавной системы, наименование «диктатор» не вполне приложимо, он все-таки больше похож на главаря хунты, чем на личность, утвердившую себя личными действиями. Понятие «культ личности» маскировало заинтересованность в такой власти большого слоя начальников, пусть по отдельности рисковавших оступиться и погореть. А уж говорить о личной диктатуре Хрущева или Брежнева и тем более бедного Черненко, никак невозможно. Они были не диктаторами, а воплощениями коллективной диктатуры.

Оно и понятно. Прежде в стране существовал, так сказать, персональный феодализм: в пору его распада землевладелец-дворянин мог еще жить эксплуатацией крепостных, но мог уже наладить на своих землях товарное хозяйство с наемным трудом, а рядом возникли и фабрики на буржуазных началах, а не только демидовские крепостные заводы. Тормозя сообразное с таким развитием политическое переустройство, феодальная реакция довела Россию до взрыва. И пришедшие в итоге к власти большевики построили иной, коллективный феодализм, при котором номинально всеобщей собственностью распоряжается уже не отдельный дворянин, не отдельный партсекретарь, а комитет партийцев, связывающих друг друга и оставляющих реальной экономике место лишь в тени их внеэкономического государственного хозяйствования. Соответственно иерархическую структуру венчает уже не персону царя-самодержца, а самодержавный Центральный комитет и самодержавное политбюро.

Эта более грубая, хоть по внешности более устойчивая система быстро оказалась в непрерывном кризисе. Многим казалось, что выход — в перемещении власти от партийной верхушки к демократически избранным представительным органам, возвращение к лозунгу «Вся власть советам!». Но советы, сосредоточивая всю власть, включая хозяйственную, остаются коллективными самодержцами, ни с кем власть не делящими. Выступая против самостоятельности президента, напрямую, как и парламент, избираемого

народом, часто осуждают двоевластие, уверяя, что оно — помеха порядку. Между тем без разделения власти на законодательную, исполнительную и судебную, контролирующую, но не подменяющие друг друга, то есть без троевластия, общественный порядок не будет демократическим и эффективным. Но мы за лозунгом «Вся власть советам!» позабыли про лозунг «Долой самодержавие!». Спорят, какое самодержавие лучше — коммунистическое или персональное, православное или исламское. Но оно всюду самодержавие! Вот коммунисты, монархисты и фашисты и тянутся к единству и находят, как приверженцы произвола, общий язык.

Говорят, на всевластие претендует и президент, но он нигде не отрицал правомерность других властей, ни законодательной, ни судебной. Мало того, он слишком часто уступал самодержавию съезда. После августа он ничего не сделал, чтобы провести прямые, а не двухступенчатые выборы российского парламента, освобожденного от манипулирующей палатами надстройки в виде общего председателя и президиума. Но независимость президентской власти Ельцин все же отстаивает, и это важно, поскольку съезд уже сегодня решительно утверждает свое всевластие, вполне соответствующее все еще господствующему, пусть без прежних лозунгов, коммунистическому хозяйствованию, власти самоназначенных начальников, коллективно распоряжающихся государственной собственностью. Как противник самодержавия, противник сосредоточения всей власти в руках одной власти, я предпочитаю сегодня поддержать вторую власть, президента, и на первый вопрос отвечу «Да!».

Со вторым вопросом сложнее. Он, строго говоря, неправилен, вопросы такого рода закон по референдуму не допускает. Но меня больше смущает другое. На вопрос «Поддерживаете ли вы социально-экономическую политику, осуществляемую президентом и правительством с 1992 года?» есть не два, а три ответа. Тем, кто поддерживает, легко сказать «Да!». Но столь четкой возможности нет у тех, кому эта политика не нравится. А ведь она не нравится и мне, и, с другой стороны, господам Руцкому, Хасбулатову, Бабурину, Аксютину, Исакову, Саенко, Астафьеву, Зюганову, Стерлигову и другим. Но ведь не нравится по прямо

противоположным причинам. Они возмущены радикализмом Ельцина и Гайдара, а я — бездействием, они уверяют, что народ разорен реформами, а я уверен, что — отсутствием реформ, они против Гайдара потому, что он якобы разрушил государственную хозяйственную машину, а я потому, что он ее укреплял, не спешил отделить хозяйство от государства. Но если и я, и они одинаково ответим «нет», наши голоса свалят в одну кучу и станут трактовать как общее недоверие президенту. Слово «оппозиция» у нас отдано противникам реформ, а о том, что есть оппозиция сторонников реформ, критикующих президента и правительство за то, что они от реальных реформ уклоняются, из печати узнать почти невозможно. Такая критика пробивается с трудом. Я испытал это на себе.

Верно ли принимать за реформу свободу монопольных цен, которые, естественно, тут же полезли вверх, и уверять, что народ разорил Гайдар? Словно еще с середины семидесятых даже в Москве и Ленинграде не пустели прилавки, во многих городах России пустые и прежде, когда Елисейевский ломился от снеди. Страну разорило самодержавное милитаристское хозяйничанье Сталина–Брежневца, а Гайдар лишь признал, что, если все достояние страны тратить на танки и ракеты, хлеб дорожает. Винават он в другом — в том, что, понимая все это, одновременно с отпуском цен, а еще лучше предварительно, не начал разламывать монопольное хозяйство на независимые конкурирующие части, способные в ходе конкуренции сбивать друг у друга цены. На мой-то взгляд, Ельцин и Гайдар были не в меру близки к самодержавному съезду, слишком многим жертвуя большевистской привычке к единству, за что и расплачиваются ныне. А нам все внушают, что есть одна оппозиция, а не две разных, противоположных.

Не буду углубляться в то, какую верней называть «правой», какую «левой». Коммунистов зовут «левыми», поскольку до революции они располагались на левом фланге, и не видят, что, заведя феодально-социалистическое государственное хозяйство, они стали крайне правыми, и их единение с фашистами и монархистами — вовсе не «право-левацкий блок», как твердят газеты, а естественное единение правых. Разговоры о право-левацком блоке нужны лишь затем,

чтобы замолчать тот факт, что левую оппозицию феодально-социалистическому абсолютизму составляют сторонники стоимостного, буржуазно-демократического хозяйства. Вот что важно не упустить из вида.

Поэтому вместо того чтобы отвечать на второй вопрос, поставленный коварно, я вычеркну оба ответа — и «да», и «нет», сделав бюллетень недействительным. Ни в коем случае нельзя оставлять оба ответа незачеркнутыми, да и уносить бюллетень с собой не стоит — и то, и другое может создать почву для злоупотреблений. А если таких, как я, вычеркнувших оба ответа, окажется много, мы продемонстрируем, что недовольны экономической политикой Ельцина совсем по другим причинам, чем съездовская оппозиция. И, может быть, открыто высказанное недовольство тем, что реформы подменяются разговорами, вызовет к жизни новую, последовательно-реформистскую партию, которая не станет, подобно лидерам «Демократической России», уверять, что в августе 1991 года у нас уже произошла бескровная революция, а потребует, чтобы президент не кланялся Хасбулатову и его артистам, не клонился к ним, а решительно взялся за реформы, прежде всего за то, чтобы дать крестьянам землю, вопрос о которой, вопреки двум миллионам собранных подписей, съезд опять скандировал. Реформы двинутся не от коллективного скандирования: «Ельцин! Ельцин!», а от выхода на политическую арену реальной силы, способной требовать реформ с не меньшим упорством, чем Зюганов и Стерлигов отказа от них.

Тут мы подходим к третьему вопросу о досрочном переизбрании президента. Отвечая, не будем забывать, что впервые за всю историю России глава государства избран на всеобщих свободных выборах. Мы доверились ему на определенный срок. Как показал провалившийся импичмент, даже злейшие его враги не нашли убедительных свидетельств нарушения им своего долга, а ведь отстранять положено именно за это, а не просто за неудачи и заблуждения. Не потому ли нас все время трясет, что не только власть, но и мы сами склонны, не соблюдая предварительных условий и законов, в любую минуту действовать по принципу «Чего хочу, то и ворочу»? Перед Горбачевым у нас не было обязательств, его выбирал не народ, а такой же съезд. Он сам отказался от

народной поддержки, на которую тогда мог рассчитывать, предпочтя положиться на волю партии. Ельцин поступил иначе, партия и государство были против него, но он доверился избирателям.

Не стану уверять, что мы выбрали идеального президента. Я и тогда предпочел бы голосовать, скажем, за Сергея Адамовича Ковалева. Но ведь ни его, ни кого-либо подобного ему, ни Сахарова, ни русского Вацлава Гавела, в избирательном бюллетене у нас не было, да и быть не могло. Мы выбрали лучшего из тех, кто в списке был, так позволим же ему не бросать дело посередине. Ведь и мы виноваты в его ложных шагах, если только шумно выражали поддержку, но не напоминали, какие надежды на него возложены. Люди устали жить в мире, где все «обозначено в меню, а в натуре нету». Ельцин обещал переход к реальности и некоторые шаги к ней впрямь совершил. Он отстаивал суверенность России, ее право думать не только о Кубе или Вьетнаме, но и о себе, о своих народах. Он освободил людей от обязательной идеологической догмы, и это тоже поможет, пусть не сразу, понять реальность. Да и гайдаровские мероприятия были шагом к реальности, хоть и слепым. Поэтому на вопрос о досрочных выборах президента я отвечаю «Нет!». Я хочу стабильности и не вижу нужды переизбирать президента второпях.

Вопрос о переизбрании народных депутатов опять поставлен коварно. У меня нет претензий к своим депутатам — бывшему политзэку Молоствову и бывшему капитану милиции Аржанникову. Но ведь не их и вообще не тех или иных депутатов подразумевает вопрос, а нелепый, антиправовой съезд, в котором они участвуют. Будь это нормальный двухпалатный парламент, избранный прямым голосованием, я не позволил бы себе возражать даже против того, что туда попали Астафьев и Аксютин, Исаков и Бабурин, если только они честно излагали избирателям позицию, которую ныне демонстрируют, а не противоположную, о которой забыли сразу после выборов. Суть четвертого вопроса в том, хотим ли мы сохранить съезд или учредить, наконец, подлинно конституционное правление. Наново выбирать съезд, который наново назначит Верховный совет, дело, конечно, пустое. Но вопрос и поставлен так обтекаемо, чтобы отвлечь нас от необходимости избрать правовой

парламент или учредительное собрание. Ничего не поделаешь, надо переизбирать депутатов, чтобы заменить съезд настоящим парламентом и покончить со съездовским самодержавием. Другой возможности нет.

Самодержавие, как до 1917 года, так и сегодня, — тормоз перемен. Дело не в том, как власть именуется и под какими плакатами сидит. Дело в том, какова структура власти, а она у нас под разными плакатами примерно одинакова. Нам морочат голову сетованиями на несоблюдение конституции. Но беда не в том, что и Зорькин, и Хасбулатов, и Ельцин конституцию, конечно, нарушают, а в том, что и от них, и от нас все еще требуют верности конституции социалистического, то есть самодержавного государства. А по отношению к ней почти любая существенная перемена не конституционна. Конечно, первый съезд народных депутатов СССР, хоть и не сразу, отменил статью шестую, и нам уже не дарует законы милостью Божией коммунистическая партия, но единовластие не слишком ослабело от того, что съезд взял это на себя. Сколько поправок в социалистическую конституцию ни вноси — а внесено уже более трехсот, — основа ее незыблема. Стоимостные отношения и даже самые права человека хоть и записаны в конституции, строго говоря, у нас антиконституционны, поскольку власть, по конституции, по-прежнему выше их и может ими пренебречь. Правозащитное движение, требовавшее от советской власти лишь соблюдения ею самою изданных законов, имело, конечно, огромный просветительный смысл, но не могло облегчить участь жертв режима, поскольку социалистическая самодержавная власть сама себе закон, сама сочиняет законы, по которым действует, и даже поправляет их задним числом, подлаживая под совершенные действия. Хрущев изменил уголовный кодекс, чтобы расстрелять валютчиков за дела ныне ненаказуемые, а тогда предполагавшие не более семи лет заключения, каковые суд им и назначил. Хасбулатов принимает постановления и потом приводит в согласие с ними конституцию, а конституционный суд и не пикнет. Да и может ли он пикнуть, если съезд властен в любую минуту изменить конституцию и сделать неконституционным конституционным? Такова наша законность: кто палку взял, тот капрал! Пока власть выше закона, пока она сама себе закон, общество остается коммунистическим, хоть и

размахивая трехцветными флагами и печатая на банкнотах двуглавых орлов.

Говорят, Бог с ней, с политикой, сосредоточимся на экономике. Но политика и экономика нерасторжимы, и политические споры в конечном счете идут о том, как вести хозяйство. Конечно, подлинную опору демократия получает лишь там, где большинство граждан в той или иной форме обретает частную собственность и с ней заинтересованность в экономической, а тем самым и всякой другой свободе и законности. Но ведь именно от политики зависит, когда до такой экономики дойдет.

Кризис нашего казенного внеэкономического хозяйства обозначился еще при Сталине, но его преодолению служил не столько революционный энтузиазм или всеобщий страх, сколько неисчислимый, казалось, запас природных и людских ресурсов, которые Сталин и его преемники бросали в топку своего паровоза без пощады и счета. Потому и возможна была экономически неэффективная индустриализация, потому и позволяли себе несообразно дорогое оружие, и хватало еще на то, чтобы покупать за рубежом хлеб и лекарства. Но и огромных российских богатств не хватило на столь чудовищную растрату, и с середины семидесятых ресурсы доставались все трудней, и кризис нарастал. Иначе Горбачев никогда не стал бы генсеком и во всяком случае не заговорил бы о переменах.

Вести паровоз прежним ходом Григорий Васильевич Романов мог бы наверняка получше Зюганова, а уж Юрий Владимирович Андропов явно был поумнее Стерлигова, но, придя к власти, не фронт национального спасения организовал, а первым за долгие годы вслух вспомнил, что царская Россия была тюрьмой народов. Падение Романова и благоволение Андропова к Горбачеву порождались не прихотью, а очевидной невозможностью править по-прежнему.

Конечно, руководство КПСС ещё рассчитывало обойтись кадаровскими или, на крайний случай, дубчековскими реформами, и, начнись они сразу после Сталина или отстранения Хрущева (вспомним несостоявшуюся «косыгинскую» реформу), шестидесятническое коммунистическое правление, больше сообразующееся с реальностью, еще, быть может, продлило бы свои дни. Однако так называемый

«застой» был ведь не застоём, а, напротив, динамическим нарастанием разрыва с реальностью, дань которому отдали и Андропов, и сам Горбачев, уничтожавший виноградники, как врагов народа, но все же спохватившийся, что хозяйство страдает не от винограда, а от скопища неисправимых Зюгановых, и возложивший надежды на госаппарат. Однако ни Горбачев, ни потом Ельцин не стремились к радикальному преодолению единовластия. Не умиравшая в них надежда достигнуть единства с коммунистической реакцией погубила как политика Горбачева и поставила на грань гибели Ельцина. Вот и побеждает Хасбулатов, и не случайно примкнул к нему Зорькин, вынесший вердикт о законности территориальных организаций КПСС, то есть не только партячек при жилконторах, но и обкомов, и райкомов. Эти люди, декларируя верность реформам, активно тормозят экономическое преобразование страны. Тормозят не только тем, что поныне не приняты однозначные правовые нормы, гарантирующие экономическую свободу каждому собственнику, но тем, что поддерживается атмосфера деловой ненадежности.

В правовых государствах судьба телекомпании или газеты, да и судьба президента, не слишком волнуют рядового бизнесмена, но когда высший орган власти присваивает средства информации, когда конституционный суд осуждает указ президента по устному пересказу, до официального опубликования, всякий видит в этом модель своей возможной участи. Если уж с президентом да с «Останкиным» можно так, нужно быть безумцем, чтобы вкладывать деньги в российскую экономику. А такого безумия невозможно ждать не только от западных бизнесменов, которые помогли бы нам эффективнее, чем западные правительства, но и от российских предпринимателей, потому и падких на спекуляции, а не на инвестиции в производство. И не надо рассказывать байки, будто эти спекуляции — форма первоначального накопления! Спекулятивный капитал обратится разве что в доллары, и курс доллара потому и растёт, что инвестиции в отечественное производство ненадежны. Снизить этот курс помогут не искусственные банковские цены на валюту, а введение Хасбулатова, Зорькина и иже с ними в правовые рамки, гарантирующие прибыльное предпринимательство на долгосрочной

основе. Но ведь тогда и предприниматели, и рабочие, и крестьяне обретут почву под ногами и выступят против самодержавия, как они выступили против него единым фронтом в феврале 1917 года! Из-за слабости российской демократии на смену падшему самодержавию тогда пришло новое, коллективное, сегодня и оно шатается, но господа Зюганов и Стерлигов, воскресшие духи КПСС и КГБ, уже норовят его подпереть внепарламентскими средствами. По ленинградскому телевидению уже прозвучали призывы к созданию под их флагом ополчения, сулящего нашей атомизированной стране боснийскую беду с чернобыльской приправой. Быть этому или не быть — вот какой выбор перед нами.

Понятно, даже и полной победы президента на референдуме для спасения страны недостаточно. Нужна выработанная всенародно избранным учредительным или конституционным собранием демократическая конституция с четким разделением властей и правовыми гарантиями каждому экономических, гражданских и человеческих прав, которую ни съезд, ни конституционный суд, ни президент не смогли бы, когда очень захочется или очень понадобится, перекраивать и поворачивать, как дышло. А для этого мало конституцию сочинить и огласить, надо спасти общество от неограниченной власти государства.

Это, в частности, означает долг каждого, когда за то, что пользуешься такой возможностью, ещё не казнят и не гонят со службы, опустить свой бюллетень, выразить свою волю. Нельзя валить ответственность за свою судьбу только на других. Во второй книге знаменитого альманаха «Литературная Москва» был в 1956 году опубликован рассказ Николая Жданова «Поездка на родину», герой которого, большой московский начальник, приехав хоронить мать, ведет разговоры с деревенскими людьми, живущими иначе, чем казалось из его кабинета. И, возвращаясь, он все вспоминает заданный ему вопрос: «Верно ли, нет ли с нами сделали?» Заданный по конкретному поводу, но в контексте рассказа обретающий более широкий смысл. Многие и сегодня ставят вопрос так, а пора бы иначе: «Верно ли, нет ли мы сделали?» В нашей истории воля народа не раз на краткие мгновения вырывалась бунтом, после которого, как правило, все возвращалось в похожую колею, но всё не хватало сил

спокойно и сознательно самим утверждать свою волю в повседневном ходе жизни. А ведь только ставя предел произволу государства, разрушающему во благо самодержцам и временщикам страну, можно бы и нам жить, как люди, хотя бы не бедствовать в богатейшей стране.

Я не слишком много надежд возлагаю на Бориса Николаевича. Но все же ему добиться диктатуры нелегко, а у съезда она в руках. Вот я и предпочитаю чуждого мне, но все же законного президента коллективному произволу съезда, разжигающего гражданскую и даже мировую войну, без которой не обойдется, если Зюганов со Стерлиговым и всей братией начнут наводить порядок, возрождать СССР и социалистический лагерь.

Жизнь не дает идеального выбора, в ней нет розовых героев и черных злодеев, но в роковые минуты выбор все же остается. Кое-что от нас сегодня еще зависит. Если президента устроят, исчезнет и разделение властей, и мы останемся при хорошо знакомом коллективном самодержавии начальников, не имеющих уже к тому же ресурсов для подачек, которые прежде иногда выбрасывали. Тогда зависеть от нас и впрямь ничего опять не будет, и я соглашусь с читателем Зуевым. Но покамест собираюсь голосовать. Еще не все шансы потеряны.

ЧТО ЖЕ ДАЛЬШЕ?

Отклики на октябрьские события не менее примечательны, чем сами события. Одни, праздную победу демократии, зовут президента быть покруче. Иные, наоборот, в самом применении оружия против захватчиков мэрии и Останкина ищут смертный грех. Среди этих иных люди, еще вчера винившие друг друга в тайном сотрудничестве с ГБ, а ныне объединенные открытым обличением Ельцина и сорока двух литераторов, посмевавших сказать, что «тупые негодяи уважают только силу».

Вроде бы российская интеллигенция опять раскололась по политическим предпочтениям. Но каждый из лагерей винит противоположный в присущих якобы именно интеллигенции пороках. Ни те, ни эти не помнят, что политика — искусство возможного и, в частности, возможности страдать от меньшего зла, покамест и оно не перерастет прочие. Прямой взгляд на вещи у нас не в моде. Спорщики жаждут высокого, жаждут свершения идеальных картин, рая на земле, и меньшим злом довольствоваться не хотят. Ведь, защищаясь меньшим злом от чудовищного, приходится и этому меньшему, то есть тактически вроде бы «своим», указывать на их злостные черты. В частности, поддерживая президента как противовес самодержавным Советам, приходится критиковать его уклонение от коренных экономических реформ. Ситуация, что и говорить, безнадежная. В отличие от Максимилиана Волошина, молившегося «за тех и за других», оказываешься ни с теми, ни с этими, и ничья победа не то что карьеры, но даже признательности не сулит. Но это единственный способ видеть вещи как они есть, не ослепляясь ни национальным, ни партийным, ни государственным единством.

Почему события приняли кровавый оборот? Говорят, от президентского указа, хотя Верховный совет после референдума демонстрировал самодержавное нежелание хоть как-то посчитаться с недвусмысленной волей народа. Непосредственный виновник того, что разногласия старой советской и новой президентской властей обагрились, конечно, господин Зорькин, прежде спасший КПСС от запрета, а потом, вопреки даже латаной брежневской конституции, объявивший, что мнение

народа властям не указ и сами они разберутся. Вот и разбирались!

События именуют мятежом. Так и пишут: мятежники пошли на Останкино. Между тем захват Вильнюсского телецентра, стрельбу в Тбилиси, в Риге, в Баку, мятежом не звали, хоть у властей единогласия и тогда не было, и президент Горбачев устраивал даже парады своей непричастности к пролитой крови. Советская власть всегда держалась насилием, даже внутри своих властных структур и в своих идейных разногласиях. Без этой славной традиции на указ, хоть трижды неверный, Советы ответили бы адекватно, словами, пусть даже импичментом, на который, впрочем, не хватало голосов. Но они запаслись оружием, призвали вооруженные банды, поощряли демонстрантов избивать безоружных милиционеров, выставленных для поддержания порядка.

Утверждают, что президент спровоцировал Белый дом. Пусть так. Но почему ответом была вооруженная атака? И неужто насилие — не отягощающее обстоятельство? Казалось бы, инициаторов перехода к насилию и надо спросить: «Почему вы стреляли в свой народ?» Не потому ли, что он отверг вас на референдуме? Но обращают этот вопрос к президенту. А его, отнюдь не безгрешного, спросить бы скорее стоило: «Почему вы не защитили свой народ?»

Почему, и самом деле, толпе позволялось самоуправствовать? Почему в Останкине, где, по свидетельству П.С.Грачева, вооруженных сил хватало, захватчикам не оказали должного сопротивления? Скажу сразу, что мне понятно желание министра обороны удержать армию вне гражданской войны, и то, что без армии, к сожалению, было не обойтись, создало опасный прецедент. Но почему бездействовали властоохранительные органы? Призыв Гайдара идти к Моссовету означал, что, кроме как безоружным москвичам, защищать российскую демократию некому. Отчего так получилось, тоже стоит спросить у президента, но и это не обеляет Белый дом.

А силятся его обелить. Дескать, это наш первый парламент, избранный на альтернативной основе. У англичан-то парламент 800 лет! Дескать, и мы научимся. Но как-то неловко России с ее тысячелетним христианством ходить в несознательных подростках. Да и

наш первый и единственный полноценный парламент, Учредительное собрание, избирался в 1917 году куда демократичнее, чем Верховный совет.

Скорее все-таки дело в том, что Англия больше считалась с интересами своих граждан, а у нас больше полагались на силу власти. То-то и оно, что Верховный совет — не парламент, а орган коллективного самодержавия, всей власти в одном месте. Не зря Хасбулатов заявлял, что он и ядерным оружием распоряжается. Слава Богу, не успел.

Конечно, в том, что и после августа, и после формального роспуска СССР и после референдума Россией правил старый Верховный совет, виноваты не только державшиеся за места депутаты, не только расширявший свои претензии спикер. Президент не оправдал возлагавшихся на него надежд, не создал новое Учредительное собрание, которое только и было бы правомочно определить, как России жить дальше. Вместо этого до конституции был создан конституционный суд, призванный охранять прежнее беззаконие. И кровь в столице России пролилась оттого, что там не помнили, отчего она лилась в столицах Грузии и Литвы.

Доверие народа к президенту, огромное в августе, преобладавшее на референдуме, стало из-за его пассивности падать, что, конечно, поощряло непримиримость Руцкого и Хасбулатова. Ныне настороженное отношение к президенту, хоть и не безусловно, но все же противостоявшего коммунофашизму, усугубляется тем, что опять не стало разделения властей, да и оппозиции как бы не стало. Но почему, опять же, прежде мало кого смущало, что оппозиционной признавалась одна лишь коммунофашистская сторона? Нас подверстывали под двухпартийную систему: либо Ельцин, отождествленный с демократией и реформами, либо снова тоталитарный режим под прежним или другим флагом. Так называемые «центристы» — среди них и щеголял сперва Руцкой — разве что пытались придать лозунгам непримиримой оппозиции более пристойный вид. Лишь голоса, вопиющие в пустыне, ратовали за оппозицию президенту с другой, демократической стороны, обличающую его бездействие. Нынешних обличителей Ельцина что-то не было среди тех одиноких голосов. Да и сегодня, ставя ему к вину, что он,

объявляя чрезвычайное положение, запретил партии, создающие штурмовые отряды, не вспоминают, как долго он существование этих противозаконных отрядов терпел, что было еще менее похвально, чем их нынешний запрет.

До поры у Ельцина не было коренных расхождений и с Верховным советом. Именно этот Верховный совет дал ему чрезвычайные полномочия для гайдаровской «либерализации цен». Наши цены были искусственными, не отражающими реальной стоимости товаров. Это при заниженных зарплатах позволяло монопольному государственному хозяйству до поры как бы по дешевке давать людям хлеб или скромное жилье, ограничивая потребление в целом. Но с возрастанием перевеса тяжелой и военной промышленности, не пополнявших рынок, но плативших зарплату, регулировать такую систему становилось невозможно, и магазины опустели.

Ожидалось, что свободные цены будут у нас, как на Западе, способствовать подъему производства. Но, объявляя свободу цен, Гайдар отлично знал, что на Западе она эффективна в силу частного характера производства, а он привил ее к государственной монополии. В этом проявилась наша самобытность, — Гайдар не зря ведал экономическими отделами газеты «Правда» и журнала «Коммунист». Вопреки наветам у него не западное мировоззрение. Государственная хозяйственная монополия так и не была сломлена, не были включены конкурентные механизмы, способные осадить рост цен, не были возвращены в оборот похищенные государством у народа ценности, начиная с земли. При этом по-прежнему сдерживалась цена основного товара стоимостного хозяйства — рабочей силы. В по-прежнему господствовавшем государственном секторе зарплата катастрофически сокращалась.

У людей новые цены в заполнившихся магазинах вызывали шок, как говорили наши остроумцы, шок без терапии. Но государственному хозяйству они были призваны служить терапией: за счет взвинченных цен продолжали субсидировать неэффективное производство, то есть гнать зайца дальше. Однако кризис был слишком глубок, вдохнуть, хоть на время, жизнь в монопольное хозяйство Гайдару не удалось, и правящий слой стал расслаиваться. Одни поняли, что перемены, пусть и паллиативные, все же нужны, и принялись за

приватизацию, стремясь, хоть и не вернуть народу награбленное, но заинтересовать в прибылях начальство, как некогда мечтал заинтересовать в прибылях рабочих Роберт Оуэн. Но большинство начальников, представленных в Верховном совете, опасаясь, что неудача Гайдара повлечет за собой более глубокие реформы, наперед оборонялись. Они сочли, что Ельцин их обманул, и жаждали благополучия, гарантированного послушанием вышестоящим, без оглядки на результаты их труда, как оно десятилетиями и было. Похожие настроения, — «мысли господствующего класса есть господствующие мысли», — владеют немалым числом и рядовых тружеников, желающих получить пусть скромную, по гарантированную, не зависящую от прибыльности производства пайку. Словом, борьба президента и Верховного совета была не просто борьбой за власть.

В ней, хоть и уродливо, отобразилась невозможность разрешить в рамках прежней общественно-экономической системы настигший страну кризис. Горбачев с этой системой порвать не решался, не вышел из партии, не отказался от лозунгов государственного социализма. И все равно его политическая дерзость, разрядившая атмосферу в стране и спасшая ее от немедленного краха, пугала его «шестерок», и они рискнули его устранить. Ельцин вроде бы и из партии вышел и прежнюю идеологию отверг, но в реформах не продвинулся. Однако ему приходилось хоть как-то демонстрировать свое реформаторство, поскольку оно было почвой, из которой росла его харизма. Вот и его «шестерки» тоже с ним расходились, претендуя на собственную власть, и, наконец, пошли в атаку. И хоть атака захлебнулась, обольщаться не стоит, ибо противостояние консервативных сил реформам обостряется. И угроза фашизма не миновала.

Поддержка пусть и не большинством, но все же немалой частью населения коммунизма, фашизма и подобных им движений проистекает не из красноречия лидеров. Она возникает из массового отчаяния, утраты надежд, обнаружения очередного общественного обмана, пусть ненамеренного, то есть на почве несвершения насущно необходимых экономических преобразований. Если мы не изменим устройство нашей жизни, нас ждет новый Сталин, разве что сидящий не под портретом

Маркса, а под портретом Гитлера или, чтобы оставаться патриотичным, под портретом Василия Шульгина. Было бы упрощением видеть этого нового Сталина в Ельцине. Ельцин скорее окажется его первой жертвой. Но одновременно и виновником того, что произойдет. Поэтому в сложившейся ситуации одинаково опасно и уклоняться от открытой критики ложных шагов президента, и сводить эту критику к его персоне. Дескать, уйдет, и проблемы решатся. Но вот Горбачев ушел, а проблемы остались, и Ельцин повторяет путь своего вчерашнего оппонента. Конечно, народ волен избрать на будущих выборах другого президента, но если не сложилась демократическая оппозиция нынешнему, нет гарантии, что новый не повторит ельцинский путь или не свернет на сталинский.

Страна не только не выбрала за восемь лет свой путь, но все еще живет в убеждении, будто выбирать надлежит меж социализмом и капитализмом. Между тем выбирать надо между государственным внеэкономическим хозяйством, которое даже Ленин, признававший, что, «когда будет социализм, не будет государства», не назвал бы социализмом, и свободно развивающимся хозяйством, которое мы тоже, возможно, зря по старинке именуем капитализмом. Отличное от нашего хозяйства, оно сегодня опирается не только на либеральные принципы, отказ от подневольного труда и свободную продажу рабочей силы, но и на могучую систему социальной защиты, спасающей отдельного человека от жестокости стоимостных отношений. У нас социально-либерального движения поныне нет. Одни рассуждают о либеральных принципах, не задумываясь о миллионах конкретных людей, терпящих катастрофы, другие твердят о социальной защите, но ищут ее в государственном хозяйстве, в отвержении либеральных принципов и прежнем порядке.

Эта неразбериха после всего пережитого страной естественна. Худо то, что разногласия выясняются без учета мнения граждан, а демократия понимается не как свобода суждений и мирных акций, а как свобода насилия и призывов к насилию ради утверждения своих мнений. А ведь насилие и даже только угроза или призыв к насилию — ради ли ограбления банка или захвата информационного агентства — остаются уголовными

преступлениями и должны наказываться в судебном порядке, независимо от мотивов. Точно так же не должна оставаться безнаказанной публичная клевета, опорочено ли частное лицо или целые народы.

Существуй у нас правосудие, газета «День» да и газета «Правда» давно были бы разорены штрафами или запрещены. Конечно, невозможно согласиться с тем, что газеты закрывают административными указами! Но примечательно, что критики этих указов и словечка не промолвят о том, что у нас нет правосудия, как нет конституции, как нет и не было парламента. Вот и попытки судиться с фашистскими газетами, как правило, проваливались. И дело президента, пусть осознавшего, наконец, опасность фашистской демагогии, не подменять правосудие, а его создавать, укреплять его независимость и от собственной власти, и от власти тех живучих сил, которые фашистское движение вскармливают.

К сожалению, происходящее не сулит покамест возможностей ни для широкого социал-либерального движения, стоящего в оппозиции не только к побежденным, но и к победившим в октябрьские дни, ни для подлинной конституции, правосудия и парламента. Об этом говорят не только многие дела победителей, вроде расправ с лицами так называемой «кавказской национальности», уж к штурму Останкина всяко непричастными. Об этом кричит само установление мажоритарной системы голосования в один тур, при которой депутаты, кто бы это ни был, окажутся избранными явным меньшинством голосовавших, что наперед сорвет доверие к парламенту. Такие выборы годятся странам с двухпартийной системой, а у нас, если Зюганов соберет 27% голосов, Гавриил Попов — 26%, а Гайдар 25%, в парламент попадет Зюганов, хотя сторонники Гайдара во втором туре наверняка предпочли бы ему Попова, который собрал бы 51%. Имена можно менять и переставлять, в любом случае отказ от проведения второго тура означает открытое нежелание учесть мнение большинства и на него опереться. А это, даже если в декабре все пройдет гладко, сулит нестабильность. Вот почему созыв Учредительного собрания, некогда разогнанного Лениным, остается актуальной потребностью.

ЧЕМУ ПОСЛУЖИТ ПОМОЩЬ

Одни народы считают, что почем, ведут стоимостное хозяйство и богатеют. Другие, в других обстоятельствах, полагаются на оружие, на завоевания и принуждение, и в наш век нищают. Фамилии Морозовых и Мамонтовых, Рябушинских и Путиловых, Третьяковых и Щукиных, свидетельствуют, что Россия располагала талантами не только в литературе и балете. И все же ее история в новое время — по-прежнему история силового хозяйства и подневольного труда. Стоимостные отношения брали у нас верх лишь отчасти и ненадолго. Большевизм отверг их последовательно. Ленин мечтал строить из золота общественные уборные, забыв, что злато — лишь обозначение ценности, которую по Марксу создает физический труд, и даже не выясняя истину, понятно, что пренебречь золотом означает пренебречь ценностью труда.

Правда, уже через три года после революции Ленин спохватился и заговорил об отступлении к капитализму, как ему казалось, временном. Но потом его партия все же вернулась к внестоимостному хозяйству, обратив хозяйствование в привилегию государства. Реставрированное на новых началах феодально-абсолютистское государство. Сталин провозгласил социалистическим. Слияние власти и владения, власти и собственности, стало сутью тоталитаризма. Массовые расстрелы, переселения народов, крепостной колхозный строй и бесправие людей — только следствия.

До поры такое хозяйство держалось растратой природных и людских ресурсов. Масштабы советской империи, казалось, обеспечивали их неисчерпаемость. Но ресурсы истощались. С середины семидесятых, когда возобладало стремление к военному превосходству над всем остальным миром, а Рейган, включившись в гонку, подрубил мечту советских вождей, отечественные богатства проматывались все быстрее. И не по злой воле, а потому, что, считая лишь натуральные траты, не замечали ценностных растрат и не предвидели надвигающегося кризиса и взрывоопасности Чернобылей.

Горбачев, пронизательно ощущавший угрозу и облегчавший взваленный на страну груз, еще старался

спасти феодально-социалистический порядок, и ничего не делал для перехода к стоимостному. Теперь Гайдар просит Запад о помощи, желая укрепить рубль. Но советский рубль всерьез укрепить невозможно, поскольку по природе своей он, в отличие от доллара или марки, не денежная единица. Даже в национальных границах он не является всеобщим ценностным эквивалентом. Советские деньги, в отличие от настоящих, отнюдь не универсальный товар. Одно дело — рубль наличный, выплачиваемый как зарплата, употребляющийся в расчетах людей с государством и меж собой. Совсем другое — рубль безналичный, используемый во внутренних расчетах государства между принадлежащими ему учреждениями и предприятиями, и без специального разрешения стать наличным не смеющий. Да и безналичные рубли в хозяйстве, "фондирующем", то есть административно определяющем, количество машин или сырья, которое данному предприятию дозволено купить, не равноценны наличным.

Чтобы укрепить рубль необходимо создать реальную финансовую систему, а для этого стереть границу между фондируемыми и нефондируемыми товарами, между безналичностью и наличностью, иначе рубль будет "укрепляться" лишь ценой ухода от финансовых отношений, от оплаты товаров и труда. Чтобы ему и впрямь укрепиться, он должен стать общим для всех сфер жизни ценностным эквивалентом. Но на такое и Гайдар не замахивается. Его бранят за излишний радикализм, а надо за недостаточный, за робость пред государственным хозяйничаньем. А укрепление валютными вливаниями нынешнего рубля, являющегося по существу купоном на получение потребительских товаров, выданным всеобщим работодателем-государством, будет означать лишь оплату Западом производства наших танков и ракет. Пойдет ли на это Запад?

Покуда традиционное феодальное общество сосредотачивалось на сельском хозяйстве, оно, и будучи внеэкономическим, долго могло оставаться устойчивым. Уже стремление феодальной реакции не упустить промышленные возможности, обнаружившиеся в странах со стоимостными отношениями, ожесточало тяготы зависимых людей и привело к крепостному праву. Но при научно-технической революции, когда возрастающая роль

умственного труда делает рост личной свободы и социальные гарантии обязательным условием успешного производства, попытки обогнать стоимостное хозяйство силовыми нефеодалными методами оказываются, в конечном счете, особенно разорительны.

Экономические проблемы нынешнего кризиса в людских умах обособлены от социальных. Не только реакционные зубры, но и молодые экономисты вроде Явлинского или Гайдара, знающие западную экономику, не оглядываются на общественные отношения, ни сегодня в своей стране, ни в давние дни в европейских странах, переходивших к буржуазному хозяйству. Они верят, что работоспособные экономические модели можно запустить и без социальной активности широких масс.

Но в Англии или во Франции кодификации частной собственности желало большинство населения и, прежде всего, крестьянство, потому и шедшее за Кромвелем или Бонапартом. Не то чтобы лендлорды вдруг сочли целесообразным стать крупными фабрикантами, — их вынудила к этому общая победа новых отношений, и приспособиваясь к ним, они отстаивали свои феодальные владения и привилегии, капитализируя даже сугубо феодальные установления, вроде существующего в Англии по сей день лизгольда, в котором собственности лендлорда и нижестоящего владельца по-феодалному сосуществуют в буржуазных формах. А нас учат, что передача госпредприятий вчерашним партаппаратчикам это и есть приватизация. Но такая приватизация к стоимостному хозяйству не ведет не только потому, что уцелевшие наверху личные связи продолжают работать на монополию, но и потому, что внизу большинство населения остается ни с чем, а буржуазные революции, что ни говори, пусть зыбко недостаточно, но и ему что-то дали.

Многие нынче твердят о крахе коммунизма, о посткоммунистическом периоде. Но практически отброшена лишь прежняя идеология. Даже коммунистическая партия, чуть ли не запрещенная, остается на деле руководящей силой. В ней состояли все, кто, именуя себя нынче демократами, заняли руководящие посты. И это не случайность. Мэр Петербурга Собчак, тоже числящийся демократом, объявил, что, поскольку беспартийные не имели доступа к

важной работе, все компетентные люди состоят в партии. Словно продвижение коммунистов по службе в силу партийности часто не шло вопреки их некомпетентности, словно не было и нет людей высоко компетентных, прежде не занимавших важных постов из-за нежелания вступать в партию, но вполне способных их занимать, словно не было, наконец, диссидентов, среди которых попадались и люди, пусть не равные, но подобные А.Д.Сахарову.

На руководящих постах коммунистов поныне сохраняют потому, что не изменился тип хозяйствования, дело в нем. Выход из кризиса откроется лишь в меру преодоления вневещных нефеодалных отношений, именуемых социалистическими. Но ни покаявшиеся партократы на высоких постах, охотно бранящие нынче Ленина, ни зовущие возобновить его несбыточные проекты, не вспоминают о его призыве отступить к капитализму. Между тем, для страны, для всех ее народов, при том, что и буржуазный порядок далеко не идеален, он — единственная возможность спастись. К тому же мир ныне знает не только давние, дикие формы капитализма, но и выработанные им, куда успешней чем феодальным социализмом, социальные гарантии.

Альтернативу ищут в сильной личности. Но Горбачеву предшествовали сильные личности. Именно сильные и способные люди, Устинов, Громыко, Андропов, с которыми Алкснису, Жириновскому или Макашову не тягаться, и довели своей силой и упорством страну до ее нынешнего состояния. Приход новой сильной личности станет лишь попыткой правящего класса спастись ценой нового разорения.

Не тем Советский Союз был худ, что в нем жили разные народы, а тем, что их объединение было насильным и неравноправным, и они жили несообразно со своим вкладом в общее хозяйство и производительностью собственного труда. И хоть нынче объявляют, что Союза больше нет, неравноправие сохраняется, отпал лишь наднациональный центр, но стали очевиднее претензии России и дальше быть таким центром, — они выплеснуты открытыми территориальными претензиями ее лидеров и жаждой сохранить в СНГ единую, а не объединенную, как в НАТО, армию.

Примечательно и то, что гражданская, не прикрывающаяся межнациональной, война началась

покамест в одной лишь республике — где более 80% избирателей голосовало за избрание президентом бывшего диссидента, а не партаппаратчика, и он впрямь жаждал отделиться от Союза. Конечно, Звизяд Гамсахурдия с его мечтой о единой и неделимой Грузии вызывает не больше симпатий, чем мечтающие о единой и неделимой России. Но и тех, кто расстреливает мирные демонстрации в поддержку законно избранного президента, демократами можно считать лишь утратив всякое понятие о демократии. Грузинский пример удерживает от признания Советского Союза "бывшим", показывает, что борьба за него, пусть под другим именем и знаменем, не кончена.

Неоднозначность национальных движений в СССР плохо создается. Еще жив старый, феодально-социалистический национализм, жаждущий, освободив свою республику от всевластного центра, хозяйствовать в своих малых пределах по его образцу. Содружество таких республик может иначе перераспределить свои ценности, но не властно изменить природу своего сожительства. Взаимная договоренность, воля, для него более значима, чем объективная ценность. Стойким содружеством делает только взаимовыгодная экономика, а этому всевластие республиканских правительств еще не подмога, необходимо внутри республик вести хозяйство способное к объективному определению ценности создаваемого конкретными производителями.

В борьбе за внутреннее самоопределение ценностей и складывается другой национализм. Он хочет не просто своих, но настоящих денег, хочет уйти не столько от чужого, сколько от фиктивного рубля. Это национализм не расовый и не территориальный и, в отличие от имперского и фашистского, он стремится к национальному самоопределению по тем же мотивам, по которым боролись за него народы, преодолевавшие феодализм. Бедная в сравнении с Россией Финляндия, не имеющая сопоставимой с нами роскошной истории, наглядно демонстрирует, что и небольшое, но стоимостное хозяйство, позволяет гражданам жить благополучней, чем в нашей богатейшей сверхдержаве.

На Западе, при переходе от внеэкономического хозяйства к стоимостному, люди в большинстве еще были хотя бы мелкими собственниками, а их пролетаризация — долгим процессом, по ходу которого в конкурентных

отношениях и осваивалось, наряду с другими экономическими понятиями, представление о рабочей силе, как собственности трудящегося, имеющей на соответствующем рынке свою стоимость. А нам подобный переход предстоит после того как в ходе коммунистического строительства люди были разом обращены в пролетариев, состоящих на службе у монополиста-государства. При этом трудящиеся были не только разом отчуждены от собственности, но и за их рабочей силой стоимость уже не признавали. Нас поныне призывают усиленно трудиться и не считать сколько труд стоит. И еще удивляются падающей производительности почти бесплатного труда.

Переход к стоимостному хозяйству невозможен без возврата людям собственности, отнюдь не сводящегося к тому, что на вчерашнем государственном заводе появится фамилия нового монопольного владельца. Подлинная приватизация начинается с приватизации рабочей силы, то есть признания за ней рыночной стоимости и возрождения ее рынка. Но рыночные отношения невозможны, пока средства производства остаются в руках монополиста. Для восстановления стоимости рабочей силы необходим конкурентный спрос на нее, то есть плюрализация собственности и производства.

Формой плюрализации могла бы стать выдача гражданам сертификатов, способных, наравне с деньгами, стать платежным средством для приобретения земли, недвижимости, предприятий, акций и других ценных бумаг. Возникновение рынка средств производства и повлекло бы за собой возникновение рынка рабочей силы. Но для этого государство должно отречься от всевластия, от владения всем и грабежа граждан. Ему надо открыть дверь экономической стихии, и быть не комендантом лагеря с железным порядком, а, как в экономическом обществе принято, регулятором стихии и защитником ее жертв.

Плюрализации хозяйства советских республик, конечно, могли бы помочь развитые страны. Но их займы и благотворительность все еще оказывают помощь монополисту-государству, а не частным производителям, для успешной работы которых государство потому и не спешит создать условия. В чем и кому есть прок от нынешней зарубежной помощи, хорошо видно по

баснословным ценам на продающуюся в государственных магазинах библию, присланную из-за рубежа для бесплатной раздачи верующим.

Подлинной помощью России были бы не столько займы и подарки ее правительству, сколько прямое и самостоятельное участие иностранцев в нашем производстве и торговле. Понятно, частные предприниматели пойдут на такое участие лишь при возникновении в стране настоящих денег, реальных гарантиях от новых социалистических конфискации и защите от якобы независимых рэкетиров. Но зарубежные бизнесмены ввергли бы отечественные предприятия в экономическое соревнование и, в той мере, в какой ушла бы возможность устранять конкурентов силовым путем, вынудили бы их к развитию, что и стало бы главным выигрышем России от реформ. Чтобы требовать гарантий для иностранного частного капитала, западным правительствам надо осознать, что это и было бы самой действенной помощью рядовым людям России.

Что же до чистой благотворительности, то она тоже принесет пользу только если дары будут поступать не чиновникам, государственным или "общественным", а непосредственно вручаться иностранцами нуждающимся, старикам, детям, кормящим матерям, больным, инвалидам. Иначе благотворительность идет не по адресу и служит не тому, чего хотели доброжелатели.

Помощь России нужна прежде всего, чтобы одолеть внеэкономические привычки. Поэтому ее результаты всецело зависят от ее формы. Важно различать, помогает ли зарубежная помощь становлению у нас стоимостных отношений и демократии или, напротив, помогает лишь тоталитарному порядку, сбросившему старую кожу марксистской мифологии, перетерпеть настигший его кризис.

ТРЕТЬЯ ПОПЫТКА

Только и слышно: "Нам ихние законы не писаны!" "Наши люди жить по ихнему не могут!" "Не сдадимся соблазнам потребительского общества!", "Сохраним национальную самобытность и традиции!" Словом, надо возвращаться, да только, не сговорятся куда, — то ли к Святославу, то ли к Ярославу Мудрому, то ли к Ивану IV, то ли к Екатерине II, то ли к Ленину, то ли к Сталину. Между тем, западный, а точнее сказать, буржуазный путь как раз больше поощряет, чем нивелирует, национальную самобытность. Именно буржуазные революции создают национальные государства. У нас буржуазная революция так и не возобладала, и русское национальное государство в новое время так и не возродилось. Не оттого ли мы с особым теплом думаем об идеализированных героях Киевской и Новгородской Руси или о царствовании Ивана III, когда кажется, вот оно сейчас и возникнет!

Тем временем Англия и Франция, дважды родственные — и по кельтским аборигенам и по нормандским завоевателям, — сохранили глубочайшие различия и даже взаимную неприязнь. С другой стороны, на Запад перебрались миллионы наших сограждан, оказавшиеся там, вопреки патриотическим наветам, отнюдь не хуже других. За подлинную самобытность тревожиться нечего. Японцы по-прежнему японцы. Смею думать, и русские не пропадут, и Россия не сгинет. Только ведь и в самом деле наша страна — особенная!

В чем же ее особенность? И откуда? При Святославе и Ярославе Русь не слишком отличалась от других европейских стран. Потом, правда, были Чингис и Батый. Но новейший евразиец Лев Гумилев уже выговорил, что монгольского ига, которое, как сказано в любом учебнике истории, началось страшным разорением и длилось двести лет, вовсе и не было. Что же было? Шло, говорят, формирование единой евразийской державы. Но тогда и победы Ермака Тимофеевича над ханом Кучумом в Сибири или Скобелева в Средней Азии — лишь этапы процесса единения, а вовсе не процесса созидания Российской империи, выходит, и называть так нашу страну не положено. Но ведь после Петра она именовалась так официально, это честное самоназвание, а не оскорбительная кличка.

Батыево наследство, конечно, укрепляло российский феодальный абсолютизм и феодальную реакцию. Но вот и турки завоевали Малую Азию и Балканы и у самой Адриатики отчасти отуречили славянских жителей, но Османская империя с Российской несопоставима. Видимо, дело все же не в самом стыке Европы с Азией, а именно в желании оставаться при этом в Европе, как ныне выражаются, в европейском доме, и главное в том, какой ценой пребывание там оплачивается.

Мысль о Европе, к которой, Русь принадлежала искони, об успехах еще недавно бедных племен, теплилась у нас в разных формах и временами пробивалась. Потомкам она предстает титанической фигурой Петра, всемирно-значимые позднейшие успехи русской культуры недвусмысленно подтверждают разумность его целей. Реже вспоминается, что этих целей он стремился достичь, не подрывая сложившихся устоев Российского ханства. Технические достижения европейского мира высаживались на феодально-крепостническую почву. В Англии или Голландии на заводах трудились продавцы своей рабочей силы, а в России крепостные мужики. Демидовский завод, выпускавший отличную продукцию, стал символом российского развития. Прогресс? Еще какой, какие только замечательные вещи не открывались и не совершались в России! И тут же глубочайшая феодальная реакция, поддержанию которой прогрессу как раз и велели служить. Хозяйство, державшееся насилием, принудительным трудом, стало главной особенностью российской жизни, наложившей печать на все другое.

Разумеется, подобные стремления, особенно в сельском хозяйстве, рождались не в одной России. Американские плантаторы завозили африканских рабов, да и в Германии до начала XIX века держалась крестьянская зависимость, пусть не столь жестокая, как у нас, — людей все же не продавали. Но нигде в такой мере принудительный труд не был опорой технического развития и промышленности, нигде так не крепла вера в возможность силой достичь любых желанных результатов: не умеешь — научим, не хочешь — заставим! Эту веру укрепляла и кажушаяся неисчерпаемость природных и людских богатств. Вера в насилие определяла мировоззрение самодержцев и

революционеров, и масштаб претензий государства, и самый характер социальных отношений. Вера в насилие подсекала стремление к социальным компромиссам, к которым тяготела Англия, а за ней и вся Европа.

Советские граждане привыкли думать, что государство сознательно строит общественный строй. Но буржуазные отношения тем и отличаются от феодальных, что никакого особого строительства не предполагают, не считая, понятно, защитных правовых норм и заботы об их поддержании. До поры буржуазные отношения успешно развиваются внутри феодального порядка, да и потом нуждаются, главным образом, в устранении препон и запретов своей свободе. Буржуазные революции, собственно, и состоят в устранении таких запретов и препон, чему прежние господа сопротивлялись тем яростней, чем труднее было перейти к новым отношениям. Если не трудно, происходят "славные революции", компромиссы, реформы и мирная трансформация этого порядка в другой.

Привыкшие пользоваться принудительным трудом, наши господа особенно сопротивлялись, поскольку их утрата была невосполнима. Но не только крепостное право мешало у нас буржуазным отношениям. Сверх того их сдерживала крестьянская община, на которую уповали русские революционеры, считавшие небуржуазное синонимом социалистического, и, тем самым, наперед отождествившие социализм с несвободой, с принуждением. Характерно, однако, что и даже такие люди, как Столыпин, понимавший пагубность крестьянской общины для России, полагались на насилие, по принципу "сначала успокоение, потом реформы". А реформы, заменяя насилие, и должны бы служить успокоению.

Великие реформы Александра II, завершить которые помешало не только его бессмысленное убийство, не сокрушили феодальный абсолютизм. При сыне и внуке реформатора почва для революции лишь накалялась. Однако и Февральская революция не спешила с насущными переменами ни в экономической, ни в политической сфере, открыв дорогу большевикам, которые, хоть и не сразу, в ответ на половинчатые царские реформы совершили радикальнейшую контрреформу, монополизировав промышленность и сведя тем самым на

нет конкурентную продажу рабочей силы, и одновременно заменив разрушенную Столыпиным и революцией общину колхозами. Страна обратилась в единый демидовский завод. Объективный смысл этого состоял в восстановлении феодально-абсолютистского порядка, только уже не в индивидуальных, как исстари, формах, а в коллективных, названных социалистическими.

Петровские варварские методы борьбы против варварства уже к XIX веку утратили эффективность. Под социалистическим флагом эти варварские методы были не только воскрешены, но ожесточены в надежде восстановить их эффективность. Поначалу, пока речь шла об отдельных проектах, казалось, что это и впрямь возможно. Но система в целом за семьдесят лет жестокого состязания с буржуазной, тем временем ощутимо реформировавшейся, пришла к кризису.

У Горбачева за плечами был опыт двух великих перестроек, петровской и александровской, тоже призванных вывести страну из системных кризисов. Обе подняли на поверхность множество дарований, принесли множество достижений, но даже и вторая из них не преодолела нашу пресловутую особенность — надежду на насилие. Горбачеву было еще трудней. Технический разрыв с Западом, который составляла уже не только Европа, но и Америка, и Япония, оказался еще разительней. Еще ясней было видно, что вызван он отнюдь не отсутствием в России светлых голов и умелых рук, но социалистическими контрреформами, не просто воскресившими, но усугубившими самодержавные порядки и внеэкономическое хозяйствование. При царях свободное предпринимательство хоть и было стеснено разными обстоятельствами, все же не запрещалось, а феодально-социалистическая система допускала свободную экономику лишь в качестве тенивой.

Связь промышленных успехов с общественным порядком в петровские времена отчетливо не создалась. При Александре II она была признана, и царь немало сделал, чтобы вывести страну из-под власти батыевых установлений. У Горбачева не могло быть надежд на петровские силовые методы, но и для создания условий к саморазвитию, отчасти свершенного Александром II, ему надлежало преодолеть куда более

укрепленную стену монополизировавшего все и вся феодально-социалистического хозяйства.

Горбачев, однако, стену разрушать не стал, надеясь облегчить положение частными, хоть и существенными исправлениями. Он, должно быть, видел себя российским Кадаром или даже удачливым российским Дубчеком, поскольку, видимо, счел, что вводить в Москву войска некому. Он только забывал, что власть венгерских либеральных коммунистов, проводивших хозяйственные реформы, гарантировалась памятью о подавлении восстания и присутствием советских войск. Советскому Союзу ждать гарантий было не от кого, а годы НЭП'а напоминали, что даже относительная экономическая свобода ведет к развитию, требующему большего и побуждающему к конфликту с властью, отказывающей в такой свободе. Об этом напомнил и китайский опыт на площади Тяньаньмынь.

Горбачев облегчил непомерную ношу страны, ослабил узду восточно-европейских государств, ушел из Афганистана, согласился, хоть и не безвозмездно для Германии, на ее объединение, перестал преследовать инакомыслящих, допустил немалую свободу слова и печати, — все это не только создавало условия для перемен, но и побуждало в них верить. Но, видимо, ощутив, что частными поправками не обойтись, Горбачев остановился. Он так и не рискнул ни порвать с коммунистической партией, ни разрушить всевластие советов, и все больше продвигал на ключевые посты реакционеров, которые, в конечном счете, его и выбросили, а опору среди сторонников реформ он, бездействуя, утратил.

Дело, однако, не в личной судьбе Горбачева. Несвершение реформ довело государственный строй и хозяйство Советского Союза до предельного напряжения. Давний пражский август обернулся московским и началось то, что и нам предвещала стрельба в Тбилиси, Вильнюсе, Риге, Баку и другим местам, — уличное противостояние власти и народа. Исчерпался централистский способ решения внутренних противоречий, и на сцену открыто вышли силы, противоборствовавшие прежде под столом, под покровом "морально-политического единства советского народа". Невнимательные наблюдатели приняли внезапную

слабость централизма за конец коммунизма. Но актеры остались прежние, и противоречия тоже.

"Морально-политическое единство" — главный постулат феодально-социалистической системы. Остальные могут меняться хоть на противоположные, но на миру в правящей партии и в советах действуют заодно, по формуле "народ и партия едины". "Морально-политическое единство" само и было идеологическим выражением нашей главной особенности — культа насилия. Насильственное соединение разных стран в единую, названную уже не империей, а союзом, насильственное монопольное хозяйство, насильственно-ритуальное исповедание идеологии, спущенной из центра, — вот основные черты советского строя.

Предопределенная кризисом неспособность центра и дальше поддерживать единство насилем вместе с неспособностью к компромиссным методам сотрудничества сделали предмет открытой борьбы целый спектр отдельных и особенных интересов, национальных, хозяйственных, культурных и других. Проявилось, однако, лишь то, что так или иначе проступало уже под покровом номинального единства. Ведь реально участвовать в новой общественной жизни могли, по преимуществу, коммунисты и комсорги, пусть отрехшиеся от прошлого. Одни сохранили верность лицемерному знамени, другие открыто выступили как фашисты, следуя великодержавно-шовинистической традиции КПСС, третьи искренне или фальшиво потянулись к социал-демократическим концепциям, из которых КПСС некогда родилась, чтобы потом их вытравлять. Но демократические стремления так и не вылились в массовое движение, пробиваясь лишь в отдельных шагах отдельных фигур. Вот либеральных коммунистов и стали именовать демократами.

Другим парадоксом открывшегося противоборства оказалась центральная роль России и Ельцина в антицентралистских тенденциях. За ней ощущалось ущемленность, все более испытываемая массаи русского народа, поскольку, хоть господствующее его меньшинство, конечно, занимало привилегированные места, грабя и другие народы, однако, как это было и при крепостном праве, плачтить приходилось народному большинству. Ельцин рискнул поддержать стремление

других народов, в том числе входивших в Российскую Федерацию, к национальному равноправию и обратился к ним с немыслимым в империи призывом: "берите столько самостоятельности, сколько осилите!"

Но хоть Советский Союз и был заменен содружеством, в это содружество пришлось вступить всем союзным республикам, кроме прибалтийских. Внутри Российской Федерации вскоре тоже началась борьба против якобы чрезмерной самостоятельности автономий и, тем более, против их права на выход из России. Федерацию хотели видеть состоящей не из русской республики и двадцати других, дружественных ей, но из, наряду с этими республиками, мелко нарезанных областей, уравненных с республиками в правах. Дошло до открытых предложений упразднить национальные образования с их формальной государственностью и перейти к губернскому, территориально-хозяйственному членению федерации. Как обычно, начали с евреев. Юрий Власов объявил, что они вселились в чуждую им Россию, и она вправе от них избавиться. Словно, не Россия включила в себя земли, на которых они задолго до того поселились и проживали уже столетия. Между тем, власовская формула взята за образец обхождения и с другими народами, присоединенными к России вместе с землями, на которых они обитали. Уже выселяют из Москвы лиц, как говорят, "кавказской национальности", одновременно желая защищать права русских на Кавказе и считать Кавказ Россией. Прежние нравы не только возобновляются, но обретают невиданную откровенность. И не в последнюю очередь потому, что за национальными проблемами различимы проблемы нашего насильственного хозяйствования.

На словах Россия отвергла коммунистический миф, коммунистическая идеология впрямь перестала быть официальной, но хозяйство, практическое воплощение этой идеологии, не дождалось реальных реформ. Либерализация цен по Гайдару, вылившаяся в очередное, хотя и гигантское, повышение цен, была лишь попыткой сбалансировать старое монопольное хозяйство с его неэффективным производством. Конечно, не Гайдар виноват, что цены были несообразны с реальной стоимостью, но ограничившись ценами, без одновременной и даже упреждающей реалистической

трансформации других элементов хозяйствования, без возрождения свободной экономики и конкуренции, вывести хозяйство из кризиса не удалось, да и было невозможно. А нараставший кризис углубил распри в правящем слое, дружно не желающем коренных перемен, но расколовшемся в поисках выхода из сложившейся ситуации. Коммунистические и фашистские группировки, влиявшие на руководство Верховного совета, составленного в большой степени из партийных функционеров, отстаивали всевластие советов, то есть прежнее "единство" и определяемый им порядок. Другие, окружавшие президента, под видом экономических реформ старались возбудить у командиров монополии личную заинтересованность в прибылях. С прицелом на это и проводилась приватизация, отнюдь не возвращавшая народу украденное государством. Возникла и третья тенденция, сочетавшая стремление сохранить прежний уклад со стремлением поделить циклопическую государственную собственность, которой управлял центр, между регионами, где управлять ею стало бы полностью местное начальство. К этой группировке в период схватки апеллировали и президент и Верховный совет, но из новой конституции упоминания о суверенитете республик, не то что областей, изъяты, и трудно предвидеть, в какой мере чаянья этой группы будут удовлетворены. Так или иначе, все это группировки правящего класса. Сил не только именуемых демократическими, но и являющихся таковыми на политической арене нет. А только они могли бы привести страну к продуктивному преобразованию и отделению хозяйства от государства. Ни Горбачёв, ни Ельцин не преодолели батыево наследство, не стали реформаторами даже в ограниченных масштабах Александра II, а ресурсов для развития с опорой на прежний механизм, как было при Петре, уже нет, Сталин и Брежнев их промотали.

Реальное положение плохо осознается уже потому, что демократический электорат не в силах добиться большего, чем содействие тому или иному представителю правящего класса. Маскарад партийных наименований и программ по-прежнему в ходу и, скажем, либерально-демократическая партия одинаково чужда и либерализму и демократизму, зато близка национал-социализму.

Прояснить все это помогла бы, конечно, свобода печати, но и с ней не благополучно, а судят о ней по меркам прежнего единогласного молчания. Считается, что ныне можно сказать вслух и напечатать что угодно. Однако, не говоря об административных и прочих прихотях сильных мира, печать стала делом коммерции, что ограничило ее у нас куда ощутимей, чем на Западе, с которого якобы берется пример. У нас ведь налогом облагается не прибыль, не превышение доходов над расходами, а сам по себе любой расход, любой платеж, и стоимость печатного дела многократно удорожается. Оно уже невозможно без субсидий, а их способны в основном дать либо государство, либо уцелевшие фонды КПСС. Соответственно, и процветает либо проправительственная печать, либо атакующая правительство с реакционных, коммунистических, фашистских или клонящихся к ним более умеренных позиций. Для демократической печати по сравнению с горбачевскими временами возможности упали.

Государство субсидирует печать отнюдь не пропорционально читательскому спросу, а ведь оно могло бы, скажем, хотя бы оплачивать возросшие расходы министерства связи по доставке именно того, что читатель хочет читать. Но нет, уже при подписке оплата разделена на оплату издания и оплату доставки, а дальше одним субсидируется и то и другое, а другим предоставляют справляться самим. Уже это сужает возможности печатного слова в прояснении общественного сознания.

К тому же уцелевшая печать почти избегает прямых дискуссий и полемики с другими изданиями, защиты своих суждений от критики, которой, впрочем, тоже не много. Как проправительственная, так и прокоммунистическая, профашистская печать строятся по советским образцом: свой голос — голос единственной правды, другой и знать не хотят. Все это служит внедрению в массовое сознание множества сомнительных аксиом.

К примеру, почву легитимности власти видят в ее преемственности. А ведь уже воцарение Михаила Романова опиралось не на то, что он был внучатым племянником первой жены Ивана Грозного Анастасии и, при отсутствии других наследников, мог стать таковым, а на решение собора, избравшего нового царя. Тем более ныне власть делает легитимной народное

волеизъявление. Особенно важно это для нас, привыкших к власти по праву захвата, оформлявшейся выборами из одного, как прежде, или двухступенчатыми, как выборы последнего Верховного совета. Каждому ясно, что требовать преемственности при переходе от коммунистического режима к свободной экономике означает остановить этот переход. А на преемственности настаивают многие, обнажая тем, сознательно или бессознательно, приверженность прежним порядкам.

Глеб Павловский после октябрьских событий писал: "Странно вспомнить — меньше месяца назад в Москве существовала законная власть и, казалось, государственная. Плохая, неэффективная, дурного стиля, но Законная, Государственная Власть". (Прописные буквы Г.Павловского.) Владимир Максимов и Андрей Синявский, еще недавно винившие один другого в сотрудничестве с ГБ, нынче объединились, чтобы бросить президенту: "Это парламент вашего народа!" и даже объявить: "Это был пока что первый, понимаете — первый парламент России", словно первого парламента России, Учредительного собрания, разогнанного в 1918 году, и не было вовсе, а Советы, избравшиеся после его разгона по созданной узурпаторами системе и под их бдительным оком, не были незаконными.

Конечно, президент не оправдал надежд, которые на него возлагало большинство российских избирателей, и я, по примеру суждения Глеба Павловского о Верховном совете, могу сказать, что его власть «плохая, неэффективная, дурного стиля». Но ничего не попишешь, она все же самая законная из наших властей, поскольку президент был избран на прямых альтернативных выборах подавляющим большинством голосов, — такого Россия никогда не знала, и уж Верховный совет близко к такой законности не стоял. Глеб Павловский сетует, что не нашлось решения без пролития крови, и я тоже горько сожалею об этом. Но ведь референдум и был самым надежным путем к бескровному разрешению противоборства, а именно Верховный совет отказался принять народное решение. Если даже ограничиться последними событиями, то разве атака на мэрию и Останкино, с которой побоище началось, была бескровной? Стало быть, осуждая Ельцина, стоило найти хоть какие-то слова осуждения и для Руцкого, отдавшего

приказ атаковать до того, как аналогичный приказ отдал Ельцин. Ан нет, о приказах Руцкого, о вооружении, накопленном в Белом доме, о бандах туда собранных, у Павловского и речи нет.

Я опять же не более Людмилы Сараскиной доверяю официальным сообщениям. Но их ненадежность еще не доказательство верности любого слуха. Ну, можно ли себе представить, что покамест Людмила Сараскина рыдает в редакции "Московских новостей" о тысячах якобы тайно умерщвленных в Белом доме и тайно погребенных, их отцы, матери, жены, мужья, дети и ухом не ведут, не кричат на всех углах, что вот был такой человек и бесследно пропал в ту ночь? Да и разве оттого, что погибших не тысячи, а "всего" около трехсот, их гибель менее ужасна? В августе 1991 Москва хоронила трех человек, а была в трауре, ведь и три жизни это слишком много за выяснение отношения между ветвями власти, и все эти ветви, хоть и по-разному, виноваты. Надо бы не ужасы нагнетать, а разобраться, отчего у нас без крови не обходится.

У Павловского, у Максимова с Синявским все просто: зло в Ельцине, пусть идет в монастырь, — в Соловецкий что ли? — и все образуется. Ну, что ж, почтенные авторы вправе предпочитать Руцкого с Баркашовым и Хасбулатова с Макашовым. Но как быть с большинством российских граждан, а вовсе не кучкой, как уверяет Павловский, голосовавших за Ельцина и на президентских выборах и на референдуме? Я не к тому, что большинство непременно право, и даже думаю, что лучше бы выдвинули и выбрали человека, который выступал за демократию до того как это стало дозволено, вроде, скажем, Гавела или Мазовецкого. Но народ думает не так, как я, и не то что за Ельцина проголосовал, но даже за его экономическую политику, которую я, к примеру, и не я один, но целый ряд людей бесспорно демократических убеждений, призвал не поддерживать. Но можно ли даровать народу хороший общественный строй, игнорируя симпатии и надежды самого этого народа?

Не пора ли отказаться от претензии решать за народ? Не пора ли прислушиваться к его внятому мнению, выраженному законным образом? Не пора ли признать, что политики, которых он отвергает, должны уходить, как это сделал в свое время генерал де Голль, если уж

ссылаться на его пример, которым в Верховном совете пренебрегли. Для господина Павловского и подобных ему народного мнения как бы и нет. Они знают, как лучше, и с них довольно. А тем временем российская общественность продолжает рассуждать о национальной самобытности, о том, насколько хан Батый сделал для этой самобытности больше, чем Петр Великий, напрочь уходя от актуальных и ныне различий между Петром и Александром II. А ведь третьей попытке вернуть страну в лоно европейского развития удачу сулит скорее пример царя Александра, понятно, при большей решимости и последовательности, а не исчерпавшийся пример Петра, в его время и плодотворный, и пагубный.

Конечно, незавершенность великих реформ (а потом столыпинской) во многом обусловлена неразвитостью у нас демократических институтов и норм (а в случае Столыпина — противостоянием им), тем более, что ситуация не только повторяется, но хуже тогдашней. Серьезный демократ и даже либерал не отождествит себя и с самым добрым царем, пусть и даже защищая его от оголтелой реакционной оппозиции. Демократ и тут будет не только обличать реакцию, но и указывать власти на чрезмерные уступки реакции. Не столь важно, вынудит ли критика царя или президента провести реформы или их проведут оппозиционеры, придя к власти. Важно, чтобы реформы совершились. А у нас они не совершаются.

Достаточно ли внятно говорила демократическая оппозиция о бездействии Ельцина, о его постоянных уступках хасбулатовщине, о его ответственности за появление до принятия новой конституции конституционного суда, защищавшего прежнее беззаконие, о терпимости Ельцина к фашистской пропаганде и к созданию вооруженных банд, которые ведь не вдруг объявились в Белом доме? С президента было за что спросить, не дожидаясь его неготовности к преступным, но предсказуемым вооруженным действиям самодержавного Совета или неспособности власти защитить мирных граждан. В России места для демократической критики, конечно, было немного, и пробивались лишь отдельные голоса. Но и после кровавых октябрьских событий, когда одни, в страхе перед вполне реальным торжеством советского фашизма, безоговорочно доверились президенту, другие, и прежде

не смущавшиеся претензиями Верховного совета на единовластие, в ответ на установление единовластия президента, стали изображать самодержавный Совет с ничем не ограниченным спикером, первенцем русской демократии. А реальная демократическая оппозиция одновременно противостала бы и президенту, и, куда резче, чем он сам, Хасбулатову, Руцкому, Зюганову, Константинову, Стерлигову и прочим. А все свелось к их противостоянию.

Андрей Синявский, еще в отдельной от Максимова статье писал: "мои старые враги начинают иногда говорить правду, а родное мне племя русских интеллигентов вместо того, чтобы составить хоть какую-то оппозицию Ельцину и этим хоть как-то корректировать некорректность его и его команды правления, опять приветствует все начинания вождя и опять призывает к жестоким мерам". По Синявскому интеллигенция и прежде оправдывала сталинские деяния, словно на расстрелах и на лагерных нарах она, в процентном отношении к интеллигентам, оставшимся живыми и свободными, не преобладала больше, чем другие социальные слои. По Синявскому это русская интеллигенция устроила охоту на Александра II, хотя ни Тургенев, ни Менделеев, ни тысячи подобных им и ориентировавшихся на них, такой охоты не устраивали. По старому советскому обычаю на целый общественный слой переносятся заблуждения и преступления какой-то его части или даже отдельных лиц.

Если судить объективно, определенная часть интеллигенции, а не только так называемых "простых людей", привержена Ельцину и его политике слепо. Он имел приверженцев не только в октябре 93-го, а и в августе 91-го, когда выступал как демократ. Теперь я тоже потерял некоторых друзей, не желающих и слышать о пагубной недостаточности реформ Гайдара. В иных местах, где прежде тебя охотно и часто печатали, после августа не находят места. Но я не могу счесть себя единственным демократическим оппозиционером Ельцину и Гайдару, образовавшим центр политического спектра и позволяющих себя публично критиковать лишь открытой реакцией. А и кроме меня есть множество людей вполне сознающих, что их демократические взгляды не угодны Ельцину с Гайдаром так же, как Хасбулатову с

Зюгановым, и именно поэтому в нашей печати критиковать Ельцина и Гайдара дозволено лишь с позиций Хасбулатова и Зюганова. Похоже, что скоро оппозиции к действующей власти и вовсе придется довольствоваться самиздатом..

Беда не просто в неразвитости российской демократии. Наша вековая особенность, привычный культ насилия, позволяет четко отличать реальную демократию от того, что рядится в ее цвета. Свободу печати и свободу слова одни используют для призывов к насилию, а другие, чтобы люди в спорах сообща разбирались в реальном состоянии страны и умов. Можно ведь что-то объяснить, кого-то убедить, но при всей убежденности в своей правоте не навязывать ее насильно. А если одни выдают за свободу слова свободу призыва убивать, не стоит удивляться, что кто-то с равным пылом хочет всякую свободу слова запретить. Спорить приходится и с теми и с этими, попадая под двойной огонь. Когда же вы обличаете преступления и заблуждения одних, умалчивая о преступлениях и заблуждениях других, вы уже не аналитик, а политик. Политиков все больше, аналитиков все меньше. Но если опять прольется кровь, а к тому идет, политикам, и прежним и новоиспеченным, надлежит взять на себя вину за то, что возбуждали чувства, а не зывали к разуму.

ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ

Избрание эстонского парламента лишь теми и потомками тех, кто были гражданами Эстонии до оккупации, то есть примерно 60% нынешнего населения, изображается в российской печати проявлением крайнего национализма. Между тем искусственное большинство, созданное в парламенте Абхазии для депутатов, представляющих лишь абхазов, то есть 18% населения, изображается как должное, чуть ли не как единственный способ спасти малочисленный народ от растворения, в чем возможно и впрямь есть нужда.

Следует сразу подчеркнуть, что право абхазского, как и любого другого, народа на самоопределение неоспоримо, и сомнительно лишь отождествление абхазского народа с территорией, поименованной в сталинской конституции Абхазией. Выяснение отношений народа и территории, на которой он вправе самоопределиться, — это тоже относится не к одной Абхазии, — требует всестороннего учета разных обстоятельств. Ни состав нынешнего (может быть, поселившегося накануне) населения, ни историческая память, сами по себе не могут быть тут решающими, но уже их сочетание обретает убедительность. Русский поэт обозначил устье Невы как "приют убогого чухонца", но мы, вполне признавая право финского народа на самоопределение, вынуждены сегодня все же отметить, что уже почти триста лет в устье Невы стоит великий город, который от России не оторвать. Понятно, это исключение, но демонстрирующее сложность территориального самоопределения. А ведь оно у нас усложнено еще произвольностью границ сталинских республик, устанавливавшихся с пренебрежением к реальному расселению народов. Существенен в этой связи и самый характер второго заселения заселенных земель, — свершилось ли оно мирно, в силу долгих экономических отношений, или после захвата, и был ли самый захват давним, или произошел на глазах поныне здравствующих сограждан. Стремление абхазского народа к уточнению территории для самоопределения ради федеративных отношений с Грузией или даже отделения от нее, как и самоопределение любых иных народов в любых иных краях, не должно бы вызывать у

грузин возражения. Однако трудно счесть самоопределением одностороннее провозглашение верховенства явного меньшинства без учета прав других народов, веками живущих на той же территории.

Жертвы в грузино-абхазском конфликте есть на обеих сторонах. На страдания абхазов наша печать живо откликается, и это естественно. Примечательно, однако, что она куда менее внимательна к судьбам эстонцев. Абхазам наша печать обвинения в этнократии не бросает, зато смело предъявляет его эстонцам. Опять же, не скрывая сочувствия "русскоязычным" в Эстонии, она отнюдь не сочувствует грузинам в Абхазии. Эти чудовищные различия объяснимы, видимо, тем, что гибель и разорение грузин воспринимаются в России не так живо, как тяготы, обрушившиеся ныне на поселившихся в Эстонии после оккупации русских, украинцев, белорусов, евреев. Сочувствие "нашим" владеет не только Невзоровым. Даже прогрессивный российский министр иностранных дел требует международного расследования нарушений прав человека в Эстонии, не заикаясь о таковых в Абхазии, где выходы из России воюют на стороне абхазов.

Попробуем, однако, видеть и правду и заблуждения и у "своих" и у "чужих". Еще до революции возникло замечательное понятие "интернационализм", предполагавшее равноправие всех народов и всех людей, независимо от их национальности, и цивилизованный человек сознает, что миф о правомерности интересов и традиций лишь своих единоплеменников, то есть национализм, пагубен не только для чужих, над которыми претендуют господствовать, но и для своих. Русский народ от подобных претензий особенно пострадал, ведь свое обращение в тюрьму народов, Российской империи пришлось оплачивать обращением русских людей в крепостное рабство, не менее тяжкое, чем национальное угнетение. Как же не быть нам приверженцами интернационализма и противниками национализма!

Но за семьдесят лет понятие об интернационализме, как и многие другие в нашем государстве, коренным образом изменило свой смысл. Теоретический пролетарский интернационализм стал маской практического великодержавного шовинизма, примата интересов и традиций одного большого народа перед

малочисленными. А национализмом, соответственно, стали называть само стремление малочисленных народов уцелеть. В Прибалтике не зря говорили, что интернационалистом называют того, кто знает только один язык, а националистом того, кто знает два и больше. Вот и нынче по старой советской привычке стремление народа, в частности эстонского, к независимости сводят к национализму. А все не так просто.

Нынче в мире одновременно протекают два на первый взгляд противоположных, а на деле взаимообусловленных процесса. Растут связи между государствами и народами, сокращаются преграды к экономическому и культурному общению, возникают немыслимые прежде демократические общности вроде Европейского содружества. А одновременно продолжается начатое когда-то Нидерландской революцией вычленение национальных государств, охраняющих людей и народы от возможного ущемления их интересов и пренебрежения их традициями. Активизируются валлийское и шотландское движение в Англии, активно выясняются отношения между валлонами и фламандцами в Бельгии, разделились Чехия и Словакия, с кровью расходятся республики бывшей Югославии. Видя все это, наивно уверять, что пример Нидерландов утратил привлекательность, что время национальных государств прошло.

К тому же право наций на самоопределение вовсе не выдумка большевиков, как уверяет наша печать. Они лишь повторяли это общедемократическое требование на тех же началах, на каких до разгона повторяли требование созвать Учредительное собрание, и были столь же верны этому лозунгу. На деле это требование стало популярно как один из важнейших среди 14 пунктов программы мира, выдвинутой после I мировой войны американским президентом Вудро Вильсоном. А у нас не только Жириновский грозитя учредить Прибалтийскую губернию, но и люди, слышущие демократами, уверяют, что Советский Союз или хотя бы Россию вместо национально-территориальных образований надлежит делить на губернии или штаты. Словно можно, не считаясь с наличием вековых национальных общностей заниматься административным членением, словно наша страна это единая страна, а не скопище разных, так или иначе

включенных в Российскую империю. Имперская структура и национальное неравенство, господствовавшее и до и после революции, а вовсе не мнимые недостатки или мнимая отсталость русского народа, мешали и мешают поныне сложиться российской демократии. Трагично, что Советский Союз не смог перерасти в содружество равноправных народов, подобное Европейскому сообществу, — ведь это могло бы ощутимо облегчить им всем преодоление тоталитарных порядков и переход к человеческой экономике. Но мало оплакивать несбывшуюся надежду, надо четко помнить, кто ее погубил, — а ее расстреляли в Тбилиси, в Вильнюсе, в Баку. Ее погубили те, для кого Союз был не сообществом равных, а строем покорных единому, возвышающемуся над всеми центру. Надо ли удивляться, что в ответ не то что недавно оккупированная Прибалтика, но и триста лет связанная с Россией Украина подняла голос в защиту независимости? Хотелось бы, чтобы хоть Российская Федерация сумеет стать содружеством равных и сохраниться в таком качестве. Но надо смотреть правде в глаза: избиение ингушей и другие, пусть не столь кровавые, великодержавные акции начали подрывать и эту надежду. Мы все не возьмем в толк, что переход от империи к содружеству возможен лишь через равноправие, через самоопределение желающих того народов, гарантирующее, что при объединении они не будут опять обречены на неравенство.

Игнорируется, однако, не только зловещая природа империи, но и природа современного национального государства, способного участвовать в межгосударственных культурно-экономических общностях. Твердо отстаивающая свои национальные интересы Англия давно уже населена не одними англичанами, и даже не одними валлийцами, шотландцами и ирландцами. Среди постоянных жителей Лондона в изобилии можно видеть индусов, пакистанцев, африканцев, пользующихся всеми правами британского гражданина. Нынешнее национальное государство, в отличие от родоплеменного, держится не единым происхождением граждан, но единством их интересов и признанием некоего минимума общих правовых и культурных ценностей. Мотивы расы, чистоты крови, происхождения важны ревнителям империй. Гитлер,

готовя войну против других народов, напирал на чистоту немецкой расы. Аденауэр и Эрхард, заботясь о немецком народе, приглашали соучаствовать в создании его благосостояния югославских и турецких рабочих, гарантируя им те же права, что и немецким.

Отношение к другим народам и служит отличием современного национального государства от государства националистического. Невозможно отрицать, что стремление сербов освободиться от турецкой власти было справедливым, невозможно отречься от былого сочувствия сербским восстаниям под руководством сперва Карагеоргия, а потом Милоша Обреновича, от помощи, которую Россия оказывала становлению независимой Сербии. Однако ступив в наши дни на путь этнических чисток, физически уничтожая уже не то что турок, а потомков славян, принявших при турках мусульманство, сербское национальное движение само уподобляется турецким завоевателям былых времен и, под руководством коммуниста Милошевича, действует националистически и агрессивно. Подобное происходит, если забывают, что современное национальное государство не вправе требовать от граждан большего, чем уважение своих интересов и традиций, хотя без этого минимума обойтись, конечно, не может. Ключ к решению национальных противоречий рушащейся империи — в четком обозначении этого минимума, позволяющего каждому сознательно и мирно определить свои отношения с возрождающимся национальным государством.

В сегодняшней Эстонии от этого отвлекаются на краях обоих флангов. Для крайних национал-радикалов Эстония — государство одних эстонцев, и все тут. Для "пролетарских интернационалистов" национальное государство небольшого народа, да еще предъявляющее желаемым быть его гражданами какие-то требования — дурной сон. В свете их противостояния кажется, что люди в Эстонии и впрямь разделились на эстонцев и неэстонцев, на покоренный народ и оккупантов. На деле, однако, за отношениями эстонцев и неэстонцев различимо государственное противостояние.

Россия, привыкшая к имперским манерам, не стыдится объявить, что ее войска остаются на территории Эстонии, чтобы защищать человеческие права неэстонского населения. А как могут они эти права

защищать, если не по испытанной в Абхазии и Приднестровье кровавой методе? И разве самая готовность прибегнуть к этому методу не свидетельство старых имперских претензий? Разве не разумнее, если уж дойдет, — покамест официальные комиссии ООН не видят в Эстонии нарушений прав человека, требующих даже и мирного вмешательства извне, — но если, не дай Бог, таковые обнаружатся, не лучше ли положиться на международные, ооновские силы? Не разумнее ли уберечь Россию от позора новой оккупации? И разве не эта угроза вызывает на другой стороне недоверие?

А оно, в свою очередь, мешает и эстонскому правительству трезво оценить соотношение народа и территории. По Тартускому договору район Печерского монастыря отошел к Эстонии, в составе которой и пребывал более двадцати лет. Для монастыря это было спасением, в России монастыри тогда громили, а он уцелел и сохранил естественность своего религиозного бытия. На него не легла печать показного благополучия, как на Киево-Печерский или Троице-Сергиевский, его не обратили в тюрьму, как Спасо-Ефимьевский. Пятьдесят лет назад, когда Эстонию сделали союзной республикой, этот район был включен в состав России, где монастыри уже не громили столь активно. И вот сегодня Эстония настаивает на возвращении ей Печер, поскольку и они были отторгнуты в 1940 голу. Юридически все верно. И конечно, не малость то, что русская православная церковь так никогда и не поблагодарила Эстонию за спасение православных святынь, хоть святейший патриарх сам происходит из Эстонии и судьба монастыря ему ведома. Но это ведь все-таки грехи государства и церкви, а не народа, который там живет. И хоть когда-то, конечно, там преобладали эстонцы, но сама постройка монастыря давно, еще до революции, изменила картину, и Печоры стали русскими почти как Петербург. Ну что бы Эстонии показать России пример неимперского мышления и выразить готовность при разрешении других проблем признать эти земли российскими? Думается, подчеркнутый контраст российским силовым решениям побудил бы и Россию полнее отдать себе отчет, что земли Эстонии следует считать принадлежащими эстонскому государству.

Современность уже дала пример преодоления имперского мышления. После второй мировой войны многие немцы задумались о том, кто виноват в преступлениях национал-социализма. В Восточной Германии все свалили на козла отпущения, — винили нацизм, нацистское государство, нацистских военных преступников. Поскольку все они и впрямь кругом виновны, дело казалось исчерпанным, и остальные были освобождены даже от вопросов о собственной ответственности за преступления нацизма. А в Западной Германии задумывались именно о личной ответственности каждого. Скажу сразу: на мой взгляд, неверно думать, что весь немецкий народ и каждый немец, живший тогда, и, тем более, родившийся после, виновен в бедствиях России и Польши, евреев и цыган и т.д. Но размышления об ответственности за прошлое были не напрасны, люди ощутили ответственность за то, чтобы прошлое не возвратилось, за то, чтобы немецкое государство никогда больше не угрожало независимости других народов и государств. По собственной конституции немецкая армия теперь не имеет права даже находиться на территории других стран и применять оружие, кроме как для самозащиты, своей и своих союзников. Невинные в преступлениях прошлого люди отвечают за свое отношение к этим преступлениям, то есть отвечают за будущее. Эта ответственность и собирает в городах Западной Германии многотысячные демонстрации протеста против поднимающего голову фашизма. А в бывшей ГДР, где фашизм прежде всего и подымает голову, подобных демонстраций нет.

Немецкий пример должен бы стать поучительным и для нас. Подчас всему советскому народу велят каяться, словно все мы поголовно виновны в преступлениях советского режима. Конечно, у нас за семьдесят пять лет было, наверное, еще больше конкретных виновников, чем у немцев за двенадцать, но неверно, что виновен каждый. Однако, может быть, потому, что мы изначально и не считали себя виновными и не думали об этом, мы так и не обрели чувства ответственности за то, чтобы подобного никогда больше не было, которое обрели многие немцы, ответственности за то, чтобы Россия не была больше ни в чем подобном виновата. Вот и не было у нас массовых демонстраций протеста ни после Тбилиси, ни после

Вильнюса, да и протесты против поднимающего голову отечественного фашизма у нас, в отличие от Германии, тоже не бывают массовыми. Словно не мы воевали против фашизма, не мы его разгромили!

Мы со всей определенностью отвергаем стремления перенести на всех переселившихся за 50 лет в Эстонию ответственность за сговор Сталина и Гитлера и преступления нашего государства на эстонской земле. Не может быть и речи о признании тех, кто сотрудничал с гитлеровцами, борцами за независимую Эстонию. Фашисты — они фашисты и есть, независимо от национальности. Но противостоять их влиянию можно только на почве недостающего нам чувства ответственности за будущее Эстонии, ответственности русскоязычной общины за то, чтобы уцелело эстонское национальное государство. Мы, конечно, будем требовать, чтобы это государство не ущемляло человеческие права национальных меньшинств, и, конечно, хотели бы, чтобы, признав статус независимой Эстонии, они обрели в ней гражданские права. Но наши требования и пожелания не покажутся Эстонии убедительными без открытого признания каждым новым гражданином вины нашего государства в уничтожении государства эстонского.

Между тем, в обращении к эстонскому народу Учредительное собрание представителей различных организаций русскоязычной общины Эстонии выражается весьма отвлеченно: "Волей исторической судьбы сегодня в Эстонии более трети населения — неэстонцы". А как бы мы реагировали, если бы нам объявили, что тысячи ленинградцев погибли в блокаду "волей исторической судьбы"? Нет, простите, мы знаем, что их погубила воля Гитлера и безответственность Сталина! Совершенно так же мы знаем, чьей волей было погублено эстонское государство. И подлинная защита человеческих прав русскоязычного населения возможна лишь на почве признания этого факта и своей ответственности, — не за то, что было пятьдесят лет назад, а за то, чтобы эстонское государство возродилось сегодня. Защитить Эстонию от эстонских фашистов можно только защищая ее одновременно от наших собственных фашистов. Сознание этого в русскоязычной общине еще не

возобладало, не стало всеобщим, что и понятно, поскольку сама эта община отнюдь не однородна.

Уже в предвоенные и, тем более, в послевоенные годы в Эстонию влилось немало людей, если не прямо участвовавших в геноциде, от которого пятая часть эстонцев либо погибла, либо вынуждена была бежать, то этому геноциду сочувствовавших, презиравших эстонскую культуру и язык, а землю Эстонии рассматривавших как пространство, подлежащее освоению. Замалчивать это — означает оправдывать это и лишь усугублять антирусские настроения.

Были и другие, приезжавшие в Таллинн, как в Пензу, по распределению или иным служебным обстоятельствам, к Эстонии и ее судьбе равнодушные, но не враждебные. Они, конечно, были пассивным резервом первых, но часто не сознавая того, и при этом часто работая на благо Эстонии и эстонцев.

А были и люди, сочувствовавшие Эстонии, предпочитавшие жить в ней не потому, что это легче, а потому, что общественные нравы там были все же не столь дикими, как дома. Солженицын не случайно написал: "А эстонцев сколь Шухов не видал — плохих людей ему не попадалось". Вспоминая, что Советский Союз был закрыт для выезда за рубеж, можно сказать, что переезд в Эстонию, равно как в Латвию или в Литву, был для многих формой эмиграции. При этом в Эстонию, как и в Латвию, вселялось больше людей, чем в Литву, и они составляют там сегодня немногим менее половины населения, тогда как в Литве лишь одну пятую, и можно согласиться, что предоставление им всем разом прав гражданства означало бы фактический отказ от создания национального государства и признание результатов оккупации необратимыми. Но нельзя признать, что справедливо отказать им всем разом в предоставлении гражданства.

Сложилась принципиально новая ситуация, которую надлежит до конца осознать всем ее участникам. Она, прежде всего, не должна рассматриваться, хоть крайние силы с обеих сторон толкают именно к этому, как противостояние эстонцев и неэстонцев. И эстонцы разные и неэстонцы, как видим, разные. И если эстонцев различия ведут к ориентации на разные политические партии, то неэстонцам надлежит задуматься, прежде всего, о своих

индивидуальных отношениях с возрождающимся эстонским государством, взвесить, готовы ли они, даже пользуясь всеми человеческими правами, жить вне отечества, принадлежать к меньшинству, пусть абсолютно полноправному. Это ведь не так просто: оказаться в другой стране. Осознать это особенно трудно людям, воспитанным в духе "пролетарского интернационализма", то есть в отрицании прав малочисленного народа на самостоятельность, мешающую якобы решению глобальных классовых задач. Коган и Яровой выразительно продемонстрировали эту позицию, и у них осталось немало последователей. Но ничего не поделаешь: независимая Эстония будет Эстонией, а не Россией, где эстонцам либерально разрешат говорить по-эстонски. Не только крайние национал-радикалы, но и такой весьма умеренный и известный своими симпатиями к России эстонский деятель как Э.Сависар считает: "Одни неэстонцы интегрируются в эстонское общество, другие останутся тут в качестве представителей своей национальности, но будут лояльными по отношению к Эстонской республике; третьи, которые так и не смогут примириться с концом советской империи, уедут". То есть одни станут русскими гражданами Эстонии, другие — быть может, гражданами России, живущими в Эстонии, а третьи вернутся в Россию. И совершится все это, понятно, не в один день, оттого и важны методы перехода к новому состоянию.

Мы привыкли связывать права человека с его гражданскими правами, и это, конечно, справедливо. Но при нынешних массовых людских перемещениях возникают переходные периоды, когда соблюдение прав человека временно предусматривает иной статус, в полной мере охраняющий эти права для всех жителей, все равно граждан или неграждан, откладывая, однако, на некоторый срок решение вопроса о гражданской принадлежности человека к тому или иному государству уже ради того, чтобы он имел возможность совершить свой выбор сознательно. Миллионы эмигрантов получают в Америке возможность проживания и огромную помощь, однако вопрос о предоставлении им гражданства США рассматривается лишь через пять лет после приезда. Разумеется, у нас в столь длительном выжидании нет нужды, но необходимо время, чтобы желающие стать

гражданами Эстонии могли делом проявить готовность с интеграции в эстонское общество, а другие определить свою судьбу иначе.

Думается, если бы одновременно с выдачей эстонских паспортов остальным постоянным жителям выдавали бы вид на жительство, позволяющий, к примеру, выезжая из Эстонии, беспрепятственно туда возвращаться и гарантирующий другие права человека, процессы самосознания протекали бы спокойнее и реалистичнее. Людям легче было бы понять, что принятие гражданства сопряжено с взятием на себя обязанностей, что нельзя претендовать на гражданство в государстве, основы и смысл которого не хочешь признавать, а требуя прав без обязанностей, ратуешь уже не столько за права, сколько за привилегии, созданные оккупацией. Совершенно так же людям на другой стороне, считающим приезжих пусть не оккупантами, но все же нежелательными эмигрантами, стоит помнить, что это нельзя поставить им в вину лично, поскольку никаких действовавших на момент своего вселения законов приезжие не нарушали.

Виновно в происшедшем советское государство, и вина эта остается на его правопреемниках. Отказываясь признать эту вину и вытекающую из нее обязанность делом помочь людям, по вине государства оказавшимся в Эстонии, — помочь и в возвращении, если они того хотят, и выплатой пенсии, если перебраться в Россию уже нет сил, и во многих других случаях, — наше государство, как всегда, хочет удержать выгоды от былого господства. А это как раз и портит отношения с обретающими свободу соседями.

Менее всего хотелось бы мне навязывать и даже предлагать универсальное решение обнажившихся национальных проблем. Я, напротив, убежден, что для сотен тысяч людей такого универсального решения и быть не может. Важно поэтому обеспечить свободу индивидуального выбора каждому и разъяснить обязанности, принимаемые на себя вступающими в эстонское гражданство. В России живет множество украинцев, белорусов, грузин, армян, евреев, латышей и эстонцев. Они владеют русским языком и добровольно приобщились к русской культуре, нередко это вообще единственная их культура. Им естественно считать себя,

независимо от происхождения, российскими гражданами. Разве подобное не должно быть столь же естественным для эстонских граждан, независимо от происхождения, которое, конечно, ни в коем случае не может быть критерием при установлении гражданства?

Для вселившихся в Эстонию и их потомков сознательные индивидуальные решения еще могут стать средством преодоления ложного положения, в которое их безвинно ставит пятидесятилетняя оккупация. У выселенных из Эстонии, убитых или вынужденных бежать, уже нет средства преодолеть ее последствия. Между тем боль Эстонии, уж никак не менее свежая и тяжкая, чем у Сербии или Абхазии, не побудила возрождающееся эстонское государство пользоваться методами той или другой. Эстония явно хочет мирного преодоления последствий незаконного попраения ее прав, и она вправе рассчитывать на то, что неизбежные при этом противоречия будут распутываться без ожесточения. Ведь если не случится ядерная катастрофа, военная или мирная, Эстония и Россия останутся там, где они есть, и равноправные связи между ними будут не просто полезны, но необходимы обеим сторонам. Вот никому и не стоит накалять страсти.

ПЕРВЫЙ УРОК

Кругом твердят о неожиданной победе Жириновского. А почему, собственно, неожиданной? Я и сам, уже после октябрьских событий, писал: «Противостояние консервативных сил реформам обостряется. И угроза фашизма не миновала». Но и после выборов нас уверяют, что такой угрозы нет. Аркадий Вольский, Алевтина Федулова, Александр Ципко и другие со страстью восклицают: «Не называйте этих людей фашистами!» Если последуем их призыву, избрание Жириновского президентом тоже объявят неожиданностью.

Нас уверяют, что фашизма в России не может быть, поскольку именно Россия разгромила фашизм. Это популярная, но неточная формула. На деле Россия разгромила не фашизм, а фашистскую Германию, точнее, нацистскую Германию. Тут подвиги ее солдат неоспоримы. Что же до фашистских, национал-социалистических идей и принципов, то они, напротив, все глубже проникали в жизнь советского государства, деформируя его утопический марксизм. Общие свойства российского коммунизма и немецкого национал-социализма проступали еще до войны и привели даже к временному союзу двух держав, не только военно-промышленному, но идейному. Кто забыл или не знал, пусть почитает газету «Правда» и журнал «Большевик» за 1939–1940 годы. А что до победы, то еще в Древнем Риме сознавали, что порой побежденные диктуют победителям свои законы.

Вот и ныне демократии грозят не сами по себе 24%, проголосовавшие за Жириновского, но совпадение с ними успеха коммунистической партии Зюганова, отторгнувшей от себя все сколько-нибудь умеренное из имевшегося в КПСС. Партии Жириновского и Зюганова вместе с близкими им партиями аграриев и женщин России, даже не считая партии Травкина и гражданского союза (партии Руцкого), собрали более половины голосов. Закрывать на это глаза по меньшей мере неразумно.

Но «Кириллин день не кончен». И вовсе не потому, что новая конституция позволяет президенту пренебречь парламентом. Советник, президента Андраник Мигранян по образу и подобию большевиков давно призывал к диктатуре, которая якобы творит добро. Уверенности в этом, однако, и на сей раз быть не может — президент,

имея чрезвычайные полномочия, с подлинными реформами не торопился и даже в нынешней избирательной кампании ратовавших за реформы не поддержал. Куда важней, что сеющий панику расклад голосов касается только половины избирателей. Другая их половина на выборы не явилась или вычеркнула всех, сознательно сделав бюллетени недействительными.

Чтобы верно оценить итоги выборов, нужно, прежде всего, понять, что оттолкнуло этих людей от участия в решении своей судьбы. На Западе многие игнорируют выборы, веря, что от смены правящей партии их жизнь не станет хуже. Таких у нас, пожалуй, нет. Но и на Западе, и у нас есть люди, не верящие, что от исхода выборов их жизнь может стать лучше. У одних вообще подорвано доверие к представительным институтам — по слову Ленина, «говорильне». Но другие не идут голосовать потому, что в избирательном бюллетене не находят никого, кто отстаивал бы их интересы. Часть таких людей, видимо, поверила Жириновскому, и только благодаря их приходу на избирательные участки выборы можно было признать состоявшимися, а конституцию утвержденной.

Но гораздо большая часть избирателей отвергла такой путь. Сохраняя приверженность радикальным экономическим реформам и разочаровавшись в топчущемся на месте правительстве, эти люди не хотят ни прежнего, зюгановского, порядка, ни «нового порядка» Жириновского. Что же могли они сделать, если самой радикальной в избирательном бюллетене числилась партия Гайдара, если демократической критики политики Гайдара в ходе выборов не было? Только не явиться на выборы или, явившись, испортить бюллетень.

Стоит заметить, что высокий процент воздержавшихся не помешал утвердить конституцию. А на весеннем референдуме требование всего лишь переизбрать депутатов, собрав куда больше голосов, не было утверждено под тем предлогом, что для решения конституционного вопроса надобно большинство от списочного состава, а не просто от голосовавших. Словом, соблюдай закон те, кто призван его соблюдать и, более того, охранять, судьи Конституционного суда, нынешние выборы могли бы состояться без кровопролития, без обстрела московской мэрии, Останкина и Белого дома, тоже отбившего охоту голосовать.

Примечательно и то, что разными методами выбирая депутатов нижней палаты, одни и те же избиратели выказывают совсем разные предпочтения. Только у коммунистов в обоих случаях примерно одинаковое число депутатов, сторонники прежнего порядка голосуют за привычное и делают это вполне сознательно. Перевес числа депутатов, избранных персонально, над избранными по списку заметен у аграриев, имеющих свои рычаги воздействия на сельских избирателей, и особенно у «Выбора России». Зато у Травкина или у «Женщин России» число избранных по списку превосходит число избранных персонально в пять, а у Жириновского — даже в десять раз. Людей порой прельщают даже фашистские идеи, но любопытно, что, выбирая конкретных депутатов, которым, они готовы довериться, эти люди предпочитают отнюдь не носителей полюбившихся им идей. Думается, это свидетельствует против установленной системы голосования.

Конечно, депутаты не должны скрывать от избирателей партийную принадлежность. Странно видеть, что четверть кандидатов объявила себя независимыми, утаивая свои политические симпатии, но выборы все же должны быть персональными по мажоритарной системе, и не в один, а в два тура, чтобы решало не относительное, а абсолютное большинство избирателей округа. Даже сегодня распределение партий по одномандатным округам свидетельствует о куда большем реализме и равновесии избирательских симпатий, чем это выглядит при голосовании по партийным спискам.

Трудно судить, к чему стремились создатели избирательной системы, но единственный реальный итог выборов в том, что новый парламент, похожий по составу на прежний Верховный совет, уже не может, как прежде, запросто отстранить президента. Это хорошо, поскольку укрепляет разделение властей, но, совершая столь крутую реорганизацию, стоило обеспечить и большее соответствие этих властей реальной воле народа, который отнюдь еще не так решительно склонился к реальным фашистам, как могло казаться в первый момент.

К сожалению, «Выбор России» ищет причину происшедшего все же сдвига в том, что демократы не выступили единым фронтом, то есть не поддержали

«Выбор России». Вина за поражение взваливается на не желавших это делать «раскольников». Но раскол в демократическом лагере мог сказаться только на выборах по одномандатным округам, да и то лишь из-за установленной президентом системы выборов в один тур, о чем ни Гайдар, ни его приверженцы даже не упоминают. А при пропорциональных выборах по федеральному округу, где победа фашистов и коммунистов наиболее наглядна, раскол не только не сокращал числа демократических депутатов, но мог его увеличить, поскольку разочаровавшиеся в Гайдаре могли поддержать Явлинского, а иначе и эти голоса ушли бы к Жириновскому или пропали. Однако реформистские предложения других демократических партий были еще скромней, чем половинчатые предложения Гайдара, и не привлекли голоса оставшихся дома.

Словом, фашисты и коммунисты победили не из-за раскола демократов, как нас уверяют, а как раз наоборот, из-за того, что раскол был слишком робким, что в ходе избирательной кампании, начавшейся сразу после октябрьских событий, не успела сложиться социал-либеральная партия, оппонировавшая Гайдару с демократической стороны и открыто указывающая, что он не столько проводит реформы, сколько взвинчиванием цен укрепляет старое монопольное хозяйство, заведомо обреченное на кризис. Именно в появлении такой партии, ратующей за подлинную приватизацию и гарантии инвесторам, — надежда на повышение производства, необходимого рынку. Хотя фашистская и коммунистическая опасность велика, народ России, не явившись на выборы, показал, что в большинстве своем он не хочет ни фашистского, ни коммунистического, ни псевдодемократического правления. Он хочет подлинной демократии.

Но вместо того, чтобы это осознать, «Выбор России» настаивает на всеобщей поддержке его программы, которую уже именуют антифашистской. Андрей Козырев прямо призывает к созданию единого антифашистского фронта с коммунистами. Но единый фронт с коммунистами Зюганова, председателя фронта национального спасения, почти по всем программным пунктам идентичного партии Жириновского, не только не может всерьез противостоять фашизму, но

свидетельствует об отказе от реформ, под флагом которых Козырев и его единомышленники агитировали избирателей.

Для реального противостояния фашизму нужно не частичное принятие его программы, за что сегодня ратуют многие вчерашние демократы, а как раз наоборот, преодоление странной близости якобы демократических программ фашистским целям. Непомерность президентской власти, хоть от нее сегодня ждут защиты демократии, на деле с еще большим успехом послужит фашистской диктатуре. Жириновский не зря поддержал новую конституцию. Еще больше уступок фашизму в пренебрежении правом народов, некогда присоединенных к Российской империи, на самоопределение и в отождествлении их автономий с областями собственно России. Не случайно большинство крупных автономий проголосовало против новой конституции.

Нечего хитрить, Россия — не Соединенные Штаты, где коренное индейское население было физически истреблено и страну вперемешку заселили люди разных национальностей и рас. В России, хоть и у нас коренное население некоторых областей частично истреблено, а частично ассимилировано и фактически слилось с русским, во многом сохранились исторические инациональные образования, и спокойствие в России невозможно без справедливого отношения к другим народам.

Не буду лицемерить, я тоже — сторонник самого тесного сотрудничества не только с Татарстаном или Чувашией, но только с Украиной или Казахстаном, но и с Грузией и Литвой, и даже с Чехией и Венгрией. На базе такого сотрудничества в перспективе возможно и то единство, к которому движется Европейский Союз. Но пора осознать, что такое единство достигается не учреждением Голландской или Португальской губернии, а сугубой и повседневной добровольностью. А там, где единство устанавливают стрельбой, как в Тбилиси, Вильнюсе или Праге и Будапеште, эффект достигается прямо противоположный.

Не только Жириновский и Зюганов, но и авторы соответствующего раздела новой конституции не хотят этого признать, и тем готовят России войны и русофобию, не выдуманную Шафаревичем, а всамделишную

ненависть. Не так уж существенно, что одни зовут к восстановлению Российской империи, другие — Советское Союза, а третьи ограничиваются «наведением порядка» в Таджикистане и отказом народам России в их суверенных правах, а тем самым и в праве на добровольное сотрудничество с Россией. Между тем только на базе добровольности и взаимности могут быть гарантированы и права русских за пределами их исторического проживания.

На Западе Жириновского именуют крайним националистом, Зюганова — национал-коммунистом. Но эти определения неточны. На деле партии обоих не национальные, а великодержавные, приносящие в жертву интересам империи и правящего в ней слоя, пусть даже в основном русского, коренные национальные интересы русского народа. Ведь именно русскому солдату придется погибать за фантастические прожекты господина Жириновского по выходу к южным морям (это дело уже было начато вторжением в Афганистан) или присоединению Финляндии (его затевал еще Сталин). Как подобное сказывается на повседневной жизни в тылу, тоже известно по опыту.

Вот почему, отказывая в доверии Гайдару, у которого за многолетнюю преступную политику государства платит не государство, а ограбленный им народ, добрая половина россиян не прельстилась национальными по форме посулами Жириновского, готового свергнуть страну в новые войны, на которых опять погибать русским. Эти избиратели, повернувшиеся спиной и к Гайдару с Явлинским, и к Жириновскому с Зюгановым, и к президенту, и к федеральному собранию, составляют самую большую группу нашего электората. Поскольку ни одна из баллотировавшихся партий не пошла дальше так или иначе проявлявшегося в рамках КПСС, не предложила чего-то совсем иного, воистину диссидентского, половина избирателей не представлена в парламенте. Ее голос как бы не звучит. Но и президенту, и депутатам, не на словах, а на деле болеющим за страну, за ее национальную самобытность и за демократию как неперемное условие народного блага, надлежит этот голос слышать. Еще важней создать оппозиционную всем действующим преемникам советской власти социал-либеральную партию, в которой голос молчащего большинства сумел

бы зазвучать. Безголосое покамест большинство может спасти Россию от фашизма, коммунизма и нищеты.

Эти три злейших врага современной России всегда заодно, даже если порой один выступает против другого. Не говорите, что надо терпеть коммунизм, чтобы избежать фашизма. Не говорите, что надо принять фашизм, чтобы избежать коммунизма. Не говорите, что надо терпеть нищету, чтобы избежать фашизма и коммунизма. Нет, и фашизм, и коммунизм порождены нищетой. Российские реформаторы — и Горбачев с Рыжковым и Павловым, и Ельцин с Гайдаром и Черномырдиным — с этим не считались. Они аннулировали деньги, блокировали вклады, взвинчивали цены, отягощали налоги, движимые расчетом, который может казаться верным, если отвлечься от того, что хозяйство ведут люди и для людей. Их подвела привычка к тому, что человек кругом в долгу у государства, а государство не считает себя перед ним в долгу. Ведь и впрямь задолжали не нынешние правители, а еще Николай II, Ленин, Сталин, Брежнев. Неужто все это валить на Жириновского, развязного клоуна и демагога, понятно кем выпестованного?

Фашизм победит, если мы не продвинемся дальше необходимого, конечно, его разоблачения, коммунизм будет возвращаться, если мы не продвинемся дальше необходимых, конечно, напоминаний о его преступлениях. И фашизм, и коммунизм потеряют силу, если человек сможет, наконец, жить своим умом и своим трудом, если страна станет производить то, что нужно для жизни людей, а не для их уничтожения.

ЧТО ЖЕ ЭТО БЫЛО?

(О книге А.Ослунда «Шоковая терапия в Восточной Европе и России». — М, 1994),

Как известно, книги имеют свою судьбу. Книга Андерса Ослунда, советника российского правительства, поступила в пролажу, когда автор оставил этот пост. О советской системе он пишет с пониманием. Но утверждает: «Одни только фанатики и невежды могли защищать эту систему, которая одновременно ограничивала экономическое развитие и запрещала личную свободу». Словно достаточно разъяснить, что «со всех точек зрения коммунизм явился величайшим провалом», и все наладится.

Но вот недавно по пятому каналу телевидения выступал Борис Гидаспов, некогда первый секретарь ленинградского ОК КПСС, а до того и поныне руководитель концерна «Технохим». По его словам, формула «что хорошо для "Дженерал Моторс", хорошо для Америки», над которой мы смеялись, подходит и нам или, как переложил интервьюер, «что хорошо для "Технохима", хорошо для России». Гидаспов даже добавил: «Но не наоборот!». «Технохим», как известно, причастен к производству ядерного оружия, то есть, по Гидаспову, «что хорошо для военно-промышленного комплекса, хорошо для России».

А именно непомерное развитие ВПК привело Россию к той бездне, заглянув в которую, не то что Горбачев, но и куда более ортодоксальные его товарищи по политбюро признали, что назрели перемены. Углядеть смысл происходящего мешает, однако, пренебрежение к исторической трансформации понятий КПСС, а точнее, РСДРП, из которой КПСС произросла, возникла как партия наемного труда. Но, захватив власть, она стала партией, монопольно распоряжавшейся имуществом государства и стала единственным работодателем в стране. И Гидаспов твердит свое не потому, что он фанатик или невежда, и не потому только, что его личные интересы связаны с ВПК. Тысячи таких, как он, и миллионы, которым система давала преимущества перед другими, не видят ее пороков, даже когда они приводят к кризису. Многие искренне верят если не в коммунистическую утопию, то в то, что пушки народу нужнее хлеба, не говоря о масле,

верят, что силовой перевес вынудит зарубежье, дальнее и ближнее, отступить, отдавать свое добро нашему государству, с которым монополия отождествляет, конечно, не народ, а самое себя. Господин Ослунд противопоставляет им оптимальную систему хозяйства. Но смена строя — это не чисто экономическое решение, ее шансы определяются конкретным соотношением социальных интересов, и меняется лишь то, что властям не под силу удержать, оттого и уступки их часто временные.

Дорогостоящая силовая политика разоряет прежде всего собственный народ, а современная техника создает риск спалить родину в ядерном пожаре. Но Жириновский, зовущий русских солдат к южным морям, тоже не фанатик и не невежда, а тоже уверяет: «что хорошо для ВПК, хорошо для России». От такого порядка нищала страна, скудела культура, но он по сердцу уверенным, что величие страны состоит в ее военном потенциале, и надеющимся взять желаемое прежде, чем кризис подорвет и этот потенциал. Но господин Ослунд упускает из виду, что реформа — это не академическая проблема, и сторонники прежнего так просто не уходят.

Лучшие страницы книги о том, что шоковая терапия — кратчайший путь от внеэкономического порядка к экономическому. Доказательства и примеры, за вычетом разве утверждения, будто либерализация цен непременно должна предшествовать приватизации, вполне убедительны. Но ведь шоковой терапии, как ее понимает Ослунд, у нас не было, был только шок от непомерных, порой уже превосходящих мировые, цен. Смысл шоковой терапии в том, что отказ от субсидированных цен побуждает производство к рентабельности и стимулирует его на реальной, стоимостной основе. У нас же производство падает, и не от одного сокращения вооружений, а потому, что продолжается прежний, держащийся дотациями порядок. Дотации промышленности и прежде давались за счет непомерно низкого для развитой страны уровня жизни, а от кризиса этот уровень упал уже ниже минимума, но порядок не меняется.

Даже либерализация цен, которую Ослунд полагает свершившейся, не свершилась до сей поры. Цены на многие виды сырья, начиная с источников энергии,

остались заниженными, и эта мешало сбалансировать хозяйство, преобразовать его структуру, отличить дееспособные сферы от недееспособных. Егора Гайдара винят в монетаризме, в приверженности чикагской экономической школе. Но на деле он брал пример не с Милтона Фридмана, а с Николая Рыжкова, от действий которого проделанное Гайдаром отличается не столько качественно, сколько количественно.

Да и как им было действовать иначе, если в стране нет единой денежной системы, которая поддавалась бы осмысленному регулированию. Советское хозяйство держалось различием между деньгами наличными, своего рода квитанциями за труд, пусть и не вполне ему адекватными, но позволяющими приобретать товары потребительского ассортимента, и деньгами безналичными, условно-счетными, позволяющими как бы оплачивать товары производственного ассортимента, распределявшегося в основном директивно, как говорили, фондируемого. Наличный и безналичный рубль не совпадали в стоимости, по договоренности можно было дать один наличный рубль за два, а то и больше, безналичных. Так пытались сбалансировать экономику как бы рыночную, отвечающую платежеспособному спросу, и экономику внутрипроизводственную, командную, на которую дирекция, то бишь правительство, не щадила затрат. В узкие места внутрипроизводственной экономики допускалась третья, теневая экономика, также действовавшая по законам рынка, но еще ощутимее извращенным. Положительный эффект шоковой терапии возник бы при установлении единой экономики и единой денежной системы, посредством которой и вершились бы стоимостные отношения. Но ни Гайдар, ни Борис Федоров об этом не пеклись, да и Ослунд на этом не настаивает, и наша «рыночная» экономика живет как прежняя советская, только что правительство распределяет не фондируемые товары, а денежные ресурсы, к тому же часто мифические. Распределение так и не заменено эквивалентным обменом. В то время как инфляция съела, а власть ничем не компенсировала наличность, вложенную трудящимися в сберкассы, эта же власть регулярно компенсирует огромными кредитами дешевающую безналичность госпредприятий. И это экономическая реформа? Или все-таки попытка укрепить старый гайдасовский порядок?

Я не к тому, чтобы уравнивать Гайдара или Федорова и, тем более, господина Ослунда с Гидасповым или Заверюхой, норовящим обрубить зарубежные продовольственные поставки, хотя отечественные колхозы и совхозы еще при Сталине проявили неспособность прокормить страну, что и побуждало Хрущева, а затем и Брежнева покупать продукты за рубежом. Разумеется, они делали это, чтобы уклониться от аграрной реформы, но все же, в отличие от Сталина или Заверюхи, не решались укрощать страну костлявой рукой голода. Конечно, не Гайдар или Федоров, вопреки бросаемым обвинениям, виновны в нынешнем кризисе. Мало того, без их мероприятий магазины, полупустые в 1985-м и почти пустые с длинными очередями за хлебом в конце 1991 года, едва ли бы нынче еще торговали, разве что завозили на «Технохим» и подобные предприятия «заказы», для рядовых сотрудников обычно скудные. Глядя на Украину, понимаешь, что, хоть мы и затянули пояса, Россия не в самом худшем положении среди республик Союза. В Ленинграде, знавшем блокадный голод, не ждут добра от Заверюхи и сознают, что Гайдар или Федоров принадлежат к лучшим из коммунистических правителей. Но нелепо принимать их за преобразователей строя. А господин Ослунд как раз это и делает.

Его ошибка проистекает из пренебрежения социальным смыслом государственного хозяйствования, забвением того, что государство, призванное быть средством социального компромисса, гарантией честного соревнования разных начал, давно стало у нас орудием власти одного сословия, стороной в общественных отношениях, выталкивая остальных на заведомо антигосударственную позицию, — а отсюда и коррупция и прочая преступность.

Приватизация необходима при переходе к иным отношениям не только по собственно экономическим причинам, хотя и тут ее роль больше, чем кажется Ослунду, но и потому, что в свободном мире общественные отношения держатся на частных действиях, начиная с того, что наемный рабочий не только покупатель потребительских товаров, но прежде всего продавец своей рабочей силы, заботящийся о качестве своего товара и учитывающий конкуренцию, подобно всем

другим продавцам. Этим свободный рабочий отличается от раба.

Шоковая терапия не зря приводит к успеху там, где сознаются частные интересы. Чехия тут лучшее доказательство. Но и в Польше, которую Ослунд ставит нам в пример, хотя до реальной приватизации госсектора она не дошла, в отличие от нас три четверти сельскохозяйственного производства были в руках единоличников, да и в городе был частный сектор. Потому польские крестьяне и прокормили свою страну в переходный период, дали ей дешевые, быть может, и чересчур дешевые в сопоставлении с промышленными продовольственные товары. А наша приватизация, с которой не спешили, вышла насмешкой, а то и обманом.

Стоимость ваучера изначально была ниже десяти долларов, а ныне доросла до двадцати. Если поверить Анатолию Чубайсу, что приватизирована чуть не половина госсобственности, то, считая ваучер даже за двадцать долларов, стоимость этой половины, якобы переданной 150 000 000 российских граждан, составит три миллиарда долларов, то есть окажется равна подачке, которую МВФ дает нам на год. А стоимость всего имущества России равна, стало быть, всего-навсего шести миллиардам! Ну кто же в здравом уме и твердой памяти в такое поверит? Не будем даже выяснять, как шло распределение, кому какая часть досталась, что получили обыкновенные люди, а что командиры производства. И так ясно, что монопольное государственное хозяйство, стоящее куда дороже, большого ущерба от такой приватизации не потерпело, а потому и управляют им по-прежнему директивно, прямыми распоряжениями правительства. Владелец шахт, по три месяца не платящий шахтерам, должен бы объявить себя банкротом, но наше государство не признается в своей несостоятельности, не отдает и не продает имущество, которым не способно рационально распоряжаться. Это значит, что властная элита политически не изменилась, хоть выступает в новом платье короля.

Известный обозреватель Дмитрий Фурман припомнил недавно, как чиновнику, пожаловавшему Сталину, что с писателями трудно работать, вождь ответил: «Других писателей у меня нет, хотите работать — работайте с этими!» Это, понятно, шутка, поскольку треть имевшихся у

него писателей товарищ Сталин уничтожил физически, а немалое число остальных обрел написание в стол. Но обозреватель счел возможным сказать, что и другой политической элиты у нас нет и вроде быть не может.

Но если нынешняя политическая элита состоит из одних бывших коммунистов да комсогов, то, даже не ставя под сомнение их жажду преодолеть вчерашние заблуждения, легко сообразить, что люди, и вчера, и позавчера тех заблуждений не разделявшие, в элиту по-прежнему не допускаются, разве что как редчайшее и показное исключение. Для давних приверженцев либеральной демократии в нашей политической жизни места все еще нет. Не случайно само понятие «либеральная демократия» отдано Жириновскому, который обещает опять установить однопартийную систему. А если интеллектуальная собственность охраняется законом, прокуратура и суд должны бы запретить этому господину именовать себя либеральным демократом. Это столь же противоправно, как если бы он именовал себя Александром Пушкиным или Николаем Лобачевским.

Несоответствие обозначающего обозначаемому мешает людям разбираться в происходящем и даже властям, тому способствующим, оно выходит боком. В Петербурге на выборы в городское собрание пришла четверть избирателей, в половине округов выборы не состоялись, и собрания, как органа власти, не существует. Говорят, люди устали. Но на Украине, где устали еще больше, люди на выборы шли, потому что у них был реальный выбор. А у нас, словно нарочно издеваясь над законом и избирателями, представители окружных комиссий зачитывали по телевидению биографии, а самих кандидатов никто не видал. Да и программы их были полны одинаково красивых обещаний, вот только ни слова о том, какими средствами и на какие средства обещания будут выполняться. И хотя цензуры нет, типографская монополия, непомерные налоги на печать и фантастическая плата за доставку, многократно превосходящая стоимость любого издания, сводят свободу слова на нет, и кандидаты не могут себя показать, а мы их разглядеть. Вот мы и возвращаемся к выборам без выбора, хоть в бюллетене 19 фамилий. Но люди уже не хотят совершать обряд голосования, они хотят выбирать.

А подлинных демократов, способных осуществить реальные перемены, в нынешних обстоятельствах и не заметишь.

Тут мы с другого конца возвращаемся к бессилию нашего зарубежного доброжелательного советчика, да и самой надежды заменить реалистическую политику социальной инженерией. Господин Ослунд верно пишет о том, какие экономические отношения нужны стране, не желающей отставать от других ни в науке и производстве, ни в социальной защите и благосостоянии граждан. Но его добрые советы пошли бы на пользу только если бы одновременно миллионы требовали от Ельцина и Гайдара реформ с той же твердостью, с какой непримиримая оппозиция требует отказа от них. Господин Ослунд не исследует политическую борьбу, в ходе которой центристы Ельцин и Гайдар отступали под натиском реакции уже потому, что не ощущали натиска с другой, демократической стороны и могли представлять самих себя чуть ли не радикальными демократами. Сегодня торжество реакции легко оформить как обещание больше не ссориться и соблюдать соборное единство. Но причины экономического кризиса от этого не перестанут действовать. Чтобы с ними совладать, нужно учесть стремление не только коммунистов, нынешних или бывших, но и семидесяти пяти процентов избирателей, никого из нынешних деятелей не признающих за своего, и потому не явившихся на выборы.

Но даже и доподлинно либеральное движение едва ли сможет воспользоваться советами господина Ослунда. Совершенная под флагом шоковой терапии попытка сбалансировать государственное хозяйство за счет рядовых людей, а не государства, повинного в кризисе, надолго скомпрометировала шоковую терапию. И книжка останется памятником еще одной упущенной возможности захитить по-человечески.

СТОИТ ЛИ ГОВОРИТЬ ПРАВДУ?

О чем говорит происхождение Жириновского? Спор начался в № 15.

Михаил Горелик обличает американцев, раскопавших, что Владимир Вольфович вовсе и не Жириновский, а Эйдельштейн. Раскопавших, по мнению Горелика, в надежде таким нехитрым ходом отвратить избирателей от популярного антисемита.

Марина Шакина на соседней странице справедливо заметила, что надежда эта пустая, поскольку «еврей, разделяющий их (черносотенцев. — П.К.) оголтелые идеи, — как бы уже и не еврей». Но и она, к сожалению, не углядела, что и американское агентство, и наши газеты ставят в вину Владимиру Вольфовичу отнюдь не его еврейство, чем и отличаются от помянутого Гореликом министра, успевшего объяснить, что нерусскому нечего радеть о России.

Впрочем, уверяя, что взгляды министра, поскользнувшегося уже не только на еврейском, но и на мусульманском вопросе, свойственны всем, считающим себя демократами, Горелик явно хватил через край. Опроса он не провел, и уж тем паче нет причин клеймить сообщения Ассошиэйтед Пресс, разве что признав антисемитизмом самое упоминание о существовании евреев.

Попробуем разобраться. Допустим, Жириновский, не скрывая своей еврейской фамилии, говорил бы о евреях все, что говорит. Его суждения не стали бы верней, но можно бы предположить, что они искренни. Мало ли американцев, на все корки бранящих американский народ, немцев, бранящих немецкий, русских — русский.

Нет числа тем, кто «проповедует любовь враждебным словом отрицанья». Понятно, всему свое место и время. Русский, бранящий русских как таковых, когда фашистская армия выходит к Волге, чтобы дальше ринуться к южным морям, уважения не вызывает. Соответственно и еврей, бранящий в аналогичных обстоятельствах евреев как таковых, уважения не вызывает.

Допустим, с другой стороны, что Жириновский скрыл еврейскую фамилию, но наперед очистил свои речи от нападок на евреев. Опять же его речи не стали бы лучше, но происхождение не имело бы к ним отношения и можно

бы лишь согласиться с Мариной Шакиной, справедливо говорящей о недопустимости применения в споре ЛЮБЫХ аргументов.

Но перед нами третий случай. Господин Жириновский скрывает свое происхождение, но мечет громы и молнии в других людей такого же происхождения, грозясь лишить их родины, свободы и жизни, то есть устанавливает одни нормы для себя, драгоценного, и совсем иные для других. Вот на что, а вовсе не на еврейство как таковое указывает американское агентство.

Ну допустим, опять же для понятности, что некто мечет громы и молнии против приема в гимназии «кухаркиных детей», скрывая, что его собственная мать кухарка. Но разве напомнить тому политику, что он сам — кухаркин сын, значило бы проявить чванство? Сравнение это особенно уместно, поскольку ограничение приема в гимназии «кухаркиных детей» у нас осуществил тот же министр Делянов, который установил процентную норму для евреев.

Согласно господину Горелику, «следует не ковыряться в анкете, а смотреть на программу политического лидера». При этом Горелик признает, что программой отнюдь не снимается вопрос, не надует ли господин Жириновский людей, за него голосовавших. Но, чтобы это выяснить, не надо ждать, куда Жириновский станет президентом.

Кое-что видно и сейчас, конечно, не по национальности, но и не только по политической программе. Ведь у нас можно не моргнув глазом сменить не только национальность, но и политические взгляды, как это уже делали и господин Бабурин, и господин Константинов, и сам господин Жириновский, начавший политическую жизнь с иными лозунгами. Да и нынешнее название либерально-демократической партии разве хоть в чем-то соответствует речам ее лидера?

Избирателям мало программ — чего только не обещали при Сталине или при Хрущеве — избирателям надо убедиться в искренности и честности тех, кому они отдают голоса. Давно сказано: единожды солгав, кто тебе поверит? Когда юный Володечка, присваивая фамилию прежнего мужа матери, отодвигался в паспортном столе от своего папы Эйдельштейна, уже проступали его замечательные свойства, которые ныне ошеломили мир.

Ассошиэйтед Пресс оповестило нас не о национальности Жириновского, а о его хамелеонстве.

Наши газеты, перепечатывая это сообщение, побуждали голосовать против Жириновского не потому, что он еврей, а потому, что это повзрослевший Павлик Морозов. Вот и подумаем, надо ли вместе с господином Гореликом радоваться, что народ не побоялся голосовать за еврея, или горевать, что он не побоялся голосовать за Павлика Морозова.

Кому было бы выгодно скрыть правдивое сообщение солидного агентства? Не тем ли, кто, подобно Горелику, именует негодные русские издания «еврейской прессой»? Но разве сама эта лексика не проясняет истинного смысла защиты от антисемитов, да еще американских, не кого-нибудь, а именно господина Жириновского? Или работа у них такая?

ПЕРВОХРИСТИАНАМИ БЫЛИ ЕВРЕИ

Жаль, что Ю.Буйда в хорошей статье «Школа зла» («НВ» № 37/94) не напомнил читателю о времени и обстоятельствах возникновения констатируемого им евангельского антисемитизма. Евангелия сперва ведь вовсе не были, да и не могли быть, антиеврейскими по той простой причине, что возникли и поначалу распространялись в еврейской среде, где противостояние Ветхому завету и приверженность Новому вызывали конфликт не с чужим племенем, а с традиционной религией. Христианство возникло как новая еврейская религия, подобно лютеранству, возникшему потом как новая немецкая религия. Противоречия иудаизма и христианства долго были внутриеврейской проблемой. Лишь с распространением новой веры среди других народов, после принятия ее римскими императорами, после Никейского собора, то есть лишь в IV веке, новая религия стала превращаться в государственную и при канонизации священных книг, то есть их отборе и редактировании, антииудаизм однозначно трактовался как антисемитизм.

Тяготение к начальному христианству возрождалось не раз и по-разному. Оно очевидно прежде всего в Реформации. Оно проявлялось и в католицизме, где в наши дни на папском престоле оказались Иоанн XXIII и Павел VI, сделавшие существенные шаги навстречу реальностям человеческой души и жизни. Сопоставимые порывы случались и в православном мире — и у Владимира Соловьева, и, по-иному, у Льва Толстого. Но по ряду причин — от старинного двоеверия до неодолимой власти государства, и царского и советского, православие, на Руси изначально принятое уже как государственная религия, так до сих пор и не приобщилось к свободной вере бедных еврейских рыбаков, окружавших Христа. Поэтому лицо православия сегодня и определяет митрополит Петербургский и Ладужский Иоанн с его зоологическим антисемитизмом. А православный священник из евреев Александр Мень безнаказанно убит «неизвестными». Беда не в обрядовых отличиях православия, а в том, что оно не освободилось от феодальных привычек.

Поминая митрополита Илариона, принявшего понятия о законе и благодати у государственного византийского православия, стоит помнить, что православных иерархов именно такими и любит, и поощряет наша мирская власть — и давняя, и недавняя, и нынешняя.

ТРИ СТОЛЕТИЯ ЖИЗНИ

На склоне лет обзревая написанное — а оно составило в полном собрании семьдесят томов, — Вольтер, говорят, воскликнул: «С таким багажом до потомков не дойти!» Да и багаж был пестрым: философия не оригинальна — с Кантом не сравнишь, а художественные творения, довольно рациональные, шансов долго жить не имели. Во всяком случае, в России в поле зрения широкого, и то не чересчур, читателя уцелели разве что некоторые философские повести. Опять же с Шекспиром не равняем. Тем не менее, по влиянию на потомство, по присутствию в его памяти, Вольтер не уступит никому. Слово «вольтерьянство» просто вошло в русский язык и более века обозначало всякое вообще свободомыслие. Да и в наши дни, когда, казалось бы, философия Просвещения, признанным лидером которой он был, и надежда на торжество разума, с еще большим пылом, чем в при романтизме, отвергается, Вольтер сохраняет власть над умами.

Я гляжу на скептическую улыбку, изображенную Пушкиным, для которого Вольтер в юности был первым поэтом, или на эрмитажного Гудона, и досаую, что на моей памяти в моей стране подобного человека не было. Вольтер пленяет не мудростью или искусством, как Шекспир или Кант, а самим своим примером, самим своим страстным участием в жизни. И дело не только в том, что он был гений, — гениями человечество легко пренебрегает, и Вольтер тоже знал тюрьму, и горечь эмиграции, в которой протекла большая часть жизни, и книги его сжигали, и даже отказали ему в праве быть погребенным — пришлось хоронить тайком. Но его пример драгоценен потому, что преодоление феодального порядка — не личное дело. Он помог его осилить родной Франции, а потом то же самое начали другие народы, и опыт Вольтера обнажал проблемы, с которыми в девятнадцатом и двадцатом веках приходилось и еще приходится иметь дело.

Вот, казалось бы, такой наш самобытный вроде бы вопрос — Россия и Запад. Сколько сказано слов, как поныне поносят западников! А Вольтер ведь и был их первым защитником. Только Запад тогда был крохотным, и его еще не называли Западом. Это была Англия, где

Вольтеру пришлось скрываться от преследований, да еще Голландия, где он тоже побывал. В Англии он написал книгу, вышедшую сперва в английском переводе под названием «Письма об английском народе» и лишь потом в оригинале как «Философские письма об Англии». Вот ее-то и сожгли на родине. Вольтер противопоставлял Англию родине: в Англии не одна, а множество религий, и государство уже не абсолютистское, и английский крестьянин живет лучше французского, и свободы больше, — как он потом писал: «В Англии никто ни у кого не спрашивает позволения думать». И хоть не все, конечно, ему в Англии было по вкусу, Вольтер хотел для своей страны подобного порядка, потому что он свою страну любил и желал счастья своему народу.

Конечно, Франция уже давно сама стала Западом. Но как не вспомнить Вольтера, наблюдая, что в других странах — и у нас, и в Иране, и в Китае — вся эта история повторяется, а нас уверяют, что западное нам чуждо?

Или, опять же, борьба за права человека. Разве не Вольтер, именно ради перехода к другому общественному порядку, был ее инициатором? И ведь его дело не ограничилось посмертной реабилитацией Каласа или спасением Сирвеннов. Он обнажил неправоудный характер прежнего уголовного процесса и тем вынудил его изменить. Само появление во Франции правосудия — в большой мере заслуга Вольтера. Он объяснил его как необходимость, и общество услышало. У наших правозащитников удачи лишь частные. Порой даже закон меняют, а практика остается прежней. Конституция не допускает преследования за разглашение наперед не указанной государственной тайны, а суд над Вилом Мирзояновым тянулся долго, и властям в голову не шло, что их неторопливость демонстрирует чисто декоративную природу нашей очередной самой демократической, разумеется, конституции. А Вольтер бы ткнул им это в нос, показал бы незаконность наших законов, не только сталинских, но и новейших. Но нет у нас Вольтера.

Когда я был студентом МГУ, нам объясняли, что Вольтер, при всех своих заслугах предшественника революции, до подлинно научного понимания истории не дошел, и был полон противоречий. Действительно, он часто говорил вещи, кажущиеся несовместимыми. Именно

Вольтер — и в исторических работах, среди которых «История Петра Великого» и «История Карла XII», и в общей форме, — показал, что история — не случайное стечение событий, а некий взаимообусловленный процесс. Он настойчиво говорил об историческом прогрессе, в который после происшедшего в нашем веке в России, в Германии или ныне в Боснии трудно верить. И он же написал «Кандида» и высмеял там философа Панглосса, подобно своему прототипу, готового при любом несчастье уверять, что все к лучшему в этом лучшем из миров. Можно, конечно, сказать, что гениальный мыслитель щедро разбрасывал, но плохо связывал свои мысли. Однако лучше бы понять, что за дерзкими мыслями стоят реальные свойства жизни, которые не стоит абсолютизировать.

Двадцатый век не раз демонстрировал крушение разума, и люди отчаивались. А разум терпел поражение там, где его абсолютизировали, где, увлекшись мыслью, в чем-то даже и верной, не хотели терпеть рядом никаких других мыслей, а главное, не видели, где полюбившаяся мысль перестает сопрягаться с реальностью. В сущности, разум проигрывал от недостатка разума. Прогресс пропадал от того, что, как выяснилось, зная прогресса может схватить самая околтелая реакция. Не зря Вольтер постоянно призывал к терпимости, и не зря его скепсис ставил под сомнение даже и его собственные идеи. Он ратовал за разум действенный, недремлющий, а не однажды утвержденный и догматизированный раз и навсегда. Это-то и вызывало наибольшую ненависть. Он не давал окончательных ответов на естественно возникавшие вопросы.

Отсюда и споры с церковью, стоящей на страже властей (ныне, пожалуй, больше всего и настраивающей людей против него). Что говорить, «Раздавите гадину!» — сказано недвусмысленно. Но ведь в то же время говорилось: «Если бы Бога не было, его надо было бы выдумать!». Вольтер спорил не столько о Боге, не столько о делах небесных, сколько о земном учреждении, сеющем нетерпимость. И вообще-то говоря, стоит задуматься, кто в этом споре был более христианином. В Ветхом Завете, который гонители Вольтера признавали боговдохновенным, прямо сказано: «Все произошло из праха и все возвратится в прах. Кто знает, дух сынов

человеческих восходит ли вверх?» Понятно, христианство, живущее верой в вечную жизнь души, уверовавшей в Христа, не принимает эти положения за истину, но они уцелели в Священном писании, поскольку сомнение — непреходящий момент познания, даже и божественного познания. Запрещая сомнения, вы требуете от людей слепоты, а если главное в том, чтобы люди были слепы, то нет и различия между верой в Иисуса с его гуманной проповедью, и верой в колдуна, в шамана, в Кашпировского, в Жириновского, в Мавроди.

Не то чтобы Вольтер был вовсе свободен от подобных соблазнов. Надежда на социальные перемены связывалась у него с просвещенным абсолютизмом. Почти как советник нашего президента Андраник Мигранян, Вольтер верил, что диктаторская власть способна сделать общество лучше, чем оно в наличных условиях может быть. Но, в отличие от нынешних сторонников доброй диктатуры, Вольтер держал глаза открытыми, а совесть ранимой, и потому быстро разочаровывался во всех конкретных монархах, на которых сперва возлагал надежды, — и в Людовике XV, и во Фридрихе II, и, уже в конце жизни, в Людовике XVI, у которого разумный министр финансов не мог совладать с интересами правящего класса и вынужден был уйти, что отчасти и ускорило революцию, и уже после смерти Вольтера королю с женой пришлось взойти на эшафот. Монархи, вопреки ожиданиям Вольтера, преодолеть себя не могли, отчего и погибали. И он силился объяснить им это наперед.

Быть может, гениальность Вольтера больше всего и проявилась в способности глядеть в лицо жизни и сражаться за нее, когда требовалось. Вольтер понимал, что жизнь предполагает ежедневное столкновение с неведомым, что наши знания недостаточны. Он понимал, что жить, сознавая это, не каждому под силу, и легче свалить решение своей судьбы на других, кому-то довериться. Ощущение того, что «стихия бьет о берег свой», потом с особой силой запечатлел наш великий Тютчев, вымолвивший: «И мы плывем, пылающею бездной со всех сторон окружены». У Вольтера, боюсь, нет столь гениальных стихов, но способностью плыть над «пылающею бездной» он обладал как, может быть, никто в мире.

И сколько бы ни находилось у нас возражений тем или иным суждениям Вольтера, и пусть нас не увлекает его поэзия или драматургия, его пример, пример человека, родившегося триста лет назад и ощущавшего то, что терзает нас поныне, для разумного человека, столкнувшегося с неукротимой стихией, не стирается, не пропадает.

ВОЗВРАТ

Введя войска в Чечню, президент Ельцин совершил государственный переворот, разом изменив и статус страны и свой собственный.

Казалось, Российская Федерация стала, наконец, не на словах, а на деле, федерацией. Казалось, уже нельзя упразднить национальную автономию, как некогда Верховный совет РСФСР упразднил Чечено-Ингушскую республику, и тем более, нельзя разбомбить ее столицу. Оказалось: по приказу президента — можно. Выходит, Россия опять унитарное государство. Казалось, президент получил по новой Конституции хоть и слишком большие, но все же не безразмерные права. В частности, послать армию воевать с собственным населением, даже непокорным, он вправе только с согласия Совета федерации. Но Совет согласия не давал, а президент армию послал. Выходит, страной правит не президент, а божьей милостью неограниченный самодержец.

Говорят, страной правят генералы Коржаков, Барсуков, Грачев, Степашин и штатские начальники Шахрай, Лобов, Егоров, Сосковец. А Борис Николаевич пребывает в информационном вакууме, то бишь новом Форосе. Но наш президент не трус, и не раз это доказывал. У него хватило бы ума и дерзости при визите вице-президента Гора сказать американским репортерам, что он в плену, и лента с записью обошла бы мир, сметая новых гекачепистов. Небось, отбирать ленту у американского вице-президента, повалив его лицом в снег, и храбрый генерал Коржаков не отважится. И не будем валить на него чужую вину. Своих грехов хватает.

Президент все знает не хуже нас, не хуже даже Сергея Ковалева. Он только не видит нужды считаться с тем, с чем посчитался бы обычный человек — с другими людьми. Просто, как нынче говорят, у него ментальность такая. Ментальность секретаря обкома. Премьер-министр советовал чеченцам принять происшедшее как свершившийся факт и не выяснять причины. Государственный переворот предложено принять как свершившийся факт! Но тогда, неровен час, последуют и другие "свершившиеся факты", и на Петербург тоже, если что, бомбы полетят. А и людей, и город потом, и с помощью господина Клинтона, не отказавшегося

субсидировать "внутреннее дело" в Чечне, будет уже не воскресить.

Самое примечательное в чеченском деле — лицо власти, -- и нашей, и зарубежной. Русскую армию бранят за слабость, не беря в толк, что ее годами готовили к тотальной войне, в чем она и на сей раз не оплошала. А усмирять, оставляя живыми, ей удавалось лишь безоружных. Вот наша власть и сердится, что чеченцы сопротивляются, и то и дело предлагает им сложить оружие, сама это делать не собираясь. Но чеченцы ученые: им твердят, что Чечня — это Россия, а они знают, что никогда добровольно в Россию не входили, а были завоеваны. Уже поэтому, как евреи в Варшавском гетто, они, хоть, и обречены, предпочитают погибать в бою, но не идти на перевоспитание к Егорову и Шахраю.

Почему Ельцин не согласился на переговоры с Дудаевым? Говорят, не легитимный правитель! Эва, как просветило нас общение с британской королевой! Но Джерри Адамс уж совсем не легитимный правитель, да и представляет заведомое меньшинство Северной Ирландии, а британский премьер с ним переговоры ведет, ничего, кроме отказа от террора, наперед не требуя. Заменяв переговоры бомбами, Дудаева сделали вождем народной войны. Напрасно твердят, что Дудаев — бандит и, значит, война чеченцев не народная. Сталин был бандит стократ худший, но, какая бы банда не сидела наверху, в Отечественной войне наш народ защищал отечество. Так и чеченцы нынче.

Да и почему банды Дудаева в Чечне волнуют президента больше, чем банды Баркашова по всей России? Почему на предложение краткого перемирия, чтобы похоронить наших солдат, президент отвечает: "Еще рано", а российское правительство предлагает перемирие в оскорбительной форме, как для капитуляции? Здесь и зарыта собака. Москва не хочет компромисса, она хочет капитуляции, и не одной Чечни. Пример Чечни — подготовка капитуляции всей России. Недаром русские "воины-интернационалисты" уничтожают в Грозном русское население не менее беспощадно, чем чеченское.

Полная капитуляция человека перед государством всегда была основой советского хозяйства и советского порядка. Уверяли, что именно с этим президент Ельцин

покончит. Но трехлетняя проволочка с реформами показала, что президент настоящих реформ не хочет и тянется к государственному экстремизму. Большевики сообразовывались не с требованиями объективной реальности или нуждами людей, а с волей своей партии, которая добилась единогласия, перестреляв оппонентов. Величайшими экстремистами XX века были не знаменитый Карлос и не его мусульманские коллеги, а Сталин и Ежов. В Будапеште, Новочеркасске, Праге, Тбилиси выплескивался все тот же государственный экстремизм.

Когда кризис, им порожденный, стал невыносим и для правящего слоя, Горбачев попытался найти компромисс с реальностью, Сахаров от лица демократической оппозиции его поддержал, подчеркнув однако, что поддержка остается условной. Когда Горбачева сменил Ельцин, тоже объявивший о благих намерениях, демократическое движение, в котором бывшие диссиденты уже растворились в толпе бывших коммунистов и комсоргов, радостно объявило о безусловной поддержке Ельцина. А он-то от глубинных перемен уклонялся.

Изобилие на прилавках, созданное гайдаровским взлетом цен, образуют почти исключительно импортные товары, и видно, что ни в городе, ни в деревне частное производство и за три года не развернулось. Но без частных, без конкуренции нет рыночного хозяйства, значит надо затягивать пояса. Альтернатива все та же: золото или булат, взаимные уступки или приказы человека с ружьем. А если на стене висит ружье, оно, как известно, выстрелит.

Президент не побоялся стрелять. Нападки непримиримых его не испугали — он лишь продолжал начатое коммунистами в 1944 году. А от верноподданного "Выбора России", тоже номенклатуре не чуждого, он осуждения и не ждал. Выбороссы уверяли, что президент умело действует в пространстве возможного, что поддерживать его надо безоговорочно, что демократическая оппозиция России не нужна. Перед лицом обнаружившихся жертв Гайдар, претендующий быть лидером демократов, не мог уклониться от протеста, и все равно президента выгораживал, уверял, что его "подставили". И одновременно уверял, что приватизация у нас может быть только номенклатурной. Но зачем тогда

раздавали ваучеры всему народу? Нет, не Чечня приведет к отказу от реформ, а отказ от реформ уже привел к Чечне.

К тому же, Чечня — полигон великодержавной политики. По новой конституции федерация состоит из единообразных "субъектов", почти губерний. Стерта граница между собственно русскими землями, чье стремление к единой государственности питают традиции, общность языка, культуры, религии, истории, и землями, завоеванными Россией, но сохранившими значительную долю коренного населения — в Чечне оно составляет большинство. Сегодня и этим землям, и Чечне в частности, разрыв с Россией, видимо, нанес бы ущерб, но без уважения к партнерам содружество невозможно. Ирония в том, что и республики и Москва хотят единства, но понимают его по-разному: в республиках — как союз, а в Москве — как подчинение центру.

Национальным республикам необходима договорная форма вступления в федерацию, хоть как-то ограждающая от закоренелого великодержавного шовинизма и преобразования федерации в унитарное государство. Договоры с Татарстаном и Башкортостаном шли со скрипом, и больше Москва такого не желает. Великодержавные позиции президента продвигались в конституцию без шума. Обычно их оглашал Шахрай — идеолог чеченской войны. Но слишком быстрые последствия отказа от подлинных экономических реформ побудили Москву нагнетать державность, поручить ее внедрение силовым министерствам.

Борис Федоров удивленно спрашивает, что плохого в слове "держава", а оно худо происхождения от слова "держать", то есть "не отпускать". У тех, кто думает, что Россию ничто, кроме внутренних войск, не объединяет, плодятся дикие мысли: дескать, отпустим Чечню, и Урал отвалится, и Новгород отделится. Но для перехода от внеэкономических отношений к экономическим нужен и переход от империи к содружеству, подобно Европейскому союзу. Единство там держится на экономической свободе, и ее не возместить военной силой, а удерживаемые насильно норовят высвободиться. Вот и ответ на вопрос, чему послужила атака на Чечню: укреплению единства федерации или ее развалу и росту центробежных настроений.

Так или иначе, эпоха иллюзий по поводу дареной демократии кончилась. Но борьба за демократию в России лишь начинается. Ее успех зависит от стойкости демократической оппозиции и понимания остальными, что нынешняя власть вовсе не демократическая. Чечня это и подтвердила, высветив лица Шахрая, Егорова, Сосковца, Лобова и самого Ельцина, людей даже не военных. К возврату в тоталитарную систему, пусть с подновленной мифологией и отменой двух-трех нелепых запретов, страну, как видим, тянут не только Зюганов и Жириновский, но и Ельцин, пославший войска, и Гайдар, пекущийся об имуществе номенклатуры, и Федоров, ратующий за державность. А давно пора не на "хорошего человека" надеяться, но на такую государственную систему, которая и плохому не даст злоупотреблять властью. Только такая система и называется демократией.

ИНОЕ ДАНО

Перемены забуксовали, а нас уверяют, что демократия разумно действует в пространстве возможного. «Патриоты», что не патриоты, и «демократы», что не демократы, верят в «социалистический способ производства».

На более ранних этапах его пытался смягчить Хрущев, упреждавший совнархозы Росселя, и Косыгин, упреждавший Чубайса. Ничего у них не вышло. Мешала советская вера, что руководство коммунистической партии крепче связей хозяйства и общества, и можно вертеть и тем, и другим, как хочешь. Этой верой государство и подсекало свои благие пожелания.

Россия ощутила его еще в 1927 году. С 1929 она разоряла деревню и ломала органичное развитие производства, ориентированное на платежеспособный спрос. Наши реформаторы искали выход из кризиса не в реальной жизни общества, а в социальной инженерии, которую номенклатура не выпускала из рук. «Хотели, как лучше, а получилось, как всегда», — справедливо заметил премьер, да и откуда быть иному, если делали, как всегда, командными методами, по природе внеэкономическими.

В «Новом времени» №37 Юрий Александров, едва ли не первым у нас, защищал нынешних «реформаторов», и признал, что наша «управленческая и хозяйственная элита давно приватизировала административно-командную систему». И не скрыл, что в результате произведенных «реформ» номенклатура «упрочила свое право распоряжаться бывшими государственными предприятиями, не порывая связи с государством». Так прямо и пишет: «элита взяла свое».

Но чтобы разобраться, способна ли «элита», изменить жизнь не «как всегда», а в самом деле, Ю.Александрову стоило держаться реальности до конца и не уверять, что «остальной народ ничего не потерял». Сосчитав сколько батонов, картошки и мяса можно было купить на прежнюю зарплату, стипендию или пенсию по искусственно заниженным прежним ценам, и сколько купишь на нынешнюю, выплачиваемую еще с нарастающим опозданием, при растущих ценах, убедишься, что жизненный уровень в среднем сократился раз в шесть, если не больше, а «элита» осталась при

своем. Иначе не было бы почвы для тоталитарного реванша и открыто национал-социалистических и фашистских инициатив.

Не то что меж гайдаровско-черномырдинской и зюгановско-стерлиговской элитами нет различия, но оно преувеличивается, а сходство замалчивается. А сходство сводится к происхождению от КПСС. Оно — в общем желании вести хозяйство, «не порывая связи с государством». Оттого и оплачивать накопившиеся советские диспропорции Гайдар заставил не кругом виновное государство, а рядовых граждан. Как в первые дни перестройки, нас уверяют, что другой возможности быть не могло, «иного не дано». Гайдар даже называет нынешний порядок капиталистическим. Но будь он таким, власти пришлось бы позаботиться если не об упреждающем, то хотя бы о синхронном установлении хозяйственного права и прочих институтов, об отсутствии которых американец все же помнит. А они не работают не по слабости власти, а потому, что гайдаровский «капитализм» — никакой не капитализм, а лишь иная разновидность все того же промышленного феодализма, который в СССР именовали социализмом. А в Европе, выработавшей хозяйственное право при открытой классовой борьбе, значимо было слово и свободных крестьян, и ремесленников, и свободных рабочих, а не только предпринимателей. Когда действительна лишь воля чиновников, зашибающих деньги, у людей пропадает охота работать лучше.

Капитализм, при известных его недостатках, оказался привлекательней других общественных порядков тем, что он продуктивен и в силу своей экономической природы стихийно откликается на потребности общества. А внеэкономический порядок, в том числе и наш «социализм», и гайдаровский «капитализм», с этим спросом не считается, руководствуясь высшими соображениями, — если не ленинским намерением установить на земле царство божие под красной звездой, то под крестом или полумесяцем. Да только вход в это царство есть лишь для номенклатурной элиты. Реформа, пришедшая с перестройкой, — подменная. Капиталистические имена даны не слишком изменившемуся порядку, монополюльно руководимому государством. Известно, что общая стоимость всех

ваучеров, выданных населению России по обозначенному номиналу, выше которого она с учетом инфляции не поднялась, не превысила стоимость годового кредита МВФ, а в сравнении с богатством страны просто ничтожна.

Уже при Брежневе росли цены. Рыжков и Павлов при Горбачеве вздували их еще сильнее, обесценивая людские накопления. Но лишь Гайдар при Ельцине рискнул снять ограничения цен, отчего всеобщее недовольство и связалось с именем Гайдара. Не виновный в давнем разрыве цен и ценностей, он пожертвовал своим добрым именем ради сомнительной при Ельцине возможности создать свободную экономику. Сделать это ему не довелось. Он лишь растянул крах внеэкономического порядка, но, едва наладил торговлю, от прямой власти был оттеснен..

Ныне он рассказывает, что предостерегал президента. А на деле оказался не политиком, выражающим интересы людей, а чиновным социальным инженером. А от чиновной элиты, тормозящей развитие страны, ждать установления порядка, ценящего усердие и изобретательность, наивно. Лишь обеспечив до всякой приватизации права частного предпринимателя и определив его обязанности, перемены открыли бы путь воистину частному производству, куда могли бы инвестироваться те сто миллиардов долларов, о которых известно, что они ушли за рубеж, спасаясь от всемогущего государства, которому нельзя верить. К ним бы, конечно, еще прибавились неведомые капиталы, утекавшие в МММ и подобные фирмы. В деревне первым шагом к приватизации стал бы отказ от выравниваний судебных сводящих концы с концами колхозов и совхозов с судьбами живущих субсидиями, идущими к тому же не столько в хозяйство, сколько новым помещикам, назвавшимся аграриями. С раздела убыточных хозяйств и появления на их месте продуктивных ферм могла бы начаться приватизация земли, сперва хотя бы для работающих на ней и их детей, желающих вернуться на землю.

А нам выдают за установление экономических отношений изменение отношений внутри внеэкономической элиты. Оттого у нас так много партий и так расплывчаты их программы, что они говорят не от имени разных слоев населения, которых отнюдь не так

много, а отстаивают групповые интересы номенклатуры. Ведь и прежде днепропетровская группировка отстаивала свое, а белорусская или московские свое. От того, что разные группы элиты отстаивают свои интересы уже не под ковром, как прежде, а на публичных выборах, соответственно организованных, порядок отнюдь не становится демократическим.

Поскольку начавшаяся с перестройкой свобода слова и печати, хоть и урезана, но еще не ликвидирована, нас уверяют, что в России -- демократия. Что говорить, без свободы слова и печати демократии не бывает. Но из этого вовсе не следует, что относительной свободы слова и печати не бывает без демократии, тем более, что недемократическое общество и без цензуры имеет возможность свободы укоротить. На отмену в апреле 1865 года предварительной цензуры Н.А. Некрасов отозвался сатирическими "Песнями о свободном слове", в одной из которых "фельетонная букашка" одинаково радовалась двум свалившимся под старость удачам: "Курил на улицах сигары/ И без цензуры сочинял". (До шестидесятых годов курить на улицах Петербурга было запрещено.) Некрасов ощущал грань даренной свободы, и ему не приходило в голову именовать правление даже лучшего из русских царей демократией.

У нас оснований для подобного не больше. Нет у нас первого признака демократии -- свободной экономики, кстати и при царях скованной бюрократией. Нет у нас и доброкачественной избирательной системы, дающей широким массам граждан сознавать действенность своего голоса. Сколько ни твердят, что и "номенклатурная демократия" это все же демократия!, мы знаем: это демократия для номенклатуры. Предпочтя рабовладельческую демократию республиканского Рима или Афин египетским или персидским порядкам, мы помним, что для рабов она и в Риме, и в Афинах была рабством. А в компьютерный век рабство убивает не только замученных рабов, но и страну, в которой за него держатся.

Нам усердно выдают за свершившееся то, что еще не начиналось, путают субъективные намерения и объективные результаты. Андрей Колесников в "Новом времени" № 42 вспоминает слова Лешека Бальцеровича: "Самое трудное — это вновь сделать из яичницы яйцо", и

уверяет, что Гайдару и Чубайсу это тоже удалось. Но успех Бальцеровича, проводившего реформу в стране со свободным крестьянством, при всей сложности его реакции, подтвержден ростом производства. А Гайдар с Чубайсом покамест даже не остановили его сокращения. Из яичницы они сделали не яйцо, а лишь омлет. Прибавили молочка да лучка и придали аппетитный вид. Но готовят его все тем же государственным способом.

Радоваться, что прилавки заполнились, стоит лишь помня, что растет и число роющихся в помойках. В том, что у них нет работы с адекватным заработком, виноваты те самые защитники государственного хозяйства, которые не дают ходу свободной экономике, способной дать работу множеству людей. Без нее даже воспоминания о жалкой государственной пайке обретают сладость, и люди голосуют за Зюганова, Жириновского, Рыжкова или Стерлигова, хотя исчерпаны уже и источники такой пайки.

Читая при этом об успехах наших реформаторов, трудно взять в толк, что страна страдает не от реформ, а от их отсутствия, что происходящие под именем реформ перемены идут на пользу прежде всего номенклатуре. Да еще пуще прежнего уверяют, что демократическая оппозиция нам вовсе и не нужна. А без нее, повседневно ратующей за свободу экономики, социальные гарантии и гражданские права, элитарные замашки не преодолеть. Ближайшее время прояснит, можно ли будет легально совладать с номенклатурным господством или России осталась лишь мнимые надежды нового диссидентства. Но как бы оно ни повернулось, не стоит внушать себе и другим, что иного и не дано.

ФИЛОСОФИЯ МЕНЬШИХ ЗОЛ

Какие разные люди — какие схожие инстинкты!

Более ста лет назад Достоевский сказал, что даже для счастья всего человечества нельзя замучить и одного маленького ребеночка. С подобной целью потом замучили десятки миллионов детей и взрослых. Но какое-то время спустя признали, что товарищ Сталин все же перебрал. Никто не говорил, что недобрал, как ныне говорит Виктор Анпилов.

Видимо, люди, способные не согласиться, мешали Сталину самим своим существованием. Но никто не догадывался, что полвека спустя, когда Россия объявит себя демократической, министр внутренних дел публично заявит, что и в самом деле есть люди и даже целые народы, мешающие самим своим существованием, и нечего "это средневековье" поднимать до себя! Опять же знаменитый генерал Серов выселял чеченцев поголовно, и погибло их тогда не меньше, чем сейчас, но в отличие от генерала Тихомирова он держал язык за зубами и не уверял публику, что исполняет воинский долг.

К моей знакомой, отец которой, московский адвокат чеченского происхождения, помер в 1929 году, еще в 1946-м приходили по ночам проверять, убралась ли она, по отчеству Ахмедовна, с соответствующей фамилией, из Москвы. С ней, к счастью, обошлось — мать была другой национальности, а национальность у нас определяется по матери, и милиция проявила снисхождение. К большинству его не проявляли. Но не было такого, чтобы глава московского горкома, как нынче московский мэр, публично заявил: "Мы эту диаспору предупреждали, и теперь им врежем!"

Без лицемерия, правда, все равно не обходится. Говоря о мире в Чечне, словом "мир" пользуются для обозначения безоговорочной капитуляции чеченцев, а никакой взаимности в виду не имеют. Но хоть свобода печати скукоживается, и Сергей Ковалев уже не может опубликовать открытое письмо президенту в солидной газете, вести о войне еще доходят, и мы знаем, кто не хочет безоговорочной капитуляции, а кто не хочет мира.

Необходимость убивать и вообще творить зло во имя добра и после смерти Сталина сомнению не подверглась,

но советский гуманизм разработал философию меньших зол.

Вот только не брали и не берут в голову, что и ребеночка замучаешь, и каждого десятого в России погубишь, и половину человечества изведешь, а счастья не будет никому, разве что палачам, получившим на водку. "Наши" летчики, их командиры и главнокомандующий прекрасно знали, что добрая половина жителей Грозного, который они бомбили, — русские, но это их не остановило. Они, должно быть, считали, что совершают "меньшее зло", а если никого не убивать, глядишь, и конституционный порядок нарушится.

Меньшее от этого выйдет зло или большее, проясняется лишь задним числом, и, принимаясь мучить даже одного ребеночка, пуская на это ограниченный контингент, невозможно знать наперед, к чему придешь. Достоевский показал, что злодейство не вольно остаться единичным, значит, трезвый расчет тут невозможен, и вера в "меньшее зло", "зло по совести" — ложь или самообман. Пошел убивать старуху-процентщицу, а убил еще и Лизавету. Не только государственный экстремизм превосходящими силами, но и революционеры-одиночки запросто убивают таких Лизавет.

В счет их не берут. "Революционерка" Валерия Новодворская так и пишет: "Алену Ивановну, процентщицу, не ликвидируют как класс, вместе с сотнями тысяч других старушек, девушек, юношей. Сбившийся с пути Родион Раскольников убивает ее индивидуально..."[†] Простим Валерии Ильичичне несколько странное представление об искусстве. Чтобы изобразить типическое, писателю нет нужды выводить тысячи Раскольниковых. Но в данном-то случае и вся соль в том, что Алену Ивановну Раскольников убивает именно что не индивидуально, а неотвратимо совершая второе убийство, для которого не приберет предварительных оправданий, какие насочинял для первого.

Без памяти о Лизавете Достоевского сводят к кающемуся грешнику: был "юный и глупый", "хотел печатать прокламации, делать революцию, связался (!) с петрашевцами... Это была не жизнь... Он понял, что жизнь

[†]Валерия Новодворская. "Возвращение на Итаку". ("НВ" № 29/1996).

— это совсем другое. Писать романы, издавать журнал, купать детей в ванночке, покупать им гостинцы, ездить на воды, зарабатывать деньги". Вот ведь что, оказывается, Достоевский осознал на каторге, — деньги надо зарабатывать!

Быть может, и впрямь таков был ход мыслей юной библиотечарши, которая связалась с создателями Свободного межпрофессионального объединения, профсоюза нового типа, чтоб "делать революцию" и ощущать себя "антикоммунисткой". Но Достоевский здесь при чем? Он ведь не говорил: "И совесть нас больше не мучает". Он и перед смертью мучился тем, что, услышав, будто сейчас взорвут Зимний, не поспешил предупредить, не обратился к городовому, чтобы задержали людей, про это сказавших. Однако такого не мог, совесть не позволяла. Ему, давно отвернувшемуся от революции, важно было разобраться, почему в нее верят отнюдь не только прирожденные бандиты, но и желающие лучшего библиотечарши.

А бывшая революционерка уверяет: "Он писал о хорошей человеческой жизни, где люди страдают только от бедности или от неразделенной любви". Оставим неразделенную любовь, уже написан "Вертер", и "Мистерии", и многое другое. Но и в бедности не всегда находятся благодетели, и наследство приваливает не каждому, и работа, даже в более благополучных странах, не всегда есть для всех. Человеческое общество, не только коммунистическое и ему подобное, но и гуманное и терпимое, несовершенно. Об этом, возможно, не задумывалась Новодворская, но помнил Достоевский. Он только перестал полагаться на средства, которыми смолоду наделялся общество улучшить. Перед смертью он особенно надеялся на графа Лорис-Меликова, но ведь и эта надежда обманула не только по вине Гриневицкого и Софьи Перовской, тоже обманувшихся в своих надеждах.

«Цель, для которой требуются неправые средства, не есть правая цель», — еще раньше Достоевского сказал не кто иной, как Маркс, к неправым средствам отнесший даже цензуру. Этим он наперед объяснил, что и одно только установление после Октября цензуры, не говоря о позднейшем ее ожесточении и прочих неправых средствах, позволяло тем, у кого были глаза, видеть, что цель учредивших цензуру коммунистов не может быть

правой. От применения неправых средств коммунистов предостерегал не кто-нибудь, а сам основоположник. Его социалистическое учение было, конечно, утопией, заблуждением. Но о недопустимости применения неправых средств, о том, что, пачкая руки, ты пачкаешь и портишь дело, которое считаешь добрым, он сказал. Нам бы помнить о непредвосхитимых последствиях неправых средств и остерегаться их. Но от них поныне не отказались ни объявившая себя антикоммунистической власть, ни стоящая на своем коммунистическая оппозиция. А важно не только, какие цели те и другие перед собой ставят. Еще важней, какими средствами они пользуются для их достижения.

О чем только ни говорили при назначении генерала Родионова министром обороны. Об интеллигентности, образованности, высокой военной квалификации. О том, что он убивать не хотел, только выполнял приказ, и опять же о том, что двадцать погибших в Тбилиси — это "меньшее зло" в сопоставлении с десятками тысяч в Чечне. Можно бы возразить, что с образованного и интеллигентного человека больший спрос, чем с генералов Куликова, Рохлина или Тихомирова. Но и на это можно возразить, что военный обычно тратит слишком много мужества на поле боя, чтобы хватало еще на отказ от исполнения преступного приказа министра и верховного командования. Не будем соблазняться этой дискуссией.

Только ведь знал давно сидевший в Грузии генерал, что она больше других дорожит связью с Россией. Даже больше Армении, больше Украины, родственной по языку и вере, но от Шевченко до Винниченко желавшей независимости. Грузия двести лет полагалась на Георгиевский трактат. А генерал Родионов, зная это, ни Язова с Горбачевым, ни себя самого, не предупредил, что саперная лопатка не только убьет грузинку, но и трактат разорвет. А там естественна победа Гамсахурдиа и шевеление по всему Кавказу: если русские с грузинами так, чего ждать остальным? Скажи кто генералу, что он-то и рассек своими лопатками Советский Союз, он возмутится, поскольку, разумеется, никак не хотел этого. Но, получив задание, узнав цель, думал лишь о средствах, а не о последствиях их применения.

Советская власть выучила немало способных людей владеть средствами войны, оставляя партии заботу о ее

цели. Вот мы и остались с генералами, умеющими руководить сражениями, но не желающими слышать, что победа в войне зависит не только от качества и количества оружия и подготовки, мужества и жестокости солдат. Русская армия могла бы выиграть у любых сепаратистов все сражения, но, чтобы справиться с чеченцами, этого мало, иначе, по соотношению сил, сразу бы справились, как и намеревался Грачев. Да только чеченцы никакие не сепаратисты, поскольку никогда не признавали себя частью России, не было у них ни Георгиевского трактата, ни Переяславской рады. А будь Россия и впрямь демократической, она имела бы сегодня лучшие, чем когда бы то ни было, шансы и с чеченцами прийти к согласию. Добрые отношения, пусть даже через границу, лучше двухсотлетней войны. Мы ведь усвоили это в Финляндии. Да и украинский "сепаратизм" начался с того, что Екатерина II обратила украинских крестьян в крепостное состояние, на что у Переяславской рады согласия наперед не спросили.

Я не стал бы поминать новому министру Тбилиси, оцени он свой трагический опыт и объясни президенту перед назначением, что из Чечни теперь надо уходить немедленно, и не ради чеченцев, а ради России, не обольщаясь обещанным Грачевым "меньшим злом", быстрой войной, обрушившей на страну горную лавину недоверия и ненависти, еще только раскатывающуюся. Он не только не объяснил, но сразу по назначении всенародно объявил, что войну прекратить нельзя. Вот и прояснилось, что в генеральском сознании Георгиевский трактат был договором не о союзе, а о подчинении и покорности. Прояснилось и более важное: генерал, конечно, не скрыл свое мнение о Чечне от президента, перед выборами обещавшего войну прекратить и даже уверявшего, что она уже и прекратилась. А после выборов иное мнение вполне уже устраивало.

Какие, казалось бы, разные жизни у Игоря Николаевича Родионова и Валерии Ильиничны Новодворской, какие разные люди! Но какие схожие инстинкты. Новодворская не скрывает: "Своя рубашка ближе к телу, а чеченцы пошли в издержки производства". Еще раньше туда у Родионова пошли грузины. Сталинское наследство не выветрилось. Но все-таки не только Буковский в Кембридже и Синявский в Париже, а 5

процентов российских избирателей, то есть более трех с половиной миллионов уже освободились от страха и сказали и Зюганову, и Ельцину: "нет!"

Ленин не зря говорил: послезавтра поздно! Он понимал, что, совершись экономические и политические реформы, получи русские мужики землю, а иноверцы и инородцы равноправие, почвы для захвата власти не станут. А нам по сей день внушают, что не царю, не Временному правительству надлежало поторапливаться с реформами, а, напротив, гражданам России сплотиться вокруг государя с Распутиным. Но причин ожидать, что в ответ он подарит все права людям, было так же мало, как нам ожидать, что Ельцин хотя бы не возобновит бомбежки и остановит падение уровня жизни.

Философия меньших зол упускает, что поощряемое зло разрастается и перестает быть меньшим. Наша история полна обнадеживавших полуоборотов, плохо кончавшихся. И опять последствия, то есть отклики людей на бесстыдно растущее зло, оставляют коммунистам надежду. Другой надежды сегодня, как и у Ленина в 1917 году, у них нет, равно как нет иной возможности их остановить, кроме как остановить растущее бесстыдство еще недавно меньшего зла, совершить наконец демократические преобразования в политике и экономике, совершить на деле, а не на словах, не для номенклатуры, а для людей. Но итоги выборов позволяют буксовать и дальше. Остается лишь гадать, сумеют ли национал-коммунисты, подобно Ленину, оседлать народное недовольство или нынешняя власть сама продолжит попятное движение к национальной идеологии, предлагаемой президентом вопреки конституции.

Ни то ни другое — не повод обольщаться.

МИР, ОЗНАЧАЮЩИЙ ВОЙНУ

В январе семьдесят шестого на пешеходном переходе меня сшибла машина "скорой помощи", и год ушел на сращивание костей. На четвертом месяце я встал на костыли, двинулся по широкому больничному коридору и вдруг заметил, что смуглый молодой человек, тоже в больничной пижаме, держа руки, словно в них автомат, целится в меня. Он повторял это потом почти ежедневно. Выяснилось, что на нашем этаже поместили двух палестинцев, привезенных из Ливана. Мой сосед по палате, немного знавший английский, полюбопытствовал, зачем в меня стрелять. "Так он ведь еврей! Пусть знает, что мы его убьем!" — объяснил палестинец. "Но он здешний", — отвечал мой сосед. "Все равно, — возразил целившийся, — всех евреев надо убить". Второй, лет сорока, был не столь категоричен: "Палестина — наша страна. Пусть евреи уезжают туда, откуда приехали, и мы не будем их убивать". "Куда же им ехать, — не унимался сосед, — их там уже в печках жгли. А в Библии и вроде даже в Коране сказано, что Палестина — их страна". "Мало ли что, — отвечал старший, — мы туда пришли, значит, это — арабская земля. Еврейской земли там нет".

О том, что немалая часть палестинской земли задолго до создания Израиля была даже наново куплена евреями у тогдашних владельцев законным, никем не оспаривавшимся образом, он и не вспоминал. Я осознал природу его ментальности лишь двадцать лет спустя, когда услышал: "Чечня — это русская земля. Чеченской земли там нет!" Ожидалось, что соглашение в Осло перечеркнет призыв "Сбросим евреев в море", и два родственных народа перейдут к мирному сосуществованию. Рабин и Перес признали право палестинцев на автономию, а в будущем, возможно, и на самостоятельное государство. Это было разумно и справедливо. Но одновременно они фактически признали не то что за будущим государством, но уже за создаваемой автономией право на этническую чистку, или, как у нас говорят, "зачистку" обретаемой территории. На то, чтобы "сбросить евреев", если не сразу в море, то на землю, считающуюся покамест израильской. Как известно, в Израиле живут сотни тысяч арабов, процент которых неуклонно растет. Они пользуются правом избирать и

быть избранными, выходят арабские газеты, открыты мечети. Ежедневно тысячи арабов имеют возможность въезжать в Израиль на заработки. При всех шероховатостях это тоже разумно и справедливо и служит возможному сосуществованию. Мир принимает это как должное, а если после очередной диверсии граница на время закрывается, и в Европе, и в России, и в Америке раздаются возмущенные голоса.

Но ни один из этих голосов не слышен, когда вместе с израильской армией с территории автономии уходят еврейские жители. Никакой надежды уцелеть на прежнем месте у них нет. Французский президент был прав, твердя в Иерусалиме своей израильской охране, что опасности нет. Для него опасности не было. Неужто ему помнить, как после провозглашения Израиля арабы, захватив Старый город, очистили его от евреев и объявили сугубо арабским. А охрана помнила. Мир был поражен преступным нападением еврея Гольдштейна на мирных арабов в Хевроне. Особенно, видимо, потому, что такое — большая редкость. А повседневные нападения арабских "гольдштейнов" на мирных евреев мир воспринимает безучастно, лишь досадует, что в ответ на очередное убийство еще двух-трех десятков замедляется вывод израильских войск.

Американский президент огорчился, что господин Перес, сочинивший дырявое соглашение, из-за каких-то взорванных автобусов с людьми потерпел поражение на выборах. Но израильтянам не отвлечься от того, что Тель-Авив ничем не отличается от ликвидируемых поселений, и если стать на этот путь, очередь дойдет и до него. Даже текст Палестинской хартии, требующей ликвидации Израиля, по существу так и не изменен. Надо бы менять позицию не только на словах, а на деле. Но покамест палестинцам явно неумоготу выполнять соглашение даже на словах.

Я не к тому, чтобы отказаться от соглашения. Российский министр иностранных дел прав: подписанные соглашения надо выполнять. Да только он упускает из виду, что народ не безмолвно глотает злоупотребления дырами в соглашениях. Убийство Рабина было, конечно, преступной формой отвержения его политики. Убийство видного генерала, героя Шестидневной войны, вызвало в Израиле почти всеобщее осуждение. Казалось, оно даже

поможет партии убитого победить на выборах. Однако новые взрывы автобусов напомнили о Треблинке, и, осуждая убийство премьера, израильтяне в законной форме, на выборах, отвергли терпимость Рабина и Переса к этническим чисткам и террору. А если после отвода войск из Хеврона убьют еще несколько сот евреев, то и нового, именуемого "правым", премьера Натанияху сочтут пустым болтуном. Если палестинские партнеры и далее будут уклоняться от соблюдения мирного сосуществования, глядишь, на следующих выборах премьером станет если не убийца Рабина, то его единомышленник, ибо никакие разговоры не заставят принимать за мир состояние, при котором людей ежедневно убивают.

Пора нам, если не во внутренней, то во внешней политике, просчитывать последствия хоть на два шага вперед. В каждом еврее, признается он в этом или прячется от себя самого, жива и долго еще будет жить память о Треблинке. Она придала особую чувствительность к национальному унижению, над которой напрасно глумятся. В минувшей мировой войне многие народы понесли тяжкие потери. По числу погибших и русские, и поляки, да, в конце концов, и немцы, никак не уступают евреям. Но, в отличие от остальных, евреев, и наравне с ними лишь цыган, убивали поголовно, а это меняет самосознание. Не остается надежды собственной гибелью защитить близких, невозможно отсчитывать возраст Израиля от резолюции ООН. Он родился в Варшавском гетто, где обреченные, без расчета на победу, осознанно оказали убийцам массовое сопротивление.

Половина российских евреев уехала, опасаясь, что иначе, быть может, придется, как безмолвные овцы, идти под охраной штурмовиков Баркашова и Веденкина в газовые камеры. Терпимость российской власти к подобной угрозе и к самому формированию штурмовых отрядов общеизвестна. И ведь не то чтобы оставшиеся уверены, что обойдется, они либо надеются на русское "авось", либо дорожат привычным укладом жизни уже больше, чем самой своей жизнью. Как ни парадоксально, ныне самые подлинные патриоты России — это не покидающие ее евреи. Им за любовь к родине, возможно,

придется умереть, тогда как рекламирующие себя "патриоты" главным образом норвят убивать.

По многим причинам России легче, чем кому бы то ни было, понять тревоги Израиля. Они чужды господину Клинтону, первому американскому президенту, следующему внешнеполитическим установкам довоенного британского премьера Чемберлена. Их трудно понять господину Шираку, зажатому между набирающими силу лепеновцами и левеющими в оппозиции социалистами, как был подобным образом некогда зажат германский президент Гинденбург. Россия, преодолев нынешнее номинальное покровительство миру на Ближнем Востоке, лучше других могла бы объяснить и Арафату, и Асаду, и старому другу Саддаму Хусейну, что мир держится на взаимности, что еврейские поселения в арабской части Палестины — не препятствие миру, а его опора, точь-в-точь как арабские граждане Израиля, а безопасность еврейских поселений — залог создания палестинского государства. При этнических чистках и терроре на территории Израиля мир, который обещан соглашением в Осло, как у Оруэлла, означает войну. Но в Треблинку, которую даже и гитлеровцы предпочли устроить втайне, на глазах у всего мира израильтяне по второму разу покорно уже не пойдут, и не стоит обращать их страну в гетто.

Господину Примакову, конечно, трудно перейти к политике, противоречащей всему, что он смолоду делал на Ближнем Востоке. Но сделаться реальной защитницей мира России мешает не министр, достаточно квалифицированный, чтобы изменить привычкам. Мешают традиции собственного государственного антисемитизма. Говорят, он пошел на убыль, возник даже анекдот: "Меняю лицо кавказской национальности на жидовскую морду". Но примечательна ярость, выплеснувшаяся по столь мелкому поводу, как назначение Березовского заместителем секретаря Совета безопасности.

Я не поклонник господина Березовского. Легкость, с которой он или господин Потанин, рекламировавшие как удачливые частные предприниматели, вдруг обращаются в госслужащих, вообще усугубляет сомнения в характере нашей приватизации. К тому же я помню, что одновременно с Березовским на первый канал

телевидения пришла великодержавная программа Невзорова и старая казенщина. Но нынешние нападки вызваны не этим. Председатель Думы Селезнев винит Бориса Абрамовича в "антирусском" перевороте на телевидении, не скрывая, что имеет в виду. Редакционная статья "Известий" полна намеков на непроявленные слухи об израильском гражданстве Березовского.

Слов нет, претендуя на выборную должность, скрывать от избирателей наличие второго гражданства негоже, ведь депутат, губернатор, президент непосредственно представляют избирателя, и тот вправе знать о них все. Другое дело служащий, нанимаемый государством, — неужто в редакции "Известий" и на телевидении не помнят, сколько иностранцев, вообще не имевших российского гражданства, с незапамятных времен состояло на российской государственной службе.

В репликах председателя Думы прорезалось родство нынешней демократии с прежним тоталитаризмом. Будь это личный промах, Селезнев бы подал в отставку. А "Известия" с невинным видом уверяют, что словосочетание "израильский гражданин" обозначает лишь иностранное подданство.

Этак скоро скажут, что и слово "сионист" обозначает лишь сторонника существования еврейского государства в Палестине, и это тоже по старому словарю будет чистая правда. Да только в современной русской печати и не так давно в самих "Известиях" оно служило синонимом слова "еврей". Вот и словосочетание "израильский гражданин", и, тем паче, слово "израильтянин", вопреки лучшим намерениям газеты, не свободно еще от того же смысла, чем и отличается, скажем, от словосочетания "болгарский гражданин", ни в каком контексте не обретающего подобного подтекста.

Наша правящая элита закоснела в давних чувствах. Они-то и мешают России на Ближнем Востоке. Она там всегда на крайних позициях, когда-то произраильских, потом долгое время антиизраильских. А пора отойти от края и не выгораживать былых пациентов наших больниц, которых мы и вооружали. Пора ясно признать, что меж арабскими лидерами, организующими этнические чистки и террор в Израиле, в том числе Арафатом, и еврейским фанатиком Гольдштейном разницы, по существу, нет. Официальная констатация этой очевидности Россией, а за

ней, как это было при создании Израиля, быть может, и Америкой и Европой, помогла бы придать двусмысленному соглашению в Осло действительно мирное содержание.

НЕСПОРОТЫЕ НОМЕРА

Анахронизм — не графа "национальность", а внутренние паспорта

Дума затеяла очередной спор с правительством и президентом. Коммунисты-интернационалисты не хотят изымать из паспортов указание на этническую принадлежность. Действительно, подвижность населения и обилие смешанных браков давно сделали биологические приметы расплывчатыми, а имена и фамилии и вовсе перепутались: куда ни глянь — русские Альберты и Ричарды. Даже русские девушки все реже бывают блондинками, а новейшие красители дарят такую возможность всем желающим. Трудно коммунистам налаживать дружбу народов, когда не сразу видно, кто из какого народа и какое место должен, соответственно, занимать. Вся надежда на паспорт и анкету с пятым пунктом.

Сохранения этого пункта хотят и руководители иных национальных автономий, опасаящиеся, что его ликвидация автоматически приведет к ликвидации автономий. Они забыли, что наше могучее государство давно проявило способность их ликвидировать, не оглядываясь не то что на паспорта, но и на людей, которых ничего не стоит выселить с обжитой земли. Но президент и министры, слывущие демократами, понимают, что изъятие пятого пункта выглядит признанием равенства людей и, стало быть, укрепляет их демократическую репутацию.

Обсуждая объявленное принципиальным расхождение, телевидение и печать вида не подают, что в главном спорщики заодно: и те и другие жаждут сохранить внутренние паспорта и, как всегда, раздувая мелочной спор, не дают людям осознать, зачем, вообще, им нужен паспорт.

Понятно, за границей без документа, удостоверяющего наше российское гражданство, не обойтись. Но в заграничном паспорте и в советские времена этническая принадлежность не обозначалась. В графе Nationality раньше писали "СССР", а теперь — "Россия". Заграничные паспорта есть в любой стране. С ними понятно. Непонятно, зачем российскому гражданину

второй, внутренний паспорт. В СССР подобный вопрос возникнуть не мог. Уже без пятого пункта было не обойтись. Читая в паспорте "калмык", чиновник сразу вспоминал, куда выслали калмыков, и отправлял владельца паспорта туда же. Но нынче, как будто, высланные народы возвращены. Опять же еврей хотел устроиться на работу, куда велено было не пущать, а пятый пункт давал возможность сразу поставить его на место. Но ведь нынче, как будто, не запрещают брать евреев на работу и даже в вузы принимают. Опять же — прописка. По паспорту сразу было видно: москвич ли ты или вселился в столицу незаконно. Но нынче, как будто, и прописка отменена. Опять же в паспорте ставили штамп о месте работы. Любой мог заявлять, что он пишет стихи или картины, а милиция видела, что штампа в паспорте нет, и тунеядца выселяла. Но ведь нынче вроде и этот закон отменен. По отдельности все назначения внутреннего советского паспорта вроде отпали, а паспорт остается, и начальство не считает нужным даже объяснить, зачем россиянину два паспорта, когда иностранцы отлично обходятся одним, заграничным.

А ведь паспортная система, разрушенная революцией, была восстановлена постановлением ЦИК и СНК лишь 27 декабря 1932 года, после ликвидации нэпа и коллективизации. Ее первое назначение состояло в том, чтобы лишить согнанное в колхозы крестьянство свободы передвижения, и крестьянам паспорта не выдавали. Между тем еще двумя годами раньше, в 1930 году, Малая советская энциклопедия объясняла: «Паспортная система была важнейшим орудием полицейского воздействия и податной политики в т.н. "полицейском государстве". Паспортная система действовала и в дореволюционной России. Особо тягостная для трудовых масс, паспортная система стеснительна и для гражданского оборота буржуазного государства, которое упраздняет или ослабляет ее. Советское государство не знает паспортной системы». Вскоре, однако, оно ее узнало, и в самом зловещем виде. Советское феодально-абсолютистское государство иначе и не могло.

Но зачем Российской Федерации, желающей слыть демократией, да еще с рыночным буржуазным хозяйством, вторые внутренние паспорта? Зачем тратить на них бешеные деньги? Ведь в своем отечестве личность

могут удостоверить самые разные документы вроде водительских прав, военного билета или пенсионной книжки. И даже национальную чистоту, волнующую думских политиков, почему-то считающихся левыми, отлично берегут метрические свидетельства, где обозначена этническая принадлежность обоих родителей, и уже не отговориться, что папа у тебя юрист. Но паспорт все равно сохраняется, как нашитый на одежде зэка номер. Для порядка. Но какого же именно?

Пятый пункт можно оставить, можно и вычеркнуть — этнические данные, как и прочие, легко зашифровать в буквах и цифрах. Но новый спор обостряет старую проблему: изменилось наше государство, как уверяет Конституция РФ, или это по-прежнему советское полицейское государство, и граждане для него — лишь тягловый скот, на который приходится навешивать бирки и номера? Неслучайно ведь милиция даже ходит уже не в форме, а в камуфляже, словно за углом идет война. Если бы вторые, внутренние паспорта упразднили, это стало бы началом перемен, а коль скоро они остаются, с пятым пунктом или без него, мы все равно движемся по пути, избранному в 1932 году, — по сталинскому пути.

ЗАТЯНУВШИЙСЯ ПОСЛЕДНИЙ ДОЛГ

Грешно ради политических выгод манипулировать покойниками

Все не кончаются толки об останках Николая Романова и его семьи. О докторе Боткине и слугах вспоминают реже. Скажем сразу: преступным было бессудное убийство не только челяди и врача, не только царевен, царевича и царицы, за которыми тоже нет состава преступления, но даже и самого Николая. Вину и наказание бывшего царя, своей политикой вызвавшего три революции, справедливо определил бы не уральский ревком, а открытый судебный процесс, как в других странах. Уже долгое уклонение от суда над Николаем было преступным бездействием, и пора бы разобраться, почему большевики так себя повели.

Теперь поправить ничего уже нельзя. Посмертная реабилитация имела смысл лишь при власти, объявлявшей инакомыслящих преступниками и распространившей это клеймо на их труд и детей. Несчастливым девушкам и даже их отцу советская реабилитация ни к чему. Можно лишь предать тела земле, совершив, коль скоро они были православными, положенный обряд, если ныне за это возьмется какая-нибудь из русских православных церквей или хотя бы сыщется священник, готовый их отпеть.

Но от этого естественного финала мы все еще далеки. Останки потащат в Москву для дальнейших исследований, словно их нельзя провести на месте, потом обратно, и лишь потом будет решено, где хоронить. Екатеринбургский губернатор готов провести похороны на месте, но разгорелся спор о месте похорон, то есть о том, кому останки несчастных послужат лучше.

Легче всего понять Лужкова. Он полностью отождествил Россию со столицей и весьма досадует, что многие важнейшие мгновения истории отечества не связаны с Москвой. Если прах Анны Павловой, всей славой принадлежащей Петербургу, возвращают из Лондона, ставшего ее вторым домом, не в Петербург, а в Москву, если телеканал "Культура", назначенный президентом вещать из "культурной столицы" Петербурга, тоже магическим образом вещает из Москвы, то Николай,

с Москвой ничем особо не связанный, по крайней мере, на царство венчался в Успенском соборе и опять же Ходынку здесь допустил.

Я бы только советовал Юрию Михайловичу поместить прах Николая не в храме Христа Спасителя, а в мавзолее Ленина, благо после Сталина место свободно. Общая могила Владимира Ульянова и Николая Романова стала бы символом не только всеобщего согласия, за которое ратует власть, но и реального единства последователей того и другого в борьбе с либеральными ценностями. Уже и в 1917 году оба они искореняли либерализм (но еще с разных сторон), а теперь коммунисты и монархисты выступают вместе и проводят общие митинги, где рядом плещутся царские и красные знамена. Лужков бы всем угодил.

Но вождь коммунистов Зюганов и другие вожди требуют похорон в петербургском Петропавловском соборе, где лежат другие цари. Среди них немало убитых: и Петр III, и Павел I, и Александр II, и даже Николай I, видимо, все же покончивший с собой, однако все в царской должности, так сказать, при исполнении служебных обязанностей. Но Николай II, когда его убивали, был уже не царь, а больше года как бывший царь. Он отрекся еще 2(15) марта, и принял его отречение не коммунист Троцкий и не либерал Набоков, а Василий Витальевич Шульгин, свой в доску национал-патриот, отлично смотревшийся бы в нынешней Думе рядом с Сергеем Бабуриным. Не странно разве, что мало кто вспоминает ныне царское отречение, но все охотно рассуждают о цареубийстве?

Из того, что большевики преступно убили бывшего царя, никак не следует, что они убили царя, что они его свергли, хотя и твердили: "Долой самодержавие!" Отстранили царя от власти другие, да и сам он отстранился от власти, с которой уже не мог совладать, и хоронить его, отрекшегося от престола, в Петропавловском соборе, где хоронили царей, значило бы исправлять историю, делать вид, что, невзирая на отречение, он все равно продолжал быть царем.

Это делают, чтобы окончательно затуманить в народном сознании память о том, что самодержавие потерпело крах. Не государь Николай Александрович, а самодержавие, абсолютная власть монарха как общественный институт. Вот царь и отрекся не только за

себя, но и за сына. И оказавшийся наследником Михаил Александрович тут же отрекся. При новых экономических отношениях самодержавие не в состоянии было считаться с объективными нуждами страны и волей ее граждан. Прислушайся царь еще в 1903 году к совету С.Ю.Витте и проведи аграрную реформу, быть может, вся история XX века сложилась бы иначе. Но то-то и оно, что хозяин земли русской не мог дать землю мужикам. Вот и набирала силы великая крестьянская, а вовсе не пролетарская, революция, новая пугачевщина, которую Ульянов (Ленин) талантливо оседлал и при всеобщей смуте направил, куда вздумал. А в результате белому самодержавию семьдесят с лишним лет противостояло красное самодержавие. Теперь и оно, тоже не считавшееся с объективными нуждами страны и волей граждан, рухнуло, и пора понять, что считаться с людьми не на словах, а на деле может лишь подконтрольная гражданам власть. И наш первый опыт создания либерального общества окончился неудачей потому, что Временное правительство колебалось, не сохранить ли монархию, провозгласив ее конституционной и, главное, сверх меры затягивало созыв Учредительного собрания. Почти как семьдесят с лишним лет спустя, когда правление опять стало авторитарным.

Но не гоже и дальше ради своих выгод манипулировать покойниками и кромсать трупы, идет ли речь об Ульянове или о Романове. Как ни относиться к мертвым, у живых есть долг предать их земле. Последний долг. А потом председатель похоронной комиссии мог бы сосчитать, сколько у одинокой работницы после оплаты жилья остается на хлеб, и не лучше ли бы хоть часть отпущенных на царские похороны миллиардов потратить на помощь бедным и голодным.

НЕУВЯДАЕМАЯ ТРАДИЦИЯ ПРОИЗВОЛА

Свобода людей начинается с ограничения власти

Известное дело: до Бога высоко, до царя далеко. До царя, до президента, до Совета федерации, до Государственной думы, до губернатора и даже до городского законодательного собрания. Откуда им знать, что подъезды загажены, в троллейбус не влезть, а письмо в Москву из Петербурга идет неделю. Вот нам и внушают, что жить стало лучше, жить стало веселей. Питерский губернатор на всю Россию заявил, что с января 1997 года хлеб в городе дешевет; но, к сожалению, покупая хлеб самолично, я знаю, что это неправда. Нужна бы, наверное, власть, тоже покупающая хлеб самолично, пользующаяся троллейбусами и входящая в подъезды обычных домов. И в сферах додумались такую власть учредить.

Но сказывается главная закономерность нашей жизни, подмеченная еще основателем советского государства: по форме — правильно, по существу издевательство. Это, по-моему, самое глубокое из ленинских наблюдений. Зря только Ильич употребил выражение "по форме", форма у нас никогда не была в чести. Сказал бы лучше "по плану", "по намерению". Благие намерения, завлекательные идеи постоянно обращаются у нас в издевательство. Началось с намерения создать общество, где "свободное развитие каждого является условием свободного развития всех", а пришло к требованию приносить все личное в жертву государству.

Проводя в Петербурге выборы органов местного самоуправления, город произвольно поделили на муниципальные округа и развесили списки, из которых нельзя было понять, каковы взгляды и стремления кандидатов. В итоге выборы пришлось признать несостоявшимися. Официально голосовало 16 процентов. Но в Петербург входит ряд обособленных поселений, составивших отдельные округа, где, естественно, явка была нормальной. То есть собственно в городе голосовало даже меньше 16 процентов. На искусственные округа город ответил бойкотом. Но и губернатор, и представитель президента стояли на своем, твердя, что горожане себе же хуже сделали, поскольку на повторные

выборы пойдут деньги, предназначенные на конкретные нужды. Как говорилось в советские времена: "Сами себя задерживаете, товарищи!" Законодательное собрание тоже сказало свое слово и отменило рубеж в 25 процентов для признания выборов действительными. Теперь, если в январе проголосуют хотя бы только сами кандидаты, новую муниципальную власть объявят законной.

Нет, чтобы проверить себя: скажем, совместить муниципальный округ с территорией, обслуживаемой жилконторой. Может быть, двумя, тремя жилконторами, но чтобы у людей, проживающих в округе, были хоть какие-то общие интересы. Но девиз городской власти прежний: что хочу, то и ворочу. Обкомы и райкомы, конечно, тоже не считались с людьми, но при государственном терроре все помалкивали. А нынче свобода: больше восьмидесяти четырех процентов протестует. Но власть все равно делает по-своему. Прежде лицемерили, а теперь открыто не считаются с людьми.

Свобода людей начинается с ограничения власти, ограничения ее произвола как по отношению ко всем жителям вместе, так и к отдельным гражданам. Право предполагает правила, процедуры, которые власть обязана первой соблюдать. Только соблюдая их, она в состоянии справедливо наказать частное лицо, нарушившее закон. Но власть, сама нарушающая закон и чинящая произвол, становится незаконной, и этим дает гражданам повод следовать о примеру. Нынче охотно рассуждают о преступности и забывают, что она вскормлена многолетними преступлениями государства. Пока власть цинично демонстрирует, что законы и правила ей не писаны, люди не станут законопослушными, а обществу без этого не жить.

Бывшего мэра Петербурга задержали на улице, чтобы, как было объявлено, допросить в качестве свидетеля по делу о коррупции. Омоновец разъярился по телевизору, что ничего особенного не стряслось, ребята подошли и предложили сесть в машину, а что стояли кругом, так ведь там все время кого-то хватают. А еще и по телевидению, и в местной печати давали понять, что хоть вызывают бывшего мэра как свидетеля, но на него самого компромата хоть отбавляй.

Не хочется обсуждать непредъявленные обвинения, но трудно представить, чтобы глава города и его первый

зам, почти три года работая рука об руку, могли не замечать друг за другом преступной деятельности. Либо оба ею занимались, либо ни один, и пока не доказано иное, нужно исходить из презумпции невиновности. К тому же вызов свидетеля не повесткой с назначенным временем явки, вручаемой под расписку, а захватом на улице выдает отсутствие достаточных для обвинения фактов. Но таков старый советский обычай: если посадить, обвинение найдется.

Необычно лишь то, что бывший мэр, перенеся при аресте и допросе сердечный приступ, ускользнул для продолжения лечения за границу. Но уже реакция на это возродала былой дух. Давнему недругу бывшего мэра Юрию Шутову дали возможность объяснить по телевидению, что хоть и были все документы для выезда законны, прапорщику надлежало придраться к тому, что какая-то буква неразборчива, и задержать вылет часа на три, даже на сутки, а там бы разобрались. И постоянный ведущий программы государственного телевидения не счел нужным хотя бы оговорить, что таково частное мнение одного господина Шутова. То есть нам открыто дали понять, что государству, во всяком случае в Петербурге, нечего считаться с законом, который говорит в пользу гражданина.

Ленинград–Петроград–Петербург не только поражал неповторимой красотой, но и подавал России примеры. Это и революция, и разгон Учредительного собрания, и особый размах сталинского террора, и текущая жизнь здесь была куда жестче, чем в Москве. И вот опять представительные органы создаются как чисто показушные, опять новый начальник расправляется с предшественником, которому обязан возвышением, опять коммунисты отмечают свой праздник в парадной зале Смольного. А уверяют, что коммунизм давно кончился, и нынешнее начальство совсем иное, чем в былые времена. Как бы не так.

МИФОЛОГИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЖИЗНИ

Когда я был на третьем курсе медицинского института, возник психиатрический кружок, — проходили психиатрию только на пятом курсе, — но по своим гуманитарным интересам я немедленно в кружок записался. Он собирался в кабинете заведующего, и впервые туда войдя, я заметил, что кресла привинчены к полу. Это оставляло трудное впечатление. Вел кружок известный московский психиатр, и он сначала сказал: "Коллеги, вы должны помнить, что граница меж душевной болезнью и душевным здоровьем очень относительна, и даже неизвестно, есть ли она вообще". Шло начало 1945 года, и было ясно, что войну мы выиграли. Наш психиатр лишь предупреждал от чрезмерного педантизма, и я запомнил его призыв к осторожности.

Политики делили мир на правильный и неправильный, устанавливали правила и нормы и призывали русских жить, как французы, а узбеков, как русские. Правила признавали, но люди жили как-то по-своему. Не вполне по логике. Пророк Моисей предписывал, а бог диктовал дополнительную правду. Приходилось изучать факты, не довольствуясь видимостью, и делать выводы из сопоставлений. Сама их противоречивость нуждалась в объяснении.

Люсьен Леви-Брюль, сто лет назад разработавший представление о пралогическом мышлении, которое порой называл мистическим, подчеркивал, что такое мышление, не связанное логикой, не ощущающее противоречий, присуще не только первобытным людям, но и современным. Он оговаривал, что первобытные люди, когда доходит до их личной практики, мыслят не менее логично, чем люди нового времени. Пралогическое мышление, в противовес логическому, сохраняющемуся за личностью, Леви-Брюль связывал с коллективными представлениями. Здесь, возможно, надо уточнить, что массовые представления часто складываются на почве установок, которые ход коллективной жизни задает пралогическому сознанию, и следуя их установкам, человек, первобытный и современный, творит мифы и попадает под их власть.

Двадцатый век обнаружил в человеческом сознании пралогичность. То, что мы привыкли считать рациональным, часто совсем не таково. Есть множество утопий, хорошо структурированных и даже пленяющих стройностью, но остающихся утопиями, в которых невозможно разобраться, отвлекаясь от пралогического мышления их приверженцев. Примеры новейших мифологий бесчисленны. Их плодят не только религиозные секты, но и растущие технические знания, стимулирующие верования вроде летающих тарелок. Но особо примечательно проявление мифологического сознания в сферах, еще недавно принадлежавших почти исключительно рациональному. Вторгаясь туда, трансформируя логическое сознание и выступая мифологическим, сознание ощущимо проступает в социальной и политической сферах.

Не то чтобы прежде оно туда не проникало. Уже XIX и особенно XX век внесли в не связанную с религией и даже ее отвергающую рациональную форму политического мышления подпольную иррациональность. Возникли утопические представления о совершенном обществе, о справедливом мире, где все заняты физическим трудом, на которые и опиралось коммунистическое движение. Возникали утопические идеалы расовой чистоты, питавшие национал-социалистическое движение, не только немецкое, или утопические идеалы религиозной чистоты, особенно наглядные в исламском социализме и исламском фундаментализме, да и на языках других религий.

Эти утопии, религиозные или светские, носят, как правило, тоталитарный характер, не оставляя места другим воззрениям, ни рациональным, ни мифологическим. Иные взгляды вынуждены существовать подспудно, втайне. Но когда реальность, формируемая тоталитарной идеологией, приходит к кризису, и уже не в состоянии объяснить происходящее и наметить пути к реальному преодолению кризиса, люди не просто начинают рационально мыслить. Разрывая с прежними мифами, они творят новые, и связанные и не связанные с ним. Утопия, при попытках ее осуществить, конечно, проверяется реальностью, и даже теоретически можно, пусть и не будучи услышанными, обнаружить ее несостоятельность. Но не всякий миф, в отличие от

утопии, предлагает целостный проект общественного устройства, он часто живет отдельными представлениями тех или иных человеческих групп. Еще сто лет назад Жорж Сорель справедливо считал, что миф, в отличие от утопии, бессмысленно опровергать, поскольку он выступает как элемент социальной реальности. Жаль только, что Сорель не считал нужным прояснять реальность социальных мифов, их природу и происхождение, а тем самым их содержание обретаемый ими в социальной жизни смысл. После крушения веры в утопию многие держатся за мифологическое сознание опрокидываемое жизнью, подхватывая элементы других верований. Такое сознание владеет множеством людей России и ощутимо сказывается на происходящем.

Длительный кризис советского общества так и не получил адекватного объяснения в общественном сознании, поскольку сколько-нибудь широкое очищение от прежних представлений так и не имело места. Крушение советского хозяйства, обусловившее инициативы Горбачева, и, вообще, перестройку, люди встретили, не сознавая происходящего, сводя кризис общественного производства к индивидуальным недостаткам лиц, занимавших важные посты, к их корыстолюбию и некомпетентности. К тому же тоталитарные утопии как явление, в России всерьез почти не исследовались, не обсуждались ни их различия, ни причины их разительного сходства. Даже о внутренней политике немецкого нацизма, разгромленного Советской Армией, советские граждане знали очень и очень мало. Не исследовалось, по существу, и соотношение утопических надежд с той реальностью, к которой они приводили. А без этого не понять, что происходит с общественным сознанием при крушении утопии. Но это не причина предполагать, что в нем ничего не происходит, как полагают многие нынешние политики, уверенные, что в России нет общественного мнения, что народ одинаково относится к разным течениям в правящем слое, считая политические споры внутренним делом. А сам этот слой мыслит себя элитой общества, высокомерно пренебрегая мнениями и интересами рядовых людей. Уже тут видно, что сознание правящего слоя оторвано от реальности.

Но отвлечение от нее свойственно не только российскому сознанию. В социалистическом Китае,

прагматик Дэн с немислимой в социалистической России прямоотой признал, что цвет кошки не столь важен, как ее способность ловить мышей, и допустил частично свободную экономику. Но наши государственные предприятия остаются убыточными, несообразными с окружающей реальностью, то есть остающаяся под прямым управлением государства часть хозяйства так и не научилась ловить мышей.

Уже отсюда видно, что рациональное сознание возможно лишь при определенной независимости мысли, а привязанность сознания к государству, даже вроде желающему рациональности, ведет к иррациональности. Причина не в глупости или некомпетентности руководителей. Невозможно отрицать, что в число руководителей СССР подчас попадали и одаренные и образованные люди, но и они не могли найти рациональных решений, поскольку в слитном с государством монопольном хозяйстве, где уничтожена экономическая стихия, у рационального сознания нет опоры в реальности, а никакому гению одной логикой не обойтись. Дурны были не люди, а система, портившая людей.

Идеология социалистической России именовалась научным коммунизмом, но уже перемены в идеологии не имели ничего общего с наукой, их директивно спускали в резолюциях съездов партии и постановлениях ЦК, уводя идеологию от всякой научности, даже если считать сочинения Маркса в полной мере научными. Не случайно и сама наука становилась частью идеологии, и принципы генетики, физиологии, кибернетики тоже определялись решениями государства. Однако и в нынешней России, вроде бы отвергшей научный коммунизм, и снявшей ограничения свободы слова, все еще пренебрегают реальностью, и причина тому — мифологическое сознание.

Мифологическим персонажем был уже и последний русский царь Николай Романов. Расстрел его семьи был, несомненно, преступлением. В отличие от британского парламента и французского конвента, наши центральные органы и лично Ленин и Свердлов уклонились и от вынесения царю законного приговора и от оправдания членов его семьи, не говоря о враче и слугах. И не думая о вековом крепостническом хозяйстве огромной страны.

В этой связи важно понимание в России политического понятия "левый". "Левой" издавна называли радикальную, желавшую перемен, нередко даже насильственных, часть политического спектра, а "правой" — консервативную, стремящуюся, тоже не чураясь насилия, удержать положение. Во Франции, где эти понятия возникли, "правой", реставрированной королевской власти и ее сторонникам, противостояли "левые", буржуазные силы. Потом места на левом фланге заняли мелкобуржуазные и рабочие партии, а крупная буржуазия сместилась вправо. Социалисты и коммунисты, естественно, сидели слева, и "левым" можно назвать итальянца Антонио Грамши. Но нелепо с ним равнять Сталина или Брежнева или нынешних коммунистов Зюганова, Анпилова или Тюлькина. А их продолжают так называть, игнорируя коренную трансформацию, которую коммунистическое движение в России претерпело, правя более семидесяти лет. Такое у нас мифологическое сознание. А известно, что запрещено у нас было "левое" искусство, непременный спутник "левых" политических движений на западе, да и вообще политические принципы, которые "левые" в буржуазных странах предъявляли власти, советская власть в России отвергала и объявляла буржуазными. И сама "левая" партия, взявшая в 1917 году власть, вскоре была почти поголовно физически истреблена и заменена под тем же названием фактически другой партией, составившей тоталитарную систему, советский консерватизм. Политические наследники этой другой партии, и сегодня жаждущие вернуть Россию к авторитарному правлению, являются, конечно, "правыми" и не зря действуют заодно с крайними великодержавными шовинистами. Но зовут они себя "левыми"! Советское мифологическое сознание продолжает жить и в постсоветскую эпоху.

Само представление о революции, как о переходе к новому обществу, у нас несообразно с опытом других революций. Английская и французская насильственно устраняли созданные старым обществом препоны социальному развитию. При всей своей жестокости они служили реальной демократизации. А в российском мифологическом сознании революция не просто устраняла отмершие институты, но способствовала насильственному построению дисциплины.

Говорят: коммунистическая идея прекрасна, но ее плохо осуществляют. Уверяют даже, что за ее осуществление брались злодеи, в число которых вошли и Ленин, и Сталин, и Хрущев и даже Горбачев. Но мифологическому сознанию важно понимать, почему прекрасная идея за полтора столетия так нигде и не воплотилась, но всюду вела к тоталитаризму. Мифологическому сознанию нет дела до того, осуществима ли она вообще, не в царствии небесном, а на земле, и, главное, мифологически мыслящие люди, а многие из них искренне противостоят циникам и корыстолюбцам, не задумываясь, что на деле происходит за фасадом коммунистического мифа, в который они верили, а то и продолжают верить.

В дни восьмидесятилетия Октябрьской революции многие ее противники говорят, что никакой революции не было, лишь переворот. Учредительное собрание держалось до разгона 6(19) января 1918 года. До 6 января не было оговорено, что Учредительное собрание не располагает в свободном Собрании никакой силой. Но в результате Октябрьской революции, власть в Собрании перешла к большевикам, составлявшим меньшинство правящей партии. Но так или иначе судьбу СССР определял не один рабочий класс, но и крестьянство. Можно обсуждать, как судьба крестьянства разрешилась и в чем состояли социальные проблемы страны. Большинство населения зависело от социальных проблем. Если смотреть не на мифологические лозунги, а на реальных ее участников, легко убедиться, что революция была крестьянской, уже потому, что большинство недовольных, как и большинство населения страны, составляли тогда крестьяне. Она опиралась на их поддержку. В ходе гражданской войны крестьяне нередко предпочитали продрозверсту и жестокость красных, сперва казавшуюся им временной, жестокости белых, требовавших возврата земли господам и прежних порядков. Есть резоны упрекать крестьянство в недалекости, которая начиная с 1929 года его губила, но Октябрьскую революцию это не образумило.

Вождь революции Ленин был преображен мифическим сознанием. Недавно на государственном телеканале дискутировали, как быть с лежащими в мавзолее останками Ленина. Половина выступавших

уверяла, что Ленин — выдающийся человек, что страна кругом ему обязана, а гигантские жертвы не умаляют величия его дел, и потому надлежит сохранять его останки. Другие, напротив, беспощадно клеймили Ленина, говорила о преступном характере и страшных последствиях его дел и требовала выбросить его из мавзолея. Однако ни те, ни другие не заикнулись о том, в какой мере погребение в мавзолее отвечало собственным взглядам Ленина, убежденного атеиста, ужаснувшегося бы, вероятно, выставлению своих останков в качестве святых мощей по религиозному образцу. Никто не сказал, что оно было, в сущности, надругательством над покойником, и Сталин, обучавшийся в религиозной семинарии, совершил это надругательство из политических расчетов. Казалось бы, люди, объявляющие себя идейными сторонниками Ленина, первыми должны бы ратовать за избавление их покойного кумира от этого надругательства. Но то-то и оно, что это просто не шло им в головы, в которых выставление мощей означало высшую форму почитания покойника. Все они исходят из нынешней расстановки сил, думая лишь о том, кому вынос Ленина из мавзолея даст политические преимущества. Реальный Ленин с его реальными взглядами и стремлениями, надеждами и нелепостями, не интересуется ни воспевающих, ни проклинающих. И для тех и для других он не участник социальной борьбы, со своими целями и методами, как к ним ни относиться, а всего лишь мифологический персонаж.

Его считают последователем теории Маркса (не будем здесь выяснять, в какой мере верна эта теория), но основные положения Маркса Ленин коренным образом ревизовал. Маркс говорил о революции в высокоразвитых странах, Ленин — о революции в отсталой стране, в "слабом звене", Маркс — о совершающей революцию пролетарском большинстве, что по его представлениям позволило бы быстро перейти к демократическому порядку (само понятие "диктатура пролетариата", как к нему ни относиться, в устах Маркса означало диктатуру большинства над меньшинством), а Ленин, говоря о "диктатуре пролетариата", прекрасно знал, что пролетариат в России составляет явное меньшинство.) По Марксу при социализме государство должно отмереть, что теоретически признавал и Ленин, но фактически, проводя

"пролетарскую" революцию в крестьянской стране, Ленин способствовал непомерному увеличению власти государства над обществом, практическому растворению общества в государстве, а Сталин оформил это теоретически, объявив, что социализм требует усиления власти государства над гражданами, поскольку строится не разом во всех развитых странах, а в одной, отдельно взятой слабо развитой.

И все же Ленина считают марксистом, а существовавший у нас порядок — социализмом. Никто не хочет знать, почему наш и другие виды тоталитарного социализма, опиравшиеся пусть не на классовую, а на расовую или религиозную мифологию, возникают в странах, обремененных тяжелым грузом феодальной реакции. А хоть расистские идеи раньше немцев развивали француз Жозеф-Артюр де Гобино и англичанин Хаустон Стюарт Чемберлен, позднее переселившийся в Германию, возобладали эти идеи не во Франции и не в Англии, а больше в обремененной феодальными пережитками Германии. Точно так же утопические идеи, сложившиеся у Маркса в пору его жизни в Рейнской долине, наиболее развитой среди немецких земель, а в основном разрабатывавшиеся им в Англии, имели в Англии небольшое влияние, в Германии большее, но не возобладавшее, а знамена преобразований взлетели в России, в Китае, в некоторых странах Латинской Америки. Дело, стало быть, не в идеях самих по себе, и мифологическое сознание не первопричина того, что коренные перемены в нашей стране не очень совершаются.

Но кто может спорить, если не одни противники декларируемых перемен, но и объявляющие себя их сторонниками мыслят у нас мифологически. Уже это побуждает пристальней взглянуть в происходящее, подумать, что оно собою представляет. Противники перемен именуют себя патриотами, сторонники — демократами, одни ссылаются на феодальные и советские традиции, другие — на западные. Но самоназвания и знамена заслоняют то, что противоборствующие стороны, и, в частности, высшие руководители, как правящей, исполнительной, так и оппозиционной власти, все еще принадлежат к прежней

высшей коммунистической номенклатуре, все они коммунисты высоких рангов.

Конечно, переход от одного порядка к другому не может совершиться с полной заменой людей в администрации. Если послевоенная Германия не обошлась без чиновников, служивших фашистскому государству, хоть и не запятнавших себя лично конкретными преступлениями, тем более в России, где коммунистический новый порядок существовал не двенадцать лет, а три четверти века, полная люстрация была бы затруднительна. К тому же люди и впрямь могут измениться и изменить свои взгляды, и не было бы ничего удивительного, окажись среди реформаторов и бывшие коммунисты. Но то, что руководство "нового" общества осуществляют почти исключительно люди, принадлежавшие к правящему слою старого, то, что заметного места среди них не занимают ни открытые борцы со старым порядком, ни даже люди, державшиеся прежде в стороне, явно свидетельствует, что происходит нечто иное, чем провозглашается, что на смену коммунистической мифологии пришла псевдо-демократическая мифология, а отнюдь не реальная демократия.

Поэтому преодоление мифологического сознания, а точнее, понимание реальных смыслов новых мифологических понятий, было и остается важнейшим условием подлинно демократических преобразований в России, важнейшей гарантией от нового укрепления тоталитарного или авторитарного режима, пусть под иным, чем прежде наименованием. Конечно, его преодолению не благоприятствует ни отсутствие у демократической оппозиции своей печати — она вся в проправительственных или открыто коммунистических руках, ни абсолютный контроль над телевидением и радио. Преодолеть все это можно только усилиями граждан России, только развитием их самосознания, и для этого нужно время, а трудно сказать, будут ли достаточно долго сохраняться хотя бы нынешние, весьма ограниченные возможности свободного слова, возвращающего людей к реальности, без ощущения которой мифы всеильны.

Оптимистическое объяснение происходящего в России, изложил Борис Куракин, пессимистическое, —

Александр Зиновьев. Мой анализ тоже пессимистичнее, чем у Куракина, но по совсем другим причинам, чем у Зиновьева. По-моему в России еще не произошли коренные перемены, еще не совершились реформы, необходимые для преобразования страны. Величие тут ни при чем, Россия — навсегда великая страна уже потому, что это родина Гоголя, Толстого, Достоевского и Чехова, совершенно так же, как Италия — навсегда великая страна, поскольку там родились Леонардо и Тициан.

Русский народ готов к переменам, но они не происходят потому, что у власти по-прежнему коммунисты. Эти коммунисты, конечно, не совсем такие, как Зюганов, Тюлькин и их последователи. Это коммунисты, так сказать, перестроившиеся. Они даже в чем-то пошли навстречу объективной реальности, вот Зиновьев может нынче ездить в Россию, и возвращаться в Германию, а я смог приехать в Милан, о чем и не мечтал десять лет назад. Но государство продолжает быть хозяином всего и вся. Произведенная приватизация не была подлинной, объявленное частным по-прежнему кругом зависит от государства. Огромные налоги не дают развиваться свободной экономике. Средства массовой информации, особенно радио и телевидение, тоже подконтрольны государству, и люди не слишком-то могут судить о вещах свободно и самостоятельно.

Александр Зиновьев напрасно бранит русский народ. В условиях, когда государство полгода, а то и дольше, не платит зарплату, русский народ хранит долготерпение, не соблазняясь импульсивным и бесплодным ответом, и бранить за это не стоит. Люди понимают, что происходит, и не хотят снова быть обманутыми. Авось, обман не пройдет. Но окончательно еще ничего сказать нельзя. Надо анализировать, а не витийствовать.

К ДВУХСОТЛЕТИЮ СМЕРТИ БЕРКА

Про Эдмунда Берка в России знают, главным образом, историки, да и они его преимущественно знают, как обличителя французской революции и всякой вообще революции. Как видный либеральный деятель, защитник религиозных меньшинств, он известен у нас сугубым специалистам. Но его суждения об ужасах революции Россия может подтвердить собственными, еще более ужасающими доказательствами.

Революцию как способ социальных преобразований ныне справедливо осуждают. Ведь и в самом деле взрыв — не лучший метод ремонта. Но осуждающие не дают себе труда задуматься, отчего революционные взрывы по-прежнему происходят. В последнее десятилетие общественные проблемы отданы в России политологам, словно политика движима лишь личными прихотями, и важно только половчей пропагандистски обслужить или, напротив, осудить власть, а социальных и хозяйственных реальностей, подлежащих осознанию, как бы вовсе и нет.

Хорошо было Берку обличать французов, живя в Англии через сто лет после тамошней Славной революции и почти полтора столетия после революции Кромвеля. Ведь именно установленный этими революциями общественный порядок Берк и совершенствовал, заседая в парламенте. Но большинству французов его разумные доводы, к сожалению, в головы не шли по той простой причине, что король Людовик XVI, хоть и ощущал неладное и даже обратился за помощью к серьезному экономисту Тюрго, принять начатые им было реформы не смог. Не по глупости не смог, а потому, что их не хотел подпиравший короля правящий класс, которому ради предотвращения революции пришлось бы многим поступиться. И ведь английский король Карл I тоже не шел на коренные реформы, отчего и в Англии, задолго до Берка, разразилась революция и королю отрубили голову. И в России тоже в 1903 году С.Ю.Витте подал в отставку оттого, что Николай II отказался провести аграрную реформу, вот вскоре и грянула революция, а двенадцать лет спустя вторая.

Пора сознавать, что революции вызывают не Мирабо и Робеспьеры, не Ленины и Троцкие, а Карлы, Людовики и Николаи. Неэффективность советского порядка

фактически признана, но вместо того, чтобы перейти к реалистической социологии и экономике, у нас все еще веруют, что мира и согласия, или, как недавно еще говорили, нормализации, можно добиться вооруженными действиями по образцу Венгрии, Чехословакии, Афганистана, Тбилиси, Вильнюса, и при нынешней власти Грозного и Самашек. Не зря ключевая роль в хозяйстве возложена на министра внутренних дел Куликова, умирившего Грозный и Самашки. Но страна, хоть как-то развивающаяся, держится на поспевающих за обновлением хозяйства и техники переменах в социальных и экономических отношениях. Насильственное установление стабильности для страны самоубийственно. За ее многолетнее поддержание мы и расплачиваемся.

Стоит помнить, что в России так и не свершилась настоящая буржуазная революция, что ее не заменило ни освобождение крестьян без земли, ни аграрная реформа Столыпина, ни события 17 года, когда после Февраля не спешили созвать Учредительное собрание, а после Октября хоть и созвали, да разогнали, и двинулись в обратном направлении, вплоть до фактического восстановления крепостного права.

Хорошо быть либеральным консерватором после буржуазной революции, но опасно — вместо нее. А нынешние российские консерваторы, об английской ничего не знающие, хотят именно ВМЕСТО, и, произнося похожие, хоть и не столь блестящие, фразы о пагубности революции, норовят удержать страну от бескровных преобразований, создавая лишь их видимость.

Обличение Берком французской приватизации вполне приложимо и к российской, но при двух существенных отличиях не в нашу пользу. У нас государство осталось владельцем контрольных пакетов подавляющего большинства сколько-нибудь крупных предприятий, а, главное, у частного производителя в России нет реальных гарантий от произвола государства, без которых частная деятельность не может быть надежной. Вот и нет у нас новых Путиловых и Рябушинских, строящих заводы, а есть только "новые русские", делающие деньги в посреднической и подобных сферах, уместных лишь ради частного производства.

Увы, из английской истории России стоит вспоминать не так Берка, как Симона де Монфора, за полтысячелетия до него создавшего парламент, представлявший разные социальные слои, а не просто, как у нас, разные группы прежней номенклатуры. Берк справедливо обличал революцию, но не знал способа ее предотвратить, однако за протекшие двести лет можно было убедиться, что предотвращают ее только своевременные и глубокие реформы. В том и беда, что правители от них по мере сил уклоняются и особенно наглядно в нынешней России.

ПРОСТРАНСТВО ПАТРИОТИЗМА

Увидав по телевизору публичную казнь в Грозном, я сразу вспомнил первую виденную мною публичную казнь, правда не по телевизору, а в кинохронике, то ли после войны, то ли в самом ее конце. Четырех немецких офицеров вешали, кажется, в Харькове. Не то что было их жалко, не то что они были невинными жертвами. О происходившем на оккупированных территориях было известно не только из газет, и обвинение выглядело достоверно. Приговоренные вызывали глубокую неприязнь, если не отвращение. Но когда их вздернули, и они, уже мертвые, раскачивались, я ощутил, что происходящее, хоть вроде и справедливо, но несообразно с нормами людской жизни.

Раньше я думал, что Каменева или Бухарина, которые мне не нравились, расстреляли все же несправедливо, поскольку даже по опубликованным в газетах протоколам суда было видно, что их вину грозный прокурор Вышинский так и не доказал. А тут впервые открылось, что казнь, даже и несомненных преступников, явление ненормальное, поскольку государству ради нее приходится встать с преступником на одну доску. В средние века казнь потому и совершалась публично, что была явлением исключительным, редким. Когда принялись казнить повседневно, поняли, что показывать эго публике опасно.

Люди на харьковской площади были спокойны. Оборонительная война внушила, как ныне чеченцам, что убийство — лучший способ самозащиты. Публичные казни совершались у нас тогда не раз, и что-то не припомню, чтобы кто-нибудь официальный, пусть поздней, когда разоблачали культ личности или еще поздней, когда отрекались от коммунизма, осудил эти публичные казни. А чеченскую осуждают единогласно, и не так даже саму казнь, как ее публичность, хотя в Харькове тогда народу было больше.

Никто при этом не поясняет, чем выстрел в затылок на Лубянке лучше автоматной очереди в лицо на площади. Осуждение именно публичности требует лишь не нарушать при казни интимность. Разумеется, показывать публике расстрелы не следует, но в том, что вся Россия видела чеченский расстрел, виноваты не чеченцы, а

руководители телевизионных каналов, наново распалаяющие дурные чувства к Чечне.

Генеральный прокурор даже возбудил уголовное дело против шариатского суда, надеясь все же установить в Чечне конституционный порядок. Его правосознанию шариатский суд не кажется достаточно объективным. Но разве объективности служит обыденное у нас неопределенно долгое предварительное заключение подследственного? А что-то не слышать, чтобы прокурор Скуратов возбудил по такому поводу дело. Сталинские тройки отвечали правовому сознанию еще меньше, чем шариатский суд, а иные их члены живы. Но опять же не слышать, чтобы товарищ Скуратов возбудил дело хоть против одного. Установился двойной счет. Один для государства, для властей, — ими движет лишь целесообразность, да и то короткая. А для остальных — мораль, и тут мы строже самых строгих пуритан. Одна мерка для себя, другая для прочих. И корень зла отнюдь не в личности Юрия Скуратова.

Александр Солженицын — личность совсем другого толка. Книгами об Иване Денисовиче и ГУЛаге он стал как бы, напротив, Генеральным заключенным, голосом миллионов погибших в советских застенках. В отличие от иных литераторов, рядившихся демократами, но спешивших, угождая власти, оправдывать чеченскую войну, он высказался тогда точно и недвусмысленно: «Если мы сейчас освободимся от Чечни, мы укрепим Россию». Это его выношенная точка зрения. Еще 28 июня 1994 года, до войны, он говорил: "Чечня имеет все основания отделиться, там действительно 80% процентов чеченцев!". При этом, однако, продолжал: "Так принять оттуда русских! А понаехавшие чеченцы, пожалуйста, собирайтесь из Москвы, из Сибири, из Средней России". Готовность освободить Чечню слилась у писателя с желанием избавиться от чеченцев. Сам он, между тем, возмущен, что иные народы таким же образом хотят избавиться от русских, и указывает на плакаты: "Русский, езжай своя Россия" и "Русские, убирайтесь домой". Не скрою, у меня такие плакаты тоже вызывают возмущение. Любая этническая чистка отвратительна. Но по Солженицыну, выходит, не любая!

Особенно тут выразительно словечко "понаехавшие". "Чего вы сюда понаехали?" — бросали мне в Латвии,

естественно, считая меня русским, и говорили: "Убирайся в свою Россию!", точь-в-точь как в России говорили: "Убирайся в свой Израиль!" Вот уж от кого такого "понаехавшие" не ждал, так от Солженицына. Еще до возвращения на родину, размышляя, "Как нам обустроить Россию", он первым делом сказал, что из тогда еще существовавшего СССР, чтоб он стал Россией, надо вычесть, частично изменив границу лишь с Казахстаном, двенадцать союзных республик. Но и о двух, которым на его взгляд следовало остаться в России, он выражался осторожно, оговаривая, что "если бы украинским народ действительно пожелал отделиться, — никто не посмеет удерживать его силой". А теперь и не вспоминает, что после революции русские особенно интенсивно заселяли районы, где прежде не жили или составляли явное меньшинство, а ныне часто уже и большинство составили. Он повторяет: "Старая Россия сколько наций приняла, столько и сохранила". На деле, конечно, куда меньше, но в любом случае она их не приняла, а покорила, захватив земли, где они жили. Не сами чеченцы пришли с просьбой: примите нас. И не сами литовцы, не сами туркмены, не сами якуты. Надо ли удивляться, что они не хотят быть тихими вассалами русской власти?

Было бы безумием выселять сегодня людей с мест постоянного жительства, чеченцы они или русские. Ужасно, что из Средней Азии, да и не только оттуда, люди бегут, и Солженицын прав, требуя от государства, поощрявшего их вселение туда, помочь им теперь вернуться. Но он кругом неправ, когда, точь-в-точь как советские начальники, предполагает, что русские "равнее других", что их выселять — дурно, а прочих — самое разлюбозное дело. Увы, не только у правящего Скуратова, но и у оппозиционного Солженицына, мерка двойная. Для своих и для чужих.

Куда ни кинь, мерка двойная. Когда в Польше или Норвегии хотят снести памятники советским солдатам или не заботятся об их могилах, наши власти мигом возмущенно откликаются. Я разделяю их возмущение, но тотчас вспоминаю, что в наших лесах по сей день лежат непогребенными солдаты Отечественной войны, до которых тем же властям нет дела. Быть может, нынешние беды армии и растут из двойного отношения к тем, кто отдал жизнь за родину: демонстративного поклоненья

погребенным за рубежом или у Кремлевской стены и пренебрежения теми, кто пал неведомо где. Если бы каждый будущий офицер в годы учения хоть месяц посвящал поискам не погребенных солдат, дух армии стал бы иным, и дедовщины в ней, думается, было бы поменьше. Если бы еще курсантом Лев Рохлин вместе с другими проделал такую работу, он, думается, иначе держался бы в Чечне.

Уверяют, что престиж армии пострадал оттого, что в Чечне она не взяла верх. Но как раз Рохлин — один из немногих побеждавших генералов, а уважения и в Чечне и в России завоевал меньше, чем генерал Романов, все же искавший пути к миру. От военного человека люди ждут еще более ясного, чем от штатских, понимания того, что за войной наступает мир, и в нем должно быть место не только победителям, но и побежденным, иначе война не кончится. У нас этим пренебрегали и пренебрегают. Если мы не забыли Будённовск и Первомайское, можно ли требовать от чеченцев, чтобы они забыли свои тысячекратно большие утраты? Вправе ли мы, когда на наши двухлетние бесчеловечные инициативы там кто-то отвечает тоже не по-человечески, винить весь чеченский народ и его нынешнюю власть, которая, в меру возможного после имевшего место, как раз стремится наладить общение с нами? Немцов, затевая обходной нефтепровод (не станем спорить о вероятности того, что каспийская нефть, вообще, пойдет через Чечню и Россию, а не через Турцию и Грузию), твердит, что чеченцам нельзя доверять. Но их доверие к нам, и так уже небольшое, от его демонстративно двойной мерки, лишь еще больше слабеет.

Эта двойная мерка нашла и теоретическое обоснование. Ричард Иванович Косолапов, бывший главный редактор журнала "Коммунист", пишет в нынешнем партийном журнале "Диалог" (97-6): "Когда я слышу: есть русский народ, есть австрийский народ, французский народ или, к примеру, народ Нидерландов, — то живо ощущаю за этим откровенную недооценку нашей специфики. Самосознание названных народов, понятно, как правило носит патриотический характер. Но у них существенно другой, нежели у нас. Первая особенность этого патриотизма заключается в том, что это патриотизм ограниченных пространств. А России суждено

было распространяться вширь длительный период времени без какого-либо ограничения. Только Запад возвел этому распространению стену, и Юг еще держал блокаду". А то бы Русь по Косолапову распространилась до Атлантического и Индийского океанов. Впрочем, если быть точными, то и на Востоке наши землепроходцы уперлись в Китай, а дотуда дошли легко, поскольку на Урале и в Сибири государства, способные оказать сопротивление, не успели сформироваться. Точно так и испанцы распространялись по Южной Америке — или это тоже их специфика?

Почему же, по Косолапову, Запад, Юг и Восток обязаны примириться с нашей спецификой? Да потому, оказывается, что "Интернационализм есть наша национальная черта". Никуда от этого не денешься", словно не было ни выселения народов, ни известных способов подбора кадров. Косолапов признается: "не вижу разницы между людьми, когда толкуют о "нерусскости" кого бы то ни было по крови, если в этой стихии (стихии русского языка и русской культуры — П.К.) и армяне, и евреи, и татары и многие другие по своему "менталитету" (как теперь модно выражаться) ничем, совершенно ничем не отличаются от нас, коренных русичей, а то и превосходят "чистых" русаков и чувствуют себя не менее свободно". Ну что бы Ричарду Ивановичу давно опубликовать это справедливое суждение в своем журнале "Коммунист"! Увы, при нем там писали другое. Но и сегодня, признавшись, пусть с опозданием, в своей приверженности к равенству людей, он пишет: "Захватив с собой многочисленные национальные образования и не лишая их своеобразия, наша всероссийская общность создала предпосылки для формирования великого советского народа, который был объединен на русскоязычной основе и цементировался прежде всего русской культурой".

Здесь прелестны слова "захватив с собой"! Захватили их по их просьбе или вопреки их воле, Ричарду Ивановичу тоже неважно. А ведь даже евреи, для многих из которых русский язык и впрямь родной уже в третьем и в четвертом поколениях, так широко им овладели после ликвидации при Сталине еврейских школ. К тому же у евреев до революции была лишь черта оседлости, но не область общего проживания. Надуманный Биробиджан стать ею не

мог. Даже к восстановлению исторического отечества в Палестине всерьез побудил только Холокост.

Уже у армян, при всех гонениях, отечество сохранилось. Они часто действительно великолепно владеют русским языком, но в Армении живут все-таки не русской культурой, а армянской, которая к тому же и древней. Подобное и у татар. А интернациональная общность с чехами и венграми цементировалась, к сожалению, не так великой русской культурой, как отличными русскими танками. Если же мы, вслед за Ричардом Ивановичем, возмечтаем включить в наше интернациональное единство и французский народ или, к примеру, народ Нидерландов, то не то что без танков, а и без ядерного оружия вряд ли обойдется.

Не надо только уверять, что коммунисты такое первыми придумали. Не надо даже вспоминать гоголевского героя, уверявшего, что "и все, что за лесом, все мое". Сам великий Достоевский утверждал, что "Константинополь должен быть наш". Он писал это в июне 1876 и в марте 1877, а уже в апреле Россия объявила Турции войну. И Федор Михайлович отнюдь не кинулся объяснять про маленького ребеночка, которого нельзя замучить и для счастья всего человечества. Конечно, не в пример Косолапову, Достоевский одновременно писал: "У нас — русских — две родины: наша Русь и Европа, даже и в том случае, если мы называемся славянофилами". Русь не была для него единственным светом в окошке. Но в ее праве учить и наставлять других он был уверен. Такая уверенность пошла еще с той поры, когда объявили: "Мы — третий Рим и четвертому не бывать" и стали действовать по образцам первого и второго, для которых прочие народы были варварами. Косолапов так и говорит: "Нам, как никому, свойственно искусство Всеведения". Вот оно как! Не то чтобы, как иные, вульгарно кричать: "Мы — высшая раса".

Есть и еще один довод: "мы — разделенный народ", — говорит он, имея в виду украинцев, и белорусов и, конечно, русских, оставшихся в новых независимых государствах. Считают ли сами белорусы, не говоря об украинцах, себя русскими, в расчет не берется. Но, что касается этнических русских, то они, действительно, сегодня разделены, в Российской Федерации — 115 миллионов, но и в бывших союзных республиках — 25.

Радоваться, понятно, нечему, но таков результат вековой имперской политики на шестой части суши. Англичане, владевшие некогда даже четвертью суши, разделены еще сильнее: в Великобритании их всего-то около 45 миллионов, а в США, Австралии, Канаде и Новой Зеландии, не считая остальных бывших колоний, людей английского происхождения (не просто англоязычных) более 150 миллионов. Но Британия не претендует на этом основании на право наново объединять бывшие колонии.

Более того, давно отпустив колонии, она теперь провела референдумы об автономии Шотландии и Уэльса, которые получили право восстановить отдельные парламенты, уже идет речь об отдельном представительстве Шотландии в Европейском Союзе. Там осознали, что стремление народов к децентрализации и самостоятельности, ославленное нами как сепаратизм, направлено не на разрыв полезных связей, а на их совершенствование и укрепление, на устранение из них неравенства и принуждения, мешающих не только взаимоотношениям народов, но еще больше развитию хозяйства каждым из них. Мы проглядели, что одновременно с возникновением крупных союзов и даже порой внутри них страны дробятся, их части расходятся, как Чехия и Словакия. Даже от Югославии Словения и Македония отделились мирно, и кровь полилась только в Боснии, где население веками густо перемешано, и мирно разделиться, гарантируя при этом всем равные права, не сумело, поскольку одними тоже овладел великодержавный соблазн этнических чисток, а другие не сумели признать право мирных сербов присоединить свою треть или даже четверть Боснии к Сербии, а не создавать второе сербское государство. От неотвратимости этой навязываемой нелепости там и растут симпатии к преступникам, обещавшим этническими чистками присоединить всю Боснию.

Интернационализм — дело хорошее, пока предполагает взаимность. Но когда один народ объявляют интернационалистом и уверяют, что он лучше решит за других, чем они сами, интернационализм неотличим от империализма. Такой "интернационализм" Российской империи Косолапов приписывает русскому народу. А империи — сперва австрийская и турецкая, потом британская и французская, — распались потому, что

внеэкономическое принуждение плохо совмещается с все усложняющейся техникой. Мытарства народов России, и не менее других русского, потому и нарастали, что и царизм, еще с Петра I, и коммунизм укрепляли страну и насилием и техникой, не желая видеть их явственную несовместность. Спасение в том, чтобы усвоив эти уроки, раз навсегда проститься с патриотизмом без границ и, как другие народы, по доброй воле жителей очертить пространство отечества, составляющего предмет нашей заботы.

У нас больше пекутся о неизменности границ, чем их естественности, дающей прочность, и, веря, что крепят интернационализм, готовят, не желая того, почву для разрывов. Именно так, укрепляя Советский Союз по сталинской теории автономизации, то есть подчинения во всем существенном центру, задолго до Беловежской пуцци в нем пробудили центробежное сопротивление. Именно так, укрепляя танками братство с Восточной Европой, ее отталкивали от России. Мы себе лжем, что она захотела в НАТО под давлением Запада, а это страх перед нами внушил ей такую инициативу, и Запад еще упирается. А подумай мы раньше, что наше поведение будет иметь последствия, поведи мы себя иначе, ощущая границы и своего и чужого патриотизма, и Чечня, и Литва и другие, ради собственных интересов, жили бы если не в общем государстве, то в союзном с Россией пространстве. Афганистан был нашим другом, пока мы не пытались стать его хозяевами. Но после двухлетней бомбежки чеченской земли мы, как ни в чем не бывало, твердим, что границы России нерушимы. Между тем лишь независимость позволила бы Чечне удержаться в союзном с Россией пространстве, и экономическом и оборонном. Это можно было сообразить и без войны, но стоит хотя бы сейчас. А фактическая независимость при номинальном статусе субъекта федерации приведет к новой войне, которая еще сильнее России навредит. И все потому, что, на словах отрекаясь от коммунизма, никак не отделаемся от идеологии Косолапова.

Она мешает подумать о том, что публичная казнь в отколовшейся Чечне, громогласно осуждаемая властными лицами, нашла поддержку у множества россиян, уверенных, что и у нас только так можно "навести порядок". Это куда опаснее, чем отделение Чечни.

Отдавшись патриотизму без границ, мы вообще утратили ощущение допустимого предела участия и безучастия в отношениях с другими, идет ли речь о воспитании детей, обязательствах перед больными и стариками, об искоренении преступности или о контактах с иными народами и государствами. Уклонение от отмены смертной казни, от ратификации договора о сокращении ядерного оружия, от предоставления собственной судьбе стремящихся к этому народов, нравятся нам их обычаи и взгляды или не нравятся, — все это явления одного порядка, как явлениями одного порядка были самодержавие Романовых и сменившая его монополия коммунистической партии на руководство. Не то что временами народу не перепало от захваченной земли или проданной нефти, но до добра ни то, ни другое довести не могло, вот и не довело. Пришло время не только говорить, но и поступать иначе.

ВЫБОР ПЕРЕД ВЫБОРАМИ

Дума спросила у Конституционного суда, вправе ли нынешний президент баллотироваться на следующих выборах. Формально отказать ему нельзя: по новой конституции, ограничившей пребывание у власти двумя сроками, он избирался лишь один раз, а необходимость учитывать, что он уже избирался по старой, нигде не оговорена. Конституционный суд, конечно, ответит: да, вправе.

А спрашивать бы надо совсем другое. Президент законно правил до принятия в 1993 году новой конституции и после 1996, когда его избрали вторично. А вот три года, протекшие от принятия новой конституции до президентских выборов по ней, если президент станет вновь баллотироваться, породят юридические неясности и вопросы. Если не станет, можно будет, хоть и не без натяжки, согласиться, что с 1993 по 1996 он досиживал свой первый срок. Но в тот момент, когда мы принимаем исчислять первый срок с 1996 года, становится непонятно, в каком же качестве Б.Н.Ельцин правил три года от принятия новой конституции до этих первых выборов, и почему их так долго затягивали. Этот вопрос Думе бы и надо задать Конституционному суду.

Три года мы жили с новой Думой и прежним президентом, утратившим, если уж настаивать на буквальном, без натяжек, следовании конституции, свои полномочия и незаконно удерживавшим власть. Именно тогда он и совершил свое роковое беззаконие, военное усмирение Чечни, и много других. И можно ли думать, что, незаконно удерживая власть, президент оставался гарантом конституции и, в частности, того, что выборы 1996 проходили законно и, скажем, все средства массовой информации не сосредотачивались в одних руках, и не совершались другие нарушения. Вот ведь в какие бездны заводит желание строго следовать букве новой конституции. Оно настоятельно побуждает выяснить, почему ей не следовали так долго.

Конечно, в 1993 уже не было уверенности, что Ельцин победит. Но еще тогда Россия только отделилась от других республик СССР и провозгласила новый путь, возникла необходимость созвать Учредительное собрание, которое и решило бы, как нам жить дальше,

какие проводить реформы, а заодно и кого и как выбирать. В последнем номере "Нового времени" за 1991 год я прямо призывал созвать Учредительное собрание, разогнанное в 1918, и не я один хотел этого. Так его и не созвали, хотя уверенность в переизбрании Ельцина тогда была. Но президент предпочел и в новой России править со старым Верховным советом, хоть легко было догадаться, зачем это делается и куда приведет.

Чудовищное напряжение, из которого страна все не может выйти, непоследовательность и односторонность реформ, predeterminedены тем, что законы для будущего сочиняют люди из прошлого, а волей народа, его активностью, столь заметной при Горбачеве, которого не только номенклатура упрекала в либерализме, но и народ в бездействии, новая власть России открыто пренебрегают. Этим ведь и вызван отлив голосов к коммунистам, которые прежде их теряли. Вот и нарастает пассивность, недоверие к власти, нежелание идти на выборы, где на деле нет выбора.

Не будем здесь гадать, что побудило предпочесть такую политику, как выяснилось, тоже отнюдь не бескровную, но исправлять положение теперь куда трудней, чем на рубеже 1992, когда очевидно была ответственность коммунистов за кризис, к которому они привели, и из которого, при всем старании Горбачева, уже не могли вытащить. Тогда это не надо было доказывать, а нынче, когда новая власть тоже этот кризис и за шесть лет не одолела, и он все углубляется, доказывать, что страну завели в этот тупик коммунисты, все трудней, хоть это правда. Да наши реформаторы и не очень хотят это доказывать, они ведь и сами были коммунистами.

Любимым лозунгом диссидентства был призыв Александра Есенина-Вольпина: соблюдайте собственную конституцию! Советская власть такого не могла по самой своей природе. Но пришло время обратить этот призыв и к нынешней власти, особенно по части избирательных порядков, ориентированных у нас на волю меньшинства, каковым относительное большинство при 10-15 кандидатах неизбежно оказывается, а второй тур, выявляющий предпочтения абсолютного большинства, не проводится. Тем более выше подозрений должны быть выборы президента, соединившего в своих руках

практически вся власть. Чрезмерные натяжки недопустимы.

Борис Николаевич, как разумный человек, отлично это сознает и не зря говорил о намерении уйти не только детям, но и политикам в Страсбурге. Поставь Дума перед Конституционным судом правильный вопрос, она увеличила бы шансы на правильный ответ. Сторонникам Ельцина, чтобы продлить его правление, следовало открыто и заблаговременно добиваться изменения конституции. Добейся они этого законно, Ельцин мог бы попытаться стать президентом еще раз. Он мог бы, став общим кандидатом ДВР, НДР и КПРФ, даже и победить. Но настаивающие на его праве на второй срок по нынешней конституции лишь ставят под сомнение законность его правления в течение трех лет после ее принятия. Со всеми вытекающими отсюда последствиями для президента и для страны.

АПОЛИТИЧНОСТЬ ОТЧАЯНЬЯ

Президент предложил Думе пересмотреть избирательный закон, чтобы депутаты впредь избирались не по партийным спискам, а только по индивидуальным округам. И не то что на это нет резонанса. Ведь партийные списки у нас не очень-то партийные и партии не очень-то партии. Им даже не обозначить, чем они отличаются друг от друга. Не считая коммунистов, чьи принципы мы прорабатывали на практике и помним, как они семьдесят с лишним лет вели нас к пропасти, связанной общей программой ни у кого нет. Даже у "Яблока", хотя в существование их программы веришь, когда слушаешь лидера. Но как доходит до практической работы, местные организации (хоть наша питерская) внемлют не так уму лидера, как нраву губернатора. И министр финансов, еще вчера единомышленник Явлинского, бесшовно слился с партией власти. А жириновцы вообще набирают места в партийном списке только личной развязностью Владимира Вольфовича — в индивидуальных округах дела у них обычно плохи. Да и партию власти объединяет лишь сама по себе власть, и прокол со вторым лицом партийного списка, генералом Рохлиным, еще наглядней, чем "измена" Задорнова, обнажает характер нынешней партийности. К тому же пропорционально распределилась лишь часть голосов, поданная за перешедших пятипроцентный барьер, а остальные просто пропали. В итоге состав этой половины думы непредставителен, и президент вроде бы прав. Да только состав другой половины, от милых ему индивидуальных округов, еще менее представителен.

Чтобы попасть в Думу, там достаточно относительного большинства. Согласно рейтингам Лужков сегодня имеет шансы собрать 8 процентов, Лебедь, Явлинский, Немцов да, видимо, и Черномырдин — по 11 процентов, а Зюганов — 20, самое малое 18 процентов. То есть баллотироваться они в Думу по одному округу — Зюганову обеспечена победа. Может показаться, что президент, ищущий согласия с оппозицией, готов помочь коммунистам. Но Борис Николаевич мыслит куда глубже. Он знает, что на одно место у нас баллотироваться не два и даже не шесть кандидатов, а нередко и двадцать, и для победы при этом теоретически хватает 5 процентов плюс

один голос, а практически — 8-10 процентов. Словом, наше относительное большинство — это на деле, как правило, куцее меньшинство избирателей, манипулировать которым не слишком сложно. Политические позиции тут теряют значение. Как в добрые советские времена, выбирают "командиров производства", популярных певцов или, по новой моде, предпринимателей, которые лоббируют лишь свои заботы, а прочее легко отдают на усмотрение исполнительной власти — губернаторской или президентской.

Говорят, людям надоела политика. А на деле им надоела политическая показуха, под прикрытием которой ими и их стремлениями цинично пренебрегают. В 1917 году на выборах в Учредительное собрание большевики получили четверть мест, и даже вместе с левыми эсерами, их поначалу поддержавшими, за них было менее трети граждан. Две трети были явно против них, гражданская война и последующие трагедии разразились оттого, что большевики навязали большинству волю все редевшего меньшинства.

Когда представительная система теряет политическое содержание, людей охватывает недоверие к власти и даже отчаяние. Но аполитичность отчаяния — совсем не то, что аполитичность благополучия, наблюдаемая в странах, где смена правительства не должна менять основополагающие нормы жизни. Причины нашего кризиса не в глупости прежнего руководства — оно было, конечно, недальновидным, но в текущих делах вполне сообразительным, — а в нашей внеэкономической хозяйственной системе, державшейся изобилием людских и сырьевых ресурсов и обессилившей, когда эти ресурсы от безотчетных трат, особенно на циклопический ВПК, пошли на убыль. А характер хозяйственных отношений всегда и составляет главный предмет политической борьбы.

Сегодня, как в семнадцатом, часть граждан верит в возможность "загнать клячу истории", добиться благоденствия насилием, забывая, что политика — не только внешняя — искусство возможного. Но преодолеть наш кризис можно, лишь перейдя к подлинно экономической системе хозяйствования с предполагаемыми ею социальными гарантиями, а такого

ни произволом, ни обманом не добиться. Нужна поддержка большинства и понимание того, что оно готово перетерпеть, а что ему не вынести. На то и представительная система, чтобы служить барометром народного согласия. Дума, представляющая 8-10 процентов населения, таким барометром служить не может. И реформы не принесут долгожданных плодов. Для этого мало переименовать плохую "номенклатуру" в хорошую "элиту", надо оглядываться на обратную связь.

Ради такой связи и нужен второй тур голосования, выясняющий настроения большинства — и не только по индивидуальным округам, но и по партийным спискам. Если бы пропавшая на прошлых выборах половина голосов сказала во втором туре на распределении мест между взявшими в первом пятипроцентный барьер коммунистами, жириновцами, "нашдомовцами" и "яблочниками", эти места распределились бы совсем иначе. Чтобы добиться успеха у другой половины, партиям с самого начала пришлось бы точнее и честней излагать свои программы и спорить о них. И в индивидуальных округах, чтобы убедить хотя бы пятьдесят процентов голосовавших в первом туре за других, тоже пришлось бы серьезней определяться. Тогда мелочные споры множества партий заменились бы политическими компромиссами, без которых никакие мирные перемены невозможны. К компромиссу приходили бы сами граждане в ходе повторного голосования, а не только верхняя четверка страны, состоящая из двух первых секретарей обкомов, советского министра и редактора коммунистической газеты.

При нынешней ориентации на куцее меньшинство предложение президента сделает рядового избирателя совсем уже бессильным перед исполнительной властью. А менять избирательный закон надо, напротив, чтобы преодолеть это бессилие, чтобы пробудить политическое сознание избирателя и, постигая волю большинства, слышать действительный глас народа. При сегодняшней пестроте мнений без укрупняющей зоны согласия второго тура голос народа остается неразборчивым, и под широкошумный политический гул власть, пока опять не грянет взрыв, может делать что угодно.

ЗАЧЕМ УБИВАТЬ КУДРЯВОГО ВАНЬКУ?

Партия войны сформулировала статус для Чечни. Вице-премьер Куликов нашел пример для подражания: Тайвань. Анатолий Сергеевич не просто генерал, а видный экономист, доктор экономических наук и дело, видимо, знает. Жаль только, что занятия этнографией шли у него не столь успешно. А то бы вспомнил, что на Тайване живут не мятежные чеченцы, а такие же китайцы, как на материке, почему Чан Кайши там и удержался. Представить себе, что мятежной Чечней правит изгнанный из Кремля Горбачев, невозможно и при самой большой фантазии. Термин "мятежная провинция" был бы уместен, если бы независимым себя объявил, скажем, Петербург, столица Ленинградской области, да еще вместе с областью. Надеюсь, до такого все же не дойдет.

А Чечня не мятежная, а непокорная провинция. Двести лет ее покоряли, покоряли, множество людей перебили — и чеченцев, и русских, выселяли этих чеченцев к черту на рога, а они, упрямые, не учатся и все хотят быть хозяевами на своей земле. Тут сравнение с Тайванем опять хромает. Председатель Мао, готовый истребить половину человечества, на Тайвань бомбы все же не бросал и конституционный порядок там не навводил, лишь объявлял очередное, шестьсот двадцать девятое серьезное предупреждение. Нельзя исключать, что в конце концов Тайвань мирно вернется в лоно матери-родины. Чечня, будь наша политика поразумней и почеловечней, тоже, думаю, могла бы отделить отношения с Россией от скорби по убитым войсками Ермолова. Но забыть убитых войсками Куликова ее лидеры, пока не прошли те же полтора года лет, не могут, даже если захотят.

Анатолий Сергеевич — умный человек. Он не просто объявляет Чечню мятежной, но все делает, чтобы она такой и оставалась. И, отдадим должное, делает честно, открыто. Так прямо и говорит, что пенсии старикам-чеченцам выплачивать, конечно, надо, но никакой экономической помощи республике оказывать нельзя. Пускай сами восстанавливают порушенное славными соколами Дейнекина и прочими войсками. Анатолий Сергеевич все понимает правильно: если экономику восстановить, большинство чеченцев, небось, пойдет

работать, а не будет искать другие способы раздобыть хлеба. И поблекнет ореол мятежной провинции. А без нее никак.

Она необходима, чтобы не смотреть правде в глаза, не видеть, что в других провинциях (покамест, слава богу, еще не мятежных) происходит очень похожее на давно заварившееся в Чечне. В Дагестане взорвали дом с нашими пограничниками, напали в Буйнакске на воинскую часть. Надо разбираться, что за этим, искать разрешения реальных противоречий. Но проще заявить: это все чеченцы. Доказательств, естественно, нет, но вера в повсеместный чеченский след распространяется, как вера в Марию Дэви Христос и "Белое братство". А когда подспудное недовольство выплеснется, пошлют туда несчастных солдат, заявляя, как прежде: мы не воюем с чеченским, то бишь дагестанским, народом, а наводим порядок, конституционный порядок. А потом, чего доброго и в Кабардино-Балкарию, и в другие республики, и на Кавказе, и в других местах солдат поставим.

Кому все это нужно? Анатолию Сергеевичу и нужно. Если не будет мятежных провинций, то, приняв за чистую монету, что мы живем в демократическом государстве, придется подумать, зачем нужны внутренние войска, каковых нет ни в одной демократической стране. В МВД останется милиция, угрозыск, пожарные и много еще чего другого, но наращивать внутренние войска, да еще когда сокращается армия, защищающая нас от внешнего противника, будет сложней. И не будет Анатолий Сергеевич вице-премьером, а о том, чтобы ему в премьеры выйти, и мыслей не станет. Наши ведомства служат не интересам "нашей советской родины", как писали на всех углах, а собственным интересам и интересам тех, кто от них кормится. Министерство внутренних дел и прежде не составляло, и теперь не составляет исключения.

Но есть подробность, о которой не говорят. Восстановленный в Чечне нефтепровод работает без происшествий, никто его не взорвал. Видимо, чеченские власти, что бы ни говорили о них в России, все же контролируют свою территорию. Или у террористов есть советчики, которым взрыв нефтепровода, пока не построен обходящий Чечню, невыгоден? Так или иначе,

веский предлог усмирить мятежную провинцию не срабатывает.

Но даже если жена — как это у Толстого? — говорит: пойду с Ванькой, он кудрявей тебя, разумный человек не будет ее убеждать и тем паче убивать, а постарается, как ни горько, хотя бы ради общих детей сохранить человеческие отношения, особенно, если до появления кудрявого Ваньки была любовь, а не насилие. Тем более спокойно надо расходиться с покоренными народами, не желающими быть покорными.

Что для России лучше — мятежная провинция с постоянной угрозой "упреждающих" ударов по ней и ее ответов или самостоятельная, но дружественная страна, связанная с нами общими интересами, быть может, конфедеративными отношениями, то есть при доброй воле общим экономическим и даже оборонным пространством? И не одна Чечня такая, и не только Дагестан или еще кто-нибудь могут стать такими. Разве не полезна была бы нам дружба с Туркменией, с Азербайджаном, с Грузией, с Эстонией, с Литвой — всех не перечислю. Разве не полезна была бы дружба с Венгрией, с Чехией, с Польшей? Разве не была полезна России дружба с Афганистаном еще при Аманулле, а потом при Захир-Шахе?

После войны Германия, бывшая очагом ненависти в Европе, сумела расположить к себе соседей, сперва на западе, а теперь и на востоке, и создать вокруг себя зону дружбы и притяжения. А наши мудрые политики — сперва коммунисты, потом нынешние их продолжатели — потратили все это время на то, чтобы поддерживать зону враждебности, зону мятежных провинций вокруг России. Урок получили наглядный. Можно бы уже и взяться за ум и хоть немного пожалеть нашу бедную отчизну.

МЕСТО И ВРЕМЯ ПУБЛИКАЦИИ

Ниже указывается время и место первой публикации статей сборника (в нескольких случаях их не удалось точно установить). При этом используются следующие сокращения: «Всемирное слово» — ВС, «Книжное обозрение» — КО, «Литературная газета» — ЛГ, «Московские новости» — МН, «Новое время» — НВ, «Петербургский телеграф» — ПТ.

- Взаимность**, КО №15, 24.4.1989
Линия раздела? КО №21, 26.5.1989
Черный ход для технократа, НВ №40, 1989
От гласности к свободе, НВ №43, 1989
Не бог, не царь и не герой, НВ №47, 1989
Берлинская стена, 9.11. 1989
Полигон, КО №8, 1990
Жду прояснения ситуации, НВ №1, 1990
Государство и виолончель, НВ №5, 1990
Так что же нам делать? КУРЬЕР №1(8), Тарту, 01. 1990
Гарантия надежды, КО №16, 13.4. 1990
Пути на рынок неисповедимы, НВ №23, 1990
Процедуры свободы, КО №26, 29.4. 1990
Заговор, который мы не заметили, НВ №32, 1990
Исключение или правило? НВ №35, 1990
Англичанин о России, 20.9. 1990
Слово о городе (выступление в Доме писателя)
Налоговые нескладушки, НВ №6, 1991
Причины и последствия, КО 15.3 . 1991
Мы меняем имена, НВ №21, 1991
У врат демократии, 1991
О том ли болит голова? НВ №31, 1991
Урок истории для тринадцатилетней девочки, НВ №36, 1991
Оскорбление святостью, НВ №41, 1991
Большевистский бой с законами природы, НВ №45, 1991
Откуда страсть к разрывам? ВС №2, 1992
Мы не совки, совки не мы, НВ №52, 1991
Окончилась ли история? ВС №1, 1991
Пронзительный Федотов, ВС №1, 1991
Соблазн единства, 16.11. 1991

- Согласие без принуждения**, ВС 4-5, 1993
Булат и золото, КО №29, 17.7. 1992
Что за словом? КО №51, 18.12. 1992
Измена родине, ВС №3, 1992
Свобода и еврей, ВС №4/5, 1993
Воля или произвол? ЛГ №3, 29.1. 1993
Пока есть выбор, КО №16, 16.4. 1993
Что же дальше? КО №46, 19.11. 1993
Чему послужит помощь
Третья попытка, 19.11.93
Личное мнение, ВС №7. 1994
Первый урок, КО №2, 14.1. 1994
Что же это было? КО №24, 14.6. 1994
Стоит ли говорить правду? НВ №18-19, 1994
Первохристианами были евреи, НВ №41, 1994
Три столетия жизни, КО №47, 1994
Возврат, ПТ №1, 1995
Иное дано, 31.10. 1995
Философия меньших зол, НВ №32, 1996
Мир, означающий войну, ВЕСТИ №2, 23.1. 1997
Неспоротые номера, НВ № 44, 1997
Затянувшийся последний долг, НВ № 46, 1997
Неувядаемая традиция произвола, НВ № 51, 1997
Мифологическое сознание социальной жизни
К двухсотлетию смерти Бёрка (выступление на ВВС)
12.11.1997
Пространство патриотизма, НВ №40, 1997
Выбор перед выборами, 12.11. 1997
Аполитичность отчаянья, НВ № 2-3, 1998
Зачем убивать кудрявого Ваньку? НВ №8, 1998

Подписано в печать 12.07.2021 г.
Формат 11 × 16 3/4 Бумага офсетная. Печать цифровая.
Усл. печ. л. 19,9. Тираж 50 экз.
Заказ № 5487.

Отпечатано с оригинал-макета заказчика
в ООО «Издательство «ЛЕМА»»
199004, Россия, Санкт-Петербург, 1-я линия В.О., д.28
тел.: 323-30-50, тел./факс: 323-67-74
e-mail: izd_lemma@mail.ru
<http://lemaprint.ru>

